

С. Д.
МСТИСЛАВСКИЙ

БЕЗ
СЕБЯ

РОМАН

9

3

34

С. Д.
МСТИСЛАВСКИЙ

БЕЗ СЕБЯ

Р О М А Н



1

9

3

0

ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Обложка худ. Б. Титова
Отпечатано в госуд. типографии
им. Евг. Соколовой, Ленинград,
просп. Красных Командиров, 29,
в количестве 5000 экз., 16 л.
Главлит № А 45006. Зак. № 78.

Огонь красным и жарким отблеском больно хлеснул по закрытым векам. Но Шурик не открыл глаз. Две бессонные ночи — в отряде, на погоне за Струковской бандой — шершавыми пальцами крепко держали ресницы. Крепко-накрепко: сейчас — можно, сейчас не надо чувствовать на поясе кобуры револьвера: Шурик вернулся с похода, Шурик дома, Шурик спит. Почему же огонь?

Дача, насупротив, через шоссе, горела ровным и крепким огнем. По дороге, покачивая обрезами, широко расставив мохнатыми казавшиеся во всплесках пламени ноги, стояли люди в лохматых шапках, лохматых свитках. Поселок был странно тих: тишью бессонья. Он зашумел было криком, когда сквозь деревья, свертывая жаром зеленые, клейкие листы, ударил первый огневый столб... Но одного выстрела — вот из такого обреза, от лохматого, лохмотьями едва прикрытого плеча — было достаточно, чтобы дом за домом задавив крик жутью, залег за закрытыми ставнями: струковцы жгут советских: дачу Кузмичева, председателя здешней коммуны.

Совсем, до последнего, обнаглели банды: ходят как по безвластной земле. Даже здесь, под самым под Киевом: Ворзель — сорока верст не будет от города, а ежели напрямик итти, лесками и перелесками, в обход Бучи, на Ирпенскую переправу, к Пушей-Водице, по старой, по брошенной вырубке, — пожалуй, и пятнадцати верст не наберется до трамвайной концевой. А струковцы бродят, налет к налету, бродят вольно, увертываясь от летучих, от неуклюжих в чужих, непривычных лесах и болотах — красноармейских, чекистских, комсомольских отрядов. Или в самом деле гибель идет на советскую украинскую власть?

По стеклам пляшут устало багряные тени взблесков: самая странная, самая жуткая тень — та, которую бросает огонь, Шурик спит. Неделя — в угон за атаманом Струком, две по-

следние ночи — без сна; здесь — прилечь не успел — Струк вернулся. Тот самый, недогнанный.

Мать, в соседней комнате, давно уже встала, ждет у окна, приоткрыв ставень (отца нет — в Киеве, она одна, с четырьмя детьми, Шурик — старший). Будить, не будить? Под подушкой у Шурика колыт, тяжелый, истертый. Шурик — комсомолец, отрядный; если разбудить — не удержишь. Но если только щелкнет затвор, — отсюда, от дачи, — если только щелкнет хоть раз, без выстрела даже, — сейчас же стукнут обрезы и — новый огонь, в новой даче, под стропила винтом, с балки на балку, красным шнуром вдоль бревен... (Вместо пакли — мхом шпаклевали, мох сухой, горячий). И будет еще пять трупов: Шурик — первый, потом еще трое — те тоже спят, набегались за день: двенадцать, десять, восемь лет — разве можно не бегать? .. Восемь, десять, двенадцать, двадцать: четыре. И пятым трупом — сама. Бандиты всегда так: детей сначала. Нет, не надо будить. Может быть, так обойдется: соседи не знают, что муж — большевик, комиссар, что сын — комсомолец. Данила бывает редко, и потом он — старый партиз, подпольщик и ссыльный: проходит со всей осторожностью: ведь если власти придется уйти, — и он и Шурик — в подполье, и Ворзельский дом надо сберечь во что бы то ни стало: отдых и явка. Ворзельцы думают: здесь живет так себе, обывательство, бывшие люди. Только бы Шурик сейчас не проснулся!

Огонь стал блекнуть. Люди на дороге заворошились, сошлись в кучу, взблескивая короткими, тупыми стволами. Хотя ночь и потускнела — меньше свету от Кузмичевского дома — все-таки видно: усаые, бровастые, бороды гривую. Крайний, у самой канавы, у палисадника Ананьиной дачи, обрез подмышкою, жует колбасу — по-собачьи, хрязгом зубов. Колбаса большая, длинная, украинская, — оттуда, должно быть, из спаленных кладовок: Кузмичев был хозяйственный. Был. А теперь лежит на крыльце, в белом, в исподнем: пятки голые, белые — в чадное, захлебнувшееся дымом бревно. Дым — по подошвам...

С дорожной извилины, что от шоссе — к станции, к полотну, прошаркала по мятой пыли неторопливая бегущая тень. Тоже с обрезом, как и подорожные. Остановилась, чтобы лишнего не итти, и крикнула сипло:

— Бронепотяг... в Бучи...

— О це ж... принесла вражья сила! Дым над деревьями, сразу подбзрят...

Крайний усатый перестал есть колбасу. Обрезы взблеснули еще раз, сосняк по опушке расступился, пропуская людей: в лес, в глубь, в глушь, за болота; неспешно, по одному.

От Бучи идет бронепоезд.

Шурик приоткрыл глаза: дошло наконец до сознания — сквозь ресницы, сквозь веки, сквозь глазную броню в череп, в мозг — ощущение огня. Огонь? И, кажется, выстрел? Нет? Он приподнялся на локте. В самом деле: в стекле, за прикрытой щелистой ставней — красным полышет: слабо-слабо, но есть. И в дверях — мать. В кофточке белой, ночной, но волосы убраны не по-ночному, и вся она — такая, как днем: не вскочила с постели, а встала:

— Что ты, мама?

Она отвечает, спокойно, совсем спокойно, хотя перед глазами все еще — и долго будет еще, новое к прежним: окно, дорога, сосны, крыльцо, дым, обрезы, голые, белые ноги. Но на сердце тихо и радостно: миновало еще раз (в который!): ушли.

— Спи, Шурик! Теперь уже ничего. У Кузмичевых пожар был...

И — тише, чуть слышно:

— Бандиты были.

— Бандиты?

Шурик сбросил ноги с кровати. Мать засмеялась тихим и гордым смехом. Вот — так и знала! — и было бы, если бы произошло не во-время.

— Ушли же, я тебе говорю, Шурик! Совсем ушли, далеко. И назад, нет... не вернуться. От Бучи идет бронепоезд: папа, должно быть.

2

Бронепоезд подвлолся к станции, как всегда, без огней, без гудков, тою кованной тишиной, которою ходит бронепоезд.

У края платформы, над самыми рельсами, ждали уже: комендант Атросов, из бывших кадровых субалтернов, теперь — советский, товарищ; пять красноармейцев: охрана. Комендант чуть-чуть ежился — август, ночь, со сна прохладно. Направо, через дорогу, над застылыми, трепанными головками сосен — дымное курево; чуть-чуть отсвечивает будто бы красненьким снизу, с земли. Только сейчас и заметил комендант. Не горит ли?

— Что там — пожар, Полещук?

Красноармеец повел головой и винтовкой и ответил нехотя:

— Был, должно. Здорово драло, и занялось в аккурат, как мне сменяться. По шестой просеке, у шоше, на глаз.

— Что ж ты мне не доложил? — морщась, сказал комендант. — Это не порядок. Обязан — о каждом происшествии. Службы не знаешь?

— А чего докладывать? Тушить все одно нечем. Там народ е, им и управляться. Тоже, чать, не пустынь: место людное. Прямо сказать, дачное место.

Комендант хотел еще добавить что-то, уставное, потому что поднял назидательно палец. Но бронепоезд, вздохнув от челюстей до хвоста, пустил белой, негулкой струей пар из-под укрытых паровозных колес, и с ближней броневой площадки, бесшумно, как все броневое, спрыгнул высокий, плотный человек, в папахе, френче и крагах. Френч перетянут ремнем, на ремне — маузер. Маузеры носят только комиссары, и то не все: маузеров очень мало.

Комендант сомкнул каблуки и приложил руку к фуражке: обычай старый, от империалистических армий. Надо бы изменить, но никому недосуг подумать, как по-другому, по-пролетарскому отдавать военный поклон? А может быть, и не может быть другого поклона, хотя бы и в красной даже армии? Руку к головному убою, и каблуки сомкнуть... Никто не думал об этом: недосуг. И ему недосуг, Даниле Ананьину, — он отдал поклон тем же порядком.

— Здравствуйте, товарищ! Как у вас?

Комендант радостно встряхнул плечами.

— Все обстоит благополучно.

Но комиссар оглянулся... ну, конечно же, прямо туда, к шестой просеке, где над лесом — дым. Комендант, на случай, забежал вперед — и скороговоркой:

— Лесной пожарик случился. Собственно, вне прямой сферы: по дороге к Кичееву. Может быть, изволите знать, товарищ Ананьин?

— К Кичееву? — Комиссар продолжал смотреть. Коменданту стало совсем беспокойно. Кичеево гораздо дальше. Он пристукнул опять каблуками и спросил, сдвинув брови, со значением:

— Что, на фронтах... не вполне благополучно?

Ананьин отвел глаза от леса и посмотрел на коменданта прикливо и строго.

— На фронтах? Нет. Положение, в общем, без перемен. Все обстоит благополучно. Почему вы спросили?

— Да так... совсем нас, знаете, забыли. Раньше каждый день бюллетень передавали, телефонограммой по линии, а последние дни — хоть бы что. Я и думал: если не оповещаете, значит...

— Это, действительно, упущение, — сказал комиссар и оглянулся на бронепоезд. С бронепоезда ссаживались люди, с винтовками и с кобурами у пояса, и подходили, разминаясь.

— Я напому в штабе... Где вторая просека, товарищ комендант? Борисов, патруль вдоль полотна, к лесу: стрелять по первому окрику. Григорук, отбери тридцать человек, со мной Идемте!

— Который номер... по просеке? — спросил комендант, и сердце его замерло в совершенном уже беспокойстве. — Да неужели ж у нас...?

— Проведите к пруду. — Комиссар прищурился — насмешливо. Так показалось Атросову. Насмешливо, конечно: они ведь всегда знают сами — большевики; спрашивают только так, в издевку, человека проверить: в каждом из них — чекист. И этот Ананьин тоже: сам проведет, куда надо, надежнее всякого проводника. Так и есть — свернул по проулку ближней дорогой: прямо к пруду выйдет, к Брасовской даче, голубой. Номер шестьдесят третий.

Дача — в палисаднике. Самая обыкновенная, самая скучная дача: клумбы, шар дутый, стеклянный, на крашеном, перетрескавшемся — трещина в трещину — столбике. Дорожки обложены — в бордюр — черепичкою, битым кирпичем. Сруб приземистый, старенький, осел облупленным углом в землю, под настурции. В окнах темь: сквозь прорези ставен, глухо прикрытых, видно — огней нет во всем домике: спят. Наверное: домик весь на виду.

Ананьин, комендант, десяток красноармейцев задержали ход у калитки: Григорук с остальными ушел на оцепление дома, дальним обходом, соседним участком. Ночь тихая, ни единого звука: люди с бронепоезда ходят тихо.

Из-за угла, того самого, что осел под настурции, выбежала, оглядываясь и скаля клыки, взъерошенная собака. Ананьин откинул щеколду: Григорук на месте... Красноармейцы сбросили с плеч винтовки.

— Подберись, товарищи! Штаб. Едва ли дадутся без боя. И склад оружия здесь. Пошли!

Двинулись, развернувшись в оцеп, по клумбам, желтеющим газоном, глаз по окнам — только вскинуть на мушку. Пес, увидев людей и с этой, фасадной стороны, присел на зад, потрогал приподнятой лапой землю, опустил было черную, слюнявую губу. Взласт или нет? Теперь, впрочем, все равно.

— Прими штык, Лаврентий! Чего там — собачка ладная.

Лаврентий перекинул ружье в левую руку. Ослабился.

— Я же шутю: попугать. Разве я трону! Тубо, Дианка!

Шершавая ладонь к шершавому песьему носу. Дианка? Нет. Это ту, тогдашнюю собачонку, примомянутую Лаврентием, действительно, звали Дианкой, а эту — совсем по-другому. Но разве не все равно? Назвал Дианкой — признал. И собака признала: ласка на ласку — лизнула. Но хвост поджат, глазами по следу: Ананьин и комендант уже на террасе.

Дверь заперта. Комендант, поджимая по-птичьему голову в плечи, постучал в стекло, тихонько и вкрадчиво. Раз, другой...

— Свет, — подал голос с угла, глухо, Лаврентий. — Нажми, товарищ Ананьин!

Ананьин толкнул плечом зазыбившуюся стеклами створу. Но в тот же миг где-то там, за досками и бревнами, гулко хлопнула дверь, лязгнуло железо, — сразу ночь ожила, по дому, по саду, по лесу, — и голос Григорука, комвзвода, во весь заряд крикнул уверенно и твердо что-то длинное и складное о боге и троякой матери. Комендант, отбросившись назад, к самым ступеням, быстро и ловко ударил тяжелым сапогом в правую половину. Хряснуло, осыпаясь, стекло: за клумбой, за дутым шаром, взвыла наконец, надрываясь, законным воем собака.

— Огня!

Красноармейцы, толкаясь плечами, цапая штыками по косяку, протиснулись мимо повисшей на верхней петле распахнутой двери. Навстречу — по зыбучим, в скрип закачавшимся половицам — уже торопились такие же, красноармейские, быстрые, кованым каблуком пристукивающие шаги.

— Чуть было дёру не дал.

Лаврентий поднял фонарь к лицу человека, которого подволок к Ананьину за плечо Григорука. Человек был одет в блузе, синих штанах, высоких сапогах,

— Зачем... дёру?.. Я всего только... до ветру. А тут — видишь ты...

Лицо молодое, свежее побритое. Но у Ананьина в списке о Брасове сказано: полковник, бывший командир гусарского полка. Этот, значит, другой. Брасов, очевидно, вон тот — старый, с седыми подусниками, бравый. Остановился в дверях, со свечой. В накинутах френче и в туфлях.

— Полковник Грефельс, барон?

Даже бровью не двинул.

— Как вы сказали? Барон? Брасов, Дементий. Мещанин города Хвалынска. Документы прикажете?

Ананьин усмехнулся, в усы.

— Именно так: Брасов, Дементий. Его нам и нужно: Грефельс, барон. Вы арестованы. А этот кто?

— У меня документы в порядке, — упрямо и хмуро сказал арестованный. — За что? Это — произвол. Есть же декреты... И, наконец, гражданин комендант лично знает меня. Он не откажется, конечно, подтвердить, что я никогда и ни в чем не был замечен...

— Кто этот, я спрашиваю?

— Сын.

Ананьин усмехнулся в усы.

— Тоже... Брасов? Может быть, тоже Дементий?

Григорук снял руку с плеча. Молодой отряхнулся, словно на блузе остался след от руки комвзвода: пятно. Он быстро переглянулся со старым. Комендант перенял этот взгляд и сейчас же, броском, схватил молодого за обе руки.

— Оружие есть! Обыскать!

И, не глядя уже на изогнувшееся никчемным усилием в крепких, — перехвативших, — красноармейских руках, мускулистое и гибкое тело, щелкнул наганом к седому и крикнул, войдя наконец в прямые обязанности:

— В той комнате не были? Живо, братва! Может, еще кто-нибудь...

Есть. Она заступила порог, как только оттащили седого. Должно быть, стояла здесь же, в упор совсем, у него за спиной. Коменданта словно ожгло: страшно красивая, глаза небывалые, или это... от ночи, от того, что взяли отца? Наверное, этот — отец: она совсем молодая, лет восемнадцать, не больше. Комендант приосанился. Но она смотрела мимо него, на Ананьина. Ананьин, спокойный, следил за тем, как обыскивали Брасовых.

Два револьвера — оба у младшего, кошельки, портсигары: у старшего — золотой, с камнями и буквами: жалко было расстаться... Ну, конечно же: у кого же и быть таким портсигарам — гербастым, как не у мещан из Хвалынского? И по дочери видно: по сжатым губам — небось, не заплакала и не вскрикнула — и по рукам: пальцы тонкие, ногти розовые, отточенные коготками.

— Барышню тоже?

Ананьин кивнул. Комендант, вздрогнув усами, продвинулся тотчас поспешно.

— Разрешите...

От крепких, терпких духов непоивычно и сладко щекочет замехоренный, протабаченный нос. Но девушка брезгливым движением сбросила на протянутую руку распашной, цветами и птицами шитый халат и отодвинулась. Голые руки, голые плечи черные бархатки черной рубашки, кожа розовеет под двойным светом — фонаря и зари — сквозь окно. Красноармейцы отвели глаза.

Старик рассмеялся хриплым и жутким смехом и сказал что-то не по-русски, не по-украински: Ананьин не понял. Он сдернул со стола, под рукой, цветную камчатную скатерть и бросил, ответным движением, ей в руки:

— Закройтесь.

Неторопливо она укутала плечи, чуть-чуть кивнув. Комендант весь вспыхнул: ревность... или как это назвать? Григорук вынул нож: в сгибе халата, под мохнатым скользким шелком сразу нащупала ссыльная — к передачам тюремным, секретным, навывшая рука — плотный сгиб, в шов, в складку уложенной бумаги. Ножом по шву: не умеют они прятать документов.

Стаойск скривил губы, словно в ответ на Ананьевскую мысль.

— Я полагал... вы хоть женщин не трогаете... Социалисты... Будете еще раздевать, пожалуй?

Ананьин, не отвечая, поднес бумагу к стеклу фонаря. Список. Есть несколько новых фамилий. И Додиков — у него в Ананьинском перечне, значит просто член офицерской денкинской организации, а здесь он на самом верху помечен: «начальник штаба». Заела господ конспираторов отчетность, штабная баццлла: не могут без канцелярии...

— Где у вас склад? Нам известно, что в вашей даче есть склад оружия. Думаю — после вот этого — вы запирались не станете: играем в открытую, барон Гrefельс?

Барон улыбнулся и глубже засунул руки в пустые карманы.

— Запираться не буду: вы информированы верно. Всегда найдется такая каналья... Склад есть. И даже именно в доме. Поройтесь, господа, не буду лишать вас — хе! — профессионального удовольствия. Но вот: найдете ли?

— Найдем! — хладнокровно сказал Григорук. — А ну-ка, ребятки!.. Со спальни начнем, что ли: самое заповедное место, ась?

Грефельс обернулся к дочери:

— Не сядешь ли ты за рояль? Господин комиссар, есть такая игра, детская, конечно!.. Угодно ли вам позабавиться? Ищут запрятанную вещь, а запрятавший на рояли играет: чем ближе ищущий к вещи, тем музыка громче, чем дальше — тем тише. Тише... и наконец... — он оскалил желтые зубы, — *riapo-riapissimo*.

— Зачем вы фиглярничаете? — тихо сказал Ананьин. — Вам ваших детей не стыдно?

Девушка вздрогнула и сказала тихо, но очень слышно: «Не смейте!» Но Ананьин уже отвернулся.

— Григорук, с десятком справишься? Я пройду пока по соседству. Если в доме не найдешь, пощупай под дровами; я видел у забора целую штабель. Место, как бы сказать, обычное.

— Есть, товарищ комиссар!

— Арестованных приготовить к отправке; мы зайдем на обратном пути.

— Всех трех?

— Ну, конечно. И смотри в оба, Григорук.

— Будьте благонадежны.

В спальне скрежетали по дереву гвозди: должно быть, поднимали половицу.

3

— От барона Грефельса.

Штыки, маузер на поясе: Додиковы поняли сразу: и он сам, и жена. Они стали собирать вещи: надолго, впрок: запасное белье, табак, даже две книги. Спросили Ананьиных: можно ли? Он разрешил. Жена, дрожа сухими, морщинистыми губами, попробовала подсунуть, уже в узелок, евангелие, трепанное, с молитвословием, тисненное могильным крестиком на черненьком переплете, но Додиков посмотрел на комиссара, застыдился по-

чему-то и не взял. Деловито спросил, куда повезут, можно ли жене делать передачи и в какие дни и часы именно. На соседний обыск его взяли с собой; он даже как будто обрадовался, когда увидал длинный список: и Вахрамеев, и Лыжин, и Тарасов, и Родионов, и еще другие... все, значит, вместе. Здесь, в Ворзеле, форменное оказалось гнездо: через две-три дачи — «списочный».

По четвертому обыску, когда выходили из палисадника, — опять клумбы, шар, дорожки обложены черепичками, — на совсем уже заясневшую предрассветьем дорогу, вдалеке, за деревьями, за дощатыми заутками дач, ударили в перебой два коротких и гулких выстрела. Ананьин и красноармейцы остановились, прислушиваясь. Два. Больше не было. Где? В переплете садов и дачек сразу не разобраться. Ананьин окликнул начштаба.

— Где стреляли?

— У пруда, — немедленно и опять словно чему-то обрадовавшись, отозвался начштаб. — Я думаю, что не иначе, как у пруда.

— У Гrefельса?

Додиков свернул голову в сторону, к плечу, нахохлился: смешно и по-птичьи.

Точно он сейчас только понял: стреляли — значит, кого-то уж нет. Если выстрелов два, — значит, не понадобился третий: у кого при себе меньше пяти пуль! Он вспомнил, что при обыске у него отобрали наган, и затылку под мягкой и теплой шляпой стало холодно. Отчего жены не плачут, когда очень сильно пугаются?

Должно быть, секунда прошла, а кажется долго-долго. Сегодня вся ночь такая. Ананьин спросил опять:

— А как пройти самым близким путем? Я хотел сказать: к даче Гrefельса?

Додиков замахал рукой

— Тут как ни иди, — рукой подать. Вот сейчас за Варфоломеевской дачей...

Он осекся: Варфоломеев был в списке, он видел. Но комиссар не забыл.

— Варфоломеева возьмет Василёв! Сопротивленья не будет, вы как полагаете?

— Сопротивления? Что вы! — Додиков даже плечами пожал, как будто бы в сопротивлении была бы какая-то огромная, — ну, скажем, невежливость, которой никогда не допустит, не может

допустить образованный и воспитанный человек, офицер. Варфоломеев с университетским значком: до войны был юристом. — Нет, что вы!

Васильев и еще пять, гуськом, протянулись в калитку. Остальные быстрым шагом прошли (Ананьин и Додиков, за ними — арестованные кучкой, по бокам и сзади — красноармейцы) проулком вправо, опять в проулочек. Еще издали слышали громкие и злые голоса и прибавили шаг. Сквозь узорную резь палисадника Ананьин увидел Григорука и других. Они стояли гурьбой у террасы. Ананьин открыл калитку, окликнул:

— Что у вас там? Кто стрелял?

Красноармейцы расступились, оглядываясь. На ступенях, откинув тяжелые головы, взгорбив мостами животы, лежали два трупа: молодой и старый.

Ананьин вспыхнул:

— А, чорт! Я же приказал, Григорука!

Григорука пожался.

— Неладно вышло, что и говорить. Да извелась братва. Оружия-то мы не нашли, видишь ли. Нету его, оружия. А он — зудит. Ну, и стукнули!

— А та... которая...? — тоненьким голоском спросил комендант и приподнялся на цыпочки. Две головы на досках, подбородками вверх, очень круто. Но третьей не видно.

Григорука повел пальцем под носом.

— Ничего... Плачет.

В даче было темно. Дача жутко глядела в сад застылыми стеклами окон. Плач — в самом деле. Очень тихий, очень женский. Не из дома — из сада, с клумбы, из-за стеклянного, нелепого, под серебро, надутого шара: оттуда, где собака выла. Ананьин не оглянулся.

— Много взято по обыску?

— Бумаги кои — все взяли: у Лаврентия. А оружия, как я уже докладывал, — ни в доме, ни под дровами. И там копали, и здесь.

Ананьин наклонился к лежащим. Нет, надежно мертвы. Что ж, в конце концов, часом раньше, часом позже. Да вот еще... девушка... Комендант уже там, за шаром. Ананьин нахмурился.

— Товарищ Атросов!

Атросов подошел, торопясь и цепляясь шпорами. Комиссар сдвинул брови теснее: шпоры его вообще раздражали. Зачем

он их носит, мальчишка: вот перед такими, как эта вот, хрюсать?

— Надо итти. Светает. А мы не у всех еще были.

Комендант пугливо оглянулся к шару и клумбе.

— Она просила сказать... товарищ комиссар, так сказать, просьбу: оставить ее до утра. — Он скривил губы, но пренебреженья не вышло. — Буржуазный обычай, конечно: попрощаться с покойниками. Предрассудок... но, как бы сказать: женщина.

— А дальше? — холодно сказал Ананьин и посмотрел через плечо коменданта: она сидит спиной, отвернувшись и от них и от лежащих. Кто это сказал, что она плачет?

— Я бы мог... если вы ничего не имеете против... — Атросов опять звякнул шпорами. Но Ананьин уже не сердился: он уже решил, что Атросова надо немедленно снять с работы: вертач и бабник, явно просмотрел под носом бандитское белогвардейское гнездо... — Разрешите, быть может, ее до утра — под домашним арестом, а утром я лично доставлю. Мне, в сущности, все равно надо в Киев... Большого различия...

— Под личную вашу ответственность, — оборвал комиссар. — И с первым же поездом: утром будет, от Бородянки.

На обратном пути, у шлагбаума, взяли еще двоих; не считая тех, кого привел Василёв. Гораздо больше, чем ждали, по списку. В Ворзеле — десять, в Буче — шестнадцать, одиннадцать — на Ирпене: тридцать семь. Это уже — счет.

4

Шурик вышел из Ворзеля поздно: только-только, чтобы в Киев попасть к восьми, к заседанию ВУЦИК'а: надо же и дома побывать, немного хоть, с матерью и ребятами: может быть, следующий раз доведется не скоро.

Мало ли куда может повернуть его, Шурика, дело: заседание ВУЦИК'а сегодня — экстренное, значит, опять какие-нибудь срочные новости с фронта. Хороших новостей сейчас неоткуда ждать. И отец, в ночь, не зашел, хотя бронепоезд стоял до утра. Надо было, на случай, попрощаться здесь, со своими, крепче.

Поезд из Бородянки на Киев только один прогудел, по самому утру: позже не было слышно. Шурик вышел с расчетом

на пеший ход, через Пушу-Водицу; но все-таки, на случай, зашел по дороге на станцию: может быть, как раз ждут поезда. Расписания нет — надо справляться устным порядком.

Коменданта он застал на платформе. Комендант был хмур и растерян: очевидно, пошла полоса невезенья. В жизни всегда так бывает: живет, живет человек, ничего, и вдруг — полоса: неудача за неудачей. Так и с ним сейчас. Бандитский налет, подпольный штаб и третье — все в одну ночь, как по заказу! — упустил баронскую дочку. Положился на честное слово, оставил без караула — до своего возвращения. Чорт попутал побриться пойти! Ему и тогда еще, ночью, было неловко — весь в щетине, словно боров... как-никак: баронесса... А при дневной обстановке, вместе ехать... он все-таки бывший кадровый офицер, воспитан в уважении к женщине... Не задержись с бритьем, может быть, и застал бы, а тут — без следа! Остались на даче одни растрелыши. Теперь извольте расхлебывать!

Главное: доносить или не доносить? О налете и о побеге. Если Киев будет долго держаться еще, — донести обязательно надо, а то — за утайку... Тем более, что полоса идет невезения, явная. Когда не везет — нельзя рисковать: первое правило игры. Ну, а если советской власти счет на часы? А похоже, именно так: чувствуется в воздухе смена... И бюллетеней нет не случайно. Комиссар отмахнулся: так ему и поверил! А если власти конец — доносить на себя нет никакого расчета: надо отсиживаться. Он и утром не зря не поехал. Как тут решать?

Шурик не дал решить: он спросил, когда будет поезд, и спустил коменданту все мысли.

Атросов окрысился:

— А вы кто такой?

На станции — на проходном месте — можно назваться: Шурик ответил верно. Ананьин, сын комиссара Ананьина.

Комендант дрогнул плечом. Чорт бы его... Полоса!

Но опаска заставила ощерить начищенные зубы под жестоко прорбитой губою улыбкой.

— Из Киева?

Комендант — безусловно советский: но вот только... уж очень широки, в бесконечный раструб, галифэ, и лицо — точно не скажешь, в чем, но в чем-то совсем не «свое». Не «советское». Конспирация никогда не во вред. Шурик кивнул. Из Киева? Да. От отца? Нет. Отца не видал, он шел от Пушей пешком. Ведь поезда же от Киева не было.

— Не было, нет. — Комендант помолчал и добавил, опять повернувшись мыслью к расчету: — Вообще неладно на фронте, товарищ! Когда эвакуация? Вы более точно не слышали? По последним распоряжениям...

— Эвакуация? Почему эвакуация? — с большим удивлением спросил Шурик и внутренне засмеялся от радостной мысли, что он, очевидно, совсем уже взрослый, потому что твердо знает, кому и что можно, а кому и что нельзя сказать. — Откуда у вас такие сведения?

— Змееныш! — совсем уже зло подумал комендант. Ему стало безнадежно тоскливо. — В отца пошел, чекистом будет... А может быть, и сейчас уже чекист: такие рано начинают... наследственные. И держится этот... сынок комиссарский со всею развязностью, хотя положение военное, и он, комендант, здесь и сейчас — решающая власть. Вспомнил о власти, взбодрился и спросил, официально совсем, чтоб отыгаться:

— Вы, собственно, сюда зачем? Вам известно? Военное положение!

Тон коменданта задел: Шурик чуть не ответил: «А вам, что за дело? Вот мой документ, вот мандат — и довольно!» Но тотчас решил: лучше не осложнять отношений: отец будет недоволен. Он сказал по-тому, улыбнувшись, уклончиво:

— По... личным делам.

На «личным» сделал особое ударение. Комендант понял сразу: да и нельзя субалтерну из личных дворян понять как-нибудь иначе: «личное», значит, «любовное». Он подмигнул заговорщицки.

— Брюнеточка?

Противно, но раз уже начал... Шурик спрятал глаза.

— Нет, вы ошиблись, волосы у нее... золотистые.

У Атросова дрогнули губы. Да?... Золотистые... Он сказал протяжно, думая уже не о Шурике:

— Глаза... серые?

Шурик кивнул. Помолчали.

— Разрез такой... странный... — мечтательно продолжал комендант, — длинный разрез... и ресницы... длинные, каких не бывает.

— Вы верно сказали: каких не бывает.

Атросов очнулся. Что? Фу, какой вздор лезет в голову! Вздор? А что, если... Он заглотнул набежавшую ст волненья слюну и спросил, сдержав голос до шопота:

— Родинка?

Глаза у коменданта — круглые-круглые, и на висках прыгают живчики. Шурику стало смешно. Приревновал, кажется, этот бугай. Шурик сказал, озорно, нарочно с задором:

— Откуда вы знаете? Ну, да, конечно же, родинка!

— Где? — прохрипел комендант и рванул на себе воротник.

— На правой щеке, около уха.

Атросов дышал часто-часто. Терраса, ночь, собака, шар, труп, труп, расшитый халатик, родинка около уха... и волосы, золотистые, пахнущие волнующим и недоступным... Ему недоступным... А этот...

— Когда вы видались, извольте сейчас же...

Шутка зашла далеко — за шутку: пора и назад. Шурик, смеясь, протянул Атросову руку.

— Простите, товарищ, но, кажется, я, сам того не желая, попал в какой-то портрет... вам особенно близкий. Уверю вас, такой женщины я никогда в глаза не видал: вы мне сами подсказали наружность. И вообще никаких блондинок и брюнеток. Я, право, об этом совершенно не думаю.

Не дожидаясь ответа, он повернулся и спрыгнул с площадки на рельсы. Комендант посмотрел вслед, и на сердце опять защемило безнадежно и остро. Увернулся, конечно! И хуже даже: как он сказал? «Вам особенно близкий». Еще так и скажет отцу. До чего все неудачно выходит!.. Уж как пойдет полоса... И надо же было ему... Но вспомнишь — не удержаться: ужасно красивая... нестерпимо красивая, глаза, ресницы и, главное, плечи.

Атросов зажмурился, стараясь во всех, в малейших подробностях, вспомнить плечи. Ведь только на секунду мелькнули тогда, в огне фонарей... и запали: не забыть и не вспомнить. Даже кожи не вспомнить: смуглая или белая. А ощущение... держит.

Он потрогал лоб, сдвинул на затылок фуражку, и пошел, волоча шпоры, к станционному зданию. Каменный, маленький, грязный домик был пуст: в зале для пассажиров, у закрытого наглухо окошечка кассы, дремал дежурный красноармеец. Атросов остановился: взбудить и распечь? Э, все равно! Полоса.

В комендантской нет окон: день и ночь приходится держать зажженную лампу: копоть и керосиновая вонь. Атросов сел, достал пакетик махорки, бумажку, послюнил, свернул папиросу, но не закурил. Он думал напряженно и тоскливо, глядя перед

собой на заплеванный — им же самим — и загаженный пол: о том, что Ананьиным — хорошо, и, наверное, хорошо деникинцам, а вот ему, Атросову, никогда не будет хорошо, потому что он не Ананьин, и не деникинец, а самый обыкновенный, сам по себе, человек, а таким самим по себе людям, по тем временам, которые наступили, очевидно, больше не жить.

Лампа закоптила: пришлось подвернуть фитиль. От желтого огонька опять на память вернулся фонарь сегодняшней ночи, Ананьин-отец и Ананьин-сын, и от беспричинного, но едкого чувства обиды мелькнула, засмеялась и вдруг стала четкой и крепкой неожиданная, — но какая удачная! — мысль. Радуюсь ей, но уже боясь, что вот-вот он испугается ее и передумает, комендант завертел, моргая часто ресницами, ручку телефонного аппарата и снял трубку.

— Киев? Дайте, пожалуйста, срочно коммутатор чрезвычайной комиссии.

5

До стрелки, по насыпи, по железнодорожному полотну... «Посторонним ходить воспрещается». Стрелочник видит из будки, но не препятствует: надпись от мирного времени, от официального расписания поездов министерства путей сообщения: в революцию это все не действительно. Будет опять мирное время, расписание поездов, — опять войдет в силу и стрелочное: «посторонним ходить воспрещается». Тогда будет твердо известно, кто посторонний, кто — нет. А сейчас — пусть кто-нибудь скажет хоть этому вот, безусловно, длинноному, в кепке, что он — посторонний.

Шурик свернул за стрелкою, мимо облупленного шлагбаума, полем, до леса, потом лесом по взъезденной пересохшими колдобинами, давно не езженной дороге. Дорога знакомая — мама с детьми с весны уже в Ворзеле. Шурик больше любит ходить этой, пешей дорогой; поездом ездить — в вагонах тесно, душно, насорено семечками, а на пешей дороге — солнце, песок, сосна и береза, воздух чудесный, легкий, попутчиков нет: ведь если кто и идет по той же тропке, всегда можно или отстать или обогнать, смотря по попутным ногам: семянат или шагают. Пришел, ушел — кто видел? Конспиративно. И по времени, пожалуй, даже скорее, чем с поездом: нет остановок и нет опасности, что где-нибудь в каком-нибудь там Святошине кондуктор оповестит по вагонам:

— Поезд дальше не следует.

Повреждение пути, или что-нибудь с паровозом неладно: транспорт разладился вдребезги.

Здесь — никаких неожиданностей. Все стоит прочно, на собственном месте. Сосны крепко ушли в землю корнями, и пески лежат, как века уже, может быть, пролежали: застывшими волнами — только рябь, по верхам, перекачивается каждый день по-новому: то к северу тянет, то к югу. Итти хорошо, и думать никто не мешает.

Шурик и сейчас думает. То-есть, собственно, не столько думает, сколько так... мысли идут. Идут скоро-скоро. Не собраты: разбегаются. Не успеешь даже толком и посмотреть, что же это за мысль была, какая она из себя... Так только: мелькнула хвостиком... И — мимо! Шурик быстро идет и дышит нарочно глубоко, захлебисто, и на сердце сегодня как-то «особенно» — от быстрой ходьбы, должно быть, или оттого, что солнце, и небо синее, и облака белые, перышками — выско-высоко... даже странно, что видно их, — так они далеко... и оттого, что впереди — Киев, товарищи, заседание — очень важное — ВУЦИК! Много-много людей, и все свои, все ужасно родные и близкие, и отец будет говорить, наверное... Шурик любит, когда отец говорит. У него голос совсем особенный, когда он говорит на заседании или митинге, и слова становятся в памяти рядами, — так он их крепко ставит. Вообще он счастливый, Шурик: у других отцы — «бывшие», так что стыдно, а у него настоящий. И мама тоже, и ребятки. Когда они вырастут и тоже станут на работу, вот будет дружно и весело. Ждать только долго: он, Шурик, родился до папиной каторги, а все остальные, когда папа с Кары сбежал... восемь, нет, даже девять лет разницы. Кира, брат, следующий — по сравнению с ним, комсомольцем, пупс. Но хороший пупс, и вообще ужасно хорошо и радостно жить, когда — революция, и кругом родные, сильные и радостные люди, и на поясе — тяжелой, всегдашней радостной тяжестью — кольт.

На бой кровавый,
Святой и правый...

Сосняк, березняк, перелесок... Пусто... Шурику досадно, что людей нет, что никто не слышит, как он поет... Голос у него сейчас совсем, как у отца, когда отец — на трибуне, и также, наверное, взял бы за сердце, и поднял бы, и повел —

далеко-далеко, высоко-высоко — на радость. Радость! Для революции, для тех, кто в революции живет, — другого слова нет. Или лучше, вернее так: во всяком слове, какое ни скажи, — обязательно и это слово есть, внутри как-то запрятанное: радость. Вот и сейчас — дух захватывает... И не надо так скоро итти: смешно, точно маленький мальчик!

Дачи замаячили горбатыми крышами сквозь редкий лесок вправо и влево: теперь так все время будет, до самого Ирпеня. Вот... понастроили! Это — от старого быта, когда люди были, как редька, корнем в землю. Обязательно — корнем в землю: в городе — под булыжник, чтобы совсем крепко было: булыжник лежит крепко, человек стоит прямо. Если из города, на отдых — опять сейчас же как можно скорее, и как можно крепче корнем в землю, под песок... Нет, под песок не так хорошо, вон какой тут, на песке, сосняк чахлый-чахлый, несчастненький, — а под мох: тепло и укрыто: дача. Ужасно это глупо, так, корнем в землю, надолго, навсегда... когда на земле простор — края не видно, и за каждым шагом — другое и опять новое, по-новому радостное... Когда война кончится и вообще революция победит совсем во всех странах и во всех землях, тогда, наверное, на месте будут оставаться одни только малышки: пупсы. Для них будут такие особые питомники по самому последнему слову науки. Или техники? Как надо сказать? Очень стыдно, а с терминологией Шурик никак, по сие время, не справится: не доучился. Когда война кончится — много-много надо будет еще читать и думать. Отцу хорошо — он в тюрьмах годами сидел, долгими-долгими, было когда читать книжки, а ему, Шурику, где было читать, и в школе даже толком быть не пришлось: сегодня — в одном городе, завтра — в другом... И денег у мамы никогда не было. То выключат за невзнос, то не примут — прознают, что отец — политический, каторжанин... Разве это учеба? А как только подрос, как только глаза стали смотреть по-настоящему — подошла революция — и прямо в ряды, под знамя, под боевые трубы... И вовсе не стало книг... Разве сейчас до книг?

На бой кровавый,
Святой и правый.

Вот и опять мысль убежала... кака зайчик по стенке, солнечный... Нет, поймал... О корнях... Дети будут в питомниках — так для них лучше: самый настоящий уход; а взрослые — когда

отпуск, когда отдых — будут расходиться во все концы: итти, ехать, лететь — кому как лучше: грузины — к самоедам, негры — к украинцам. И когда будешь так отдыхать, — зайдешь, ну, где-нибудь в киргизских степях, например, — в юрту, местную, тамошних жителей: она круглая, войлочная, перевитая тесьмой широченной, белой, чистой-чистой, потому что пыли нет в киргизской ковыльной степи... Так вот: юрта — и в ней: киргиз, остяк, китаец, и еще украинец — дядько эдакий, с Куреневки. И говорят каждый по-своему, но все друг друга понимают. Именно так: по-своему, но все понимают, а не то, чтобы был какой-то особый там общий — всего понемножку — язык. Владек говорит: будет эсперанто. Это вздор. Когда наступит коммунизм и не будет больше наций, не то что у каждого племени, но у каждого человека явится свой собственный язык: и все-таки все будут всех понимать. Непонятно? Конечно! А как же оно может быть понятно, когда еще нет коммунизма, и если представлять себе будущее по-старому, от сегодняшнего, — какой же это будет новый, коммунистический строй? Это все равно, как если бы какой-нибудь грек под Троей — и вдруг мог бы себе представить аэроплан или пушку, которая бьет за сотню верст, электричество, или, еще больше, радио. И с нами так: мы еще только — греки. Надо обязательно сказать так Владеку: когда мы последний раз спорили, это вот — не подумалось. Отчего мысль никогда сразу не придет в голову: с ним, с Шуриком, это постоянно случается: стыд! Двадцать лет! И еще: мысли всегда попеременно: то настоящая, что можно даже отцу сказать; то ребячья: можно сказать только пупсу Кире.

Ноги устали. И мысли идут сейчас ровней и спокойнее. Точно ноги мешали, пока они двигались быстро: это — не о мыслях, Шурик, а о ногах. Все-таки не отдохнул, значит, в Ворзеле, как следует. Бабушка говорит: дух бодр, плоть же немощна. Это — из священного писания. Бабушка старенькая совсем, она и сегодняшнего себе не может представить, как мы не можем — завтрашнего. Не можем — и не надо. Все равно — радость. Революция.

6

Шурик не заметил, ка дошел. Сосняком, перелесками до моста, по мосту — через Ирпень — мост длинный, деревянный, вустой — без охраны: перила одни — огородкой. Шурик даже

покачал головой: в сущности, это большой непорядок, обязательно надо будет сказать об этом отцу. По таким временам — мало ли что может случиться! Набредут хотя бы те же стружковцы, нет? И переправы не станет.

От моста — уже совсем недалеко: глинистым въездом на гору, мимо погоста и церкви. Церковь упрямая: каждый раз, как Шурик идет, звонит: вот тебе, комсомолец! Кооператив на углу, в два окна, самый деревенский; на заборе — четыре плаката, в ряд. Все одинакие: «Пролетарий, на коня!» И зачем в такие места засылают: кому здесь садиться? Поселок весь — кулачье, куркули, достаточно на хаты взглянуть. За кооперативом с перекрестка — широкая проезжая дорога, сквозь строевой, мачтовый лес. По ту сторону и по эту — делянки, рубленные сажени дров и просто бревна, накатами, бревно на бревно, но больше дрова; валежник — пухлыми кучами, встопорщенный, словно из-под него кто-то лезет, вот-вот высунет голову; ржавые рельсики когдатошнего подъездного пути; спуск; пруд — на впалой лесной прогалине — плотина и плот; на плоту, как всегда, обязательно, даже сейчас, в революцию, баба полощет белье; три ялика. От пруда чуть-чуть в гору — и конечная станция городского трамвая. Вагон дожидается встречного, можно сесть, вытянуть притомленные ноги. Ехать далеко: одних только просек здесь, в Пущей-Водице — шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать... никак не запомнить Шурику, сколько именно. Потом пойдут улицы — кривые, окраинные... и долго, долго потом — самый город. Это очень хорошо, что далеко: отдых.

Заседание ВУЦИК'а — в восемь. Вагон достучал пробег до конца раньше времени: в цирк, где будет собрание, идти еще рано. Отца на квартире, в «Континентале», наверное, не застать. В комитет? Не стоит, можно только еле успеть обернуться туда и назад: далеко. Шурик поднялся к Царскому саду: посидеть под деревьями свободные полчаса — самое доброе дело.

На песочной дорожке, полукруглым подъемом, Шурика обогнали, быстро топоча каблучками, две, четыре, еще две, потом еще три девицы — в летнем, цветном, прозрачном, с открытыми плечиками: они торопились — явно. К зданию бывшего купеческого собрания. Одна сказала даже, огибая досадливо Шурика:

— Не попадем ни за что, помани мое слово!

У здания, у раскрытых, с этого фаса невысоко над почвою приподнятых окон, густой и нарядной толпой стояли люди: больше всего такие точно девицы, как обогнавшие Шурика. Продвинувшись ближе, он увидел, что зал — огромный, многоколонный, в два света — набит до отказа: во всех проходах стоят, плечо к плечу, грудь к спине, вытянув шеи.

Шурик спросил ближайшую:

— Что там такое?

Ближайшая ответила с готовностью, раскрыв, розочкой, губки: губки были карминовые.

— Вечер поэтов. Председательствует сам Эйнерлей.

— Эйнерлей? — Шурик искренно удивился. — Это что ж... фамилия такая?

— Нет, не фамилия, а... нарочно, — съязвила девица. — Вы, однако, кажется, о русской литературе представления не имеете... Вы, пожалуй, и Македонского не знаете? Он сегодня читает новую свою... псевдо-трагедию, он так назвал: Пьеро-убийца.

— Как? — До Шурика не дошло.

— Пьеро-убийца. Говорят, удивительно: это совсем новая жизнь.

— Новая? — Шурик прислушался к залу. Нет, ничего оттуда не слышно: какая у Македонского новая жизнь. — Если так интересно, вы почему же не слушаете?

Девица вздохнула.

— Билеты все давно распроданы, даже входные: я не успела. Туда не попасть — ни за что.

Четверть часа у Шурика есть, по крайней мере. Послушать? О отступил от окна еще на шаг дальше, для разгона, и легко взросил на подоконник крепкое тело, под легкий вскрик — и с той и с той стороны. Без билета? Без пропуска? Но Шури — в кепке, у Шурика — на поясе кобур. «Посторонним вход воспрещается». Как там, на насыпи, у кривой, у тяжелой страки. Пусть кто-нибудь скажет Шурику, что ему вход воспрещен. Он спросит только в ответ: кем? И все посторонятся и идут дорогу.

Он оперся рукой, нагло, озорно, на плечо какого-то франта, ставшего, прислонясь к косяку, и соскочил внутрь, в проход, как солдат на штурме соскакивает во вражью траншею.

Траншея зашипела, оглядываясь. Но Шурику дали дорогу, тотчас, сквозь всю тесноту: засторонились проборы и сюртуки, дамские голые плечи: кепка, кобур: большевик.

По залу, между колоннами, пестрыми и пышными клумбами, — яркие платья, яркие волосы, яркие плечи: цветник. На эстраде, у самого края, растопылив длинные, сухие, мускулистые ноги, разметав — жестом — длинные полы черного, чернейшего сюртука, с черными усиками, кончиком вверх, над сухим и тонким, словно бритвою врезанным в маску ртом, с ярким цветком на шелковом черном отвороте у плеча — чтец, поэт, должно быть, тот самый: Владимир Македонский. За ним, в глубине, за узеньким столиком, боком — бесцветный, белесый, округлый, с брюшком и пухлыми пальцами, — какой-то другой. Эйнерлей, должно быть, или, как его... нарочно... Потому что стол — председательский. И больше нет никого на эстраде. Македонский читает. Голос в нос, с хрипотой и растяжкой, но слова взлетают уверенно. Шурик сразу же вспомнил... да, да, совсем такое лицо, чуть-чуть черноусенькое и очень скуластое, и ноги тоже — длинные, мускулистые, раскобрякую. В цирке видел, совсем малышом: китаец, жонглер, бросал вверх тарелочки и блестящие шарики. Шарик за шариком целым узором — быстрою сменой рисунка. Вверх, вниз — над пестрым ковром. Так и этот: слова, как серебряные блестящие шарики, в роде тех, что на клумбах, только те большие бывают и дутые, а эти сплошные... вверх, вниз, в строгий расчет, один за другим, пестро и красиво... и совсем, совсем ни к чему. Почему та, под подоконником, сказала: новая жизнь? Надо все-таки хорошенько послушать.

Но увы: худое дело
Ждет больных детей.
Мальчик белый, мальчик белый,
Если жить не надоело,
Жизни пожалей...

Шурику тесно в толпе: сдавили. Сзади, плечом к его блузе, женщина с усталыми, густой синевой подведенными глазами, странно безбровая: он на секунду оглянулся только, и то запомнилось. На секундный оборот этот она настойчивее прижимает его плечом и шепчет, дыша жаркими губами у самой шеи, у открытого ворота:

— Мальчик белый, мальчик белый...

Волосы у Шурика светлые, действительно. Белый. А ей какое дело! Шурик отодвинулся, но плечо за ним: не пускает, пахнет противно, пудрой, духами, потом. И кругом так, от плеч, от курток... если бы только женщины, но здесь и мужчины надушенные... и сколько... Бои идут... Земля горит под ногами... А они... о чем...

Македонский прищурил черные, лукавые, с наглой поволокой глаза. Он смотрит — поверх всех, сидящих и стоящих перед ним, поверх всех — на кого-то невидимого и... страшного для него, наверное, потому, что в небрежных рассеченных стопами звуках — холодная дрожь.

Но не все обиды седь.
Что же, лунный гость...

Приостановился — и потом медленно, и глухим голосом, точно он в самом деле что-то видит сквозь прищуренные неподвижные веки.

Меж позором и победой
Смерть бросает кость.

Не от слов, от голоса — Шурик понял. И понял верно. Потому что Эйнерлей на последнем слове поднял, настороженно, стриженую, тяжелую голову и чуть-чуть, ленивым движением, прихлопнул кончиками пальцев. Сигнал? Должно быть. Потому что сейчас же где-то в задних рядах гулкой хлопущей ударил торопливый аплодисмент, и справа и слева от Шурика зачавкали потные и жирные ладони, перебивая хруст истерично стучавших, косточку в косточку, пальчиков.

Меж позором и победой
Смерть бросает кость!

— Браво, Ма-ке-донский!
Разве белые уже в городе?

Фигура прямая, сухая, черная выжидала у края эстрады, наклонив волос к волосу расчесанный пробор. Боковая дверь в проход, между белыми, залосненными светом колоннами медленно растворила. С лестницы дохнуло, как ветром, сквозняковым, осенним воздухом. Шурик, раздвигая ряды, заторопился навстречу. Рукоплескания стихли. Македонский читал дальше. В раскрытых дверях кто-то, тоже в куртке, и тоже с цветочком в петлице, накрахмаленной белой манишкой и растопыренными руками, — как у детей, когда они играют в кор-

шуна, — приседая и благоговейно шия, осаживал напивавших к двери безбилетных. Он пропустил Шурика, оглядев его недоуменно и обидчиво. Из зала, вдогонку, крикливо и надсадно кричал тот же голос:

Всякий нож докажет миру,
Чьи слова — не ложь.

Шурик засмеялся... вот это — так! — и прыгнул, по лестничному спуску, сразу через четыре ступеньки.

7

От сада до цирка, на Николаевской, много-много десять минут ходу. У входа Шурик посмотрел на часы: восемь ровно. Но пуст подъезд и пусты коридоры, и с арены, из-за замотанных плюшевых малиново-грязных портьер мерно — за словом слово — голос оратора. Опоздал! Давно начали?

Красноармеец, в проходе, глянул на протянутый пропуск. — Заседание в семь. — В семь? — Ужели же он, Шурик, спутал? Или отец забыл, неверно сказал? Целый час... и надо ж так... все доклады, должно быть, прошли.

— Слово имеет товарищ Данила Ананьин.

Хорошо, что отца не пропустил: Шурик любит, когда отец говорит. И другие любят: на ярусах мерно и радостно бьют товарищеским приветом ладони. Шурик смотрит от входа (места теперь не найдешь): по ложам и амфитеатру, от песочного аренного круга, застланного на сегодня ковром (стол, кресла, президиум) — под самый верх, под крутой перекрест в купол согнутых кованных железных полос, заполнив скамейки, плечо к плечу, голова к голове — гимнастерки, блузы, кожанки. ВУЦИК, Горсовет — совместное заседание. Белые шары жаркою дрожью накала затопляют цирк тяжелыми волнами молочно-белого света: цирковой свет — свет особенный. От него, от этого света, должно быть, глаза у всех тоже особенные: большие и пристальные. С барьера оркестра вниз, к арене, белым простенком, — огромная белая карта щерится десятками воткнутого булавочного жала трехцветных, царских, вражьих флажков: с севера, с запада, с юга, с востока: кольцом, петлею, удавкой. Синие реки змеятся по белым, пустым — ни замет, ни примет — просторам, в густо окрашенные грязною синью пустоты опоясавших землю морей: второе кольцо, беспощадное,

потому что и здесь — только чужие, только враждебные флоты. Ни земли, ни воды за частоколом флажков. Данила Ананьин — у карты.

— Вы слышали военную сводку, товарищи! Вы видите эти флажки. Они продвигаются каждый день к нашим жизненным центрам, и продвигаются быстро — на радость империалистам, деньгами и снаряжением которых крепятся белогвардейские банды. В поле для нас бой не равен: мы стоим на фронтах почти что с голыми руками: наган — против танка. Но голыми руками не каждый танк остановишь. Ичкаские переправы потеряны, днепровская линия от Херсона до самого Кременчуга в руках добровольцев. Полтавская группа противника начала продвижение к западу. С востока крадутся, из Галиции выбитые поляками, галичане, в расчете здесь пожить. Киев становится под удар.

В цирке тихо. Карта перед глазами: белые немые просторы, звенья флажков — кругом, кольцом, петлею, удавкой.

— Ежели б мы воевали обыкновенной, — «военной» — войной, — раздумчиво говорит Данила Ананьин, точно кругом — никого, и он сам с собой рассуждает, — о положении нашем всякий штабной специалист сказал бы: надежд — никаких. Но здесь расчерчен «театр войны»: а у нас не война — революция. И на карте нет самого главного...

В рядах что-то дрогнуло, но Ананьин не дал подняться.

— Здесь батальоны и полки, но здесь нет миллионов крестьян и рабочих, нет революционного моря, по которому лодчонками жалкими плывут офицерские колонны. Проплывший по морю корабль не завоевал еще моря. Крестьяне и рабочие — там, за флажками Деникина, Юденича, Колчака — расступились под грозой неравного военного спора, дали дорогу батареям и танкам. Но ряды уже замыкаются на тылах прошедших колонн. Пусть идут, пусть продвигают флажки — на радость буржуазии всего мира. Когда они сдвинут их совсем, совсем уже близко, смертной петлей, и всем им будет — по карте, такой вот — казаться, что они совсем победили... мы возьмем эту карту за край — тяжелой пролетарской рукой — и вытряхнем ее... так вот!

Флажки частым, дробным, бессильным дождем посыпались с всколыхнувшегося огромного полотна. Синие реки, синие моря, белые пустоты пространств взмыли волнами, словно ожившие...

— Так будет, когда подымется тыл — не войной, но восстанием! Пусть идут, пусть возьмут Киев, Москву. Им все равно не вернуться!

Шурик кричит, с другими, со всеми, отбивая ладони в бешеном плеске рук. Пусть идут! Себе на погибель! Огромное, неслыханное счастье — знать, как знают здесь все, до последнего, что победы не может не быть. Пусть голод, пусть мор, измены, отравы, смерть — тысяч, тысяч, тысяч, — а все же на трупах и пепелищах уверенно, твердо, к новой и вечной жизни станет она, победительница!

Да здравствует революция!

Уже сменил Данилу Ананьина другой, рыжебородый, оратор, ждет, глядя курчавистые волосы, смеясь строгими глазами из-под очков. Гул спадает волнами, тише, тише, ниже, ниже, к самой арене, очерченной низким барьером. И вдруг — снова зажженный чьим-то вскриком на скамьях — опять взмывает вверх, к куполу, к матовым белым, жарким шарам, бурю криков. Еще раз:

— Да здравствует революция!

Слово и дело! Рыжебородый поднял руку.

— Товарищи, чтобы вернее стряхнуть флажки, по способу Данилы Ананьина...

Шурик — не он один! — смеется счастливым смехом. Крикнуть еще раз, от полной души, от избытка бунтующей силы. Да здрав... Но рыжебородый уже говорит дальше.

— Нам надо очистить ряды, смыкающиеся на тылах, — а тылы не только у белых, они и у нас есть, товарищи! — от классовых недругов, которые, затаясь между нами, жалят, где можно, в пятую; плетут сети заговоров. Нас миллионы, товарищи, но и классовый враг, буржуазия, не на десятки ведет счет своим. Классовый враг не добит. И всюду, где проходят белые армии, он подымает голову. Подымает он ее и в Киеве, который налит буржуазией до самых краев: здешние буржуа чувствуют уже приближение «своих». Мы раскрыли за последние дни несколько подпольных организаций, арестован целый белогвардейский штаб...

— Слушай-те!

— Белогвардейцы подходят. Они вешают сотни рабочих на улицах занятых ими городов. Белогвардейцы приближаются к Киеву. Я напому вам слова французского революционера

Дантона, сказанные в конvente в дни Великой французской революции, когда войска союзных монархов подступали к Парижу, грозя раздавить в крови восстание народа. Дантон сказал: «Я знаю только одно настоящее средство подлинной революционной обороны: мы должны расправиться с аристократией». По его предложению конвент декретировал террор. Этот пример я напоминаю вам сейчас, когда на нас наступает буржуазия.

По ярусам, за опоясьем белых барберов, встают. Без шума. Оружие на поясе.

— Слушайте!

— Когда класс встает против класса в смертельной схватке, каждый отвечает за всех. В такой борьбе нет отдельных виновных. Все преступники — или не виновен никто. Террор!

— Нет! — крикнул кто-то на скамьях. И еще. Рыжебородый шагнул вперед.

— Нет? Кто-то там, — не из наших, конечно, — прячет трусливо зрачки от революционной правды, потому что правда эта хлещет кровью в глаза. Кто против красного пролетарского террора — тот не наш!

— Не наш! — крикнул Шурик, в обгон взреву криков. Он продвинул кобур по ремню вперед, под самую руку. Кто опустит глаза, кто уйдет из рядов? Где? Пусть покажется, пусть только он, Шурик, увидит!

Но рыжебородый опять подымает руку. С ярусов яро кричат, кругом, в опоясь арены.

— На голоса!..

— Без прений!

— Товарищи! От имени Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины — в ответ на наступление белогвардейских банд, на заговоры, на покушения ударить нас из-за угла — я предлагаю ВУЦИК'у декретировать красный террор.

Председатель, седой и зоркий, встает из-за стола, пристальным глазом ведет по ярусам.

— Кто против? Нет. Кто воздержался? Борьбисты воздерживаются. На десять минут перерыв.

8

В коридорах широких (шестерка коней может проехать, наверное), — пол асфальтовый, очень холодный. О том, что он холодный, сказал Шурику Зайдель, когда они встретились в пе-

рерыре. Почему он сказал именно об этом? Зайдель вообще странный. Но он на три года старше Шурика, и в группе, где Шурик, секретарем.

Из молодежи был еще Владек. Ну, этот — Шурика любимый товарищ: они как братья. И волосы у них одинаковые, совсем почти белые, только Шурик стрижется коротко, под машинку, а Владек откидывает назад: лоб у него белый и высокий. Владек вообще, как бы сказать, кокетничает. Не с девушками, нет, а так вообще.

Говорить не хотелось. От заседания — странная какая-то усталость. И даже не усталость, а такое чувство, что все сказано, и все мысли прошли, больше ничего не надо говорить и думать. Но если так, — обязательно должно быть как при большой усталости. Тогда тоже не говорят и не думают.

Но это только с ними, с младшими. Старшие могут думать и говорить. На повестке еще есть вопросы: о продовольствии и другом. И по коридору сейчас разговоры и смех. Шурик оглядывается. Все-таки: как они могут?

Вон и отец: он тоже говорит, в кучке людей, и хоть не смеется, но все-таки улыбается. Увидел сына, кивнул, кончил разговор и подошел. Вместе с предчека.

У предчека — лицо добродушное, толстое, и весь он круглый и мирный... Ему бы в детдоме — кормить детей кашей: — ребята, чур, не шуметь! — А он, каждый день, в протоколах коллегии подписывает твердой рукой.

«Слушали... Постановили: расстрел. Высшая мера социальной защиты».

Он и сейчас улыбается приветно и добродушно. Подал Шурику руку и сейчас же достал из кармана толстенную и длиннейшую сигару, в оклейке красной, с каким-то мудреным фирменным золотым гербом.

— Побалуйтесь.

— Спасибо. Я не курю.

— Не пьет, не курит, в карты не играет: добродетель, как в старину говорили. Это все хорошо. А вот зачем вы девицу воруете, да еще по моей части?... За это отвечать придется. А?

Он сделал страшные глаза и ткнул Шурика пухлым пальцем под карман блузки.

— Здесь спрятал! А? Показывай!

— О чем вы?

Предчека захохотал. И отец улыбнулся. Но невесело, и на лбу — досадливая складка. Шурик больше всего именно этой складки не любит: когда отец не сердится (сердится он редко, надо что-нибудь очень плохое сделать, а именно так: досадует, — значит, Шурик сделал что-то никчемное. А никчемное — хуже плохого.

И еще неприятно: при Зайделе. Зайдель уже весь насторожился: Шурик — и женское. От того, что предчека смеется, — не лучше.

— О чем вы? Я вас не понимаю.

— Не понимает! — качнул головой предчека и взял под руку Ананьиного-старшего. — В Ворзеле, с комендантом беседовали?

Шурик вспыхнул до корня волос.

— Это... о той? Да я же шутил, это же явно было, и ему сказал сейчас же. Вот... дурак!

— Дурак, конечно, — хладнокровно подтвердил предчека. — А вам все-таки наука: ведь хорошо, что все так, как оно есть: сын Даниила Ананьиного — значит, вне подозрений. А ежели б этого не было? Запутаться легко, голубок, а выпутаться там, где плётень политическая, — не столь уже просто.

— Да какая же тут плётень, — сказал Шурик и оглянулся на отца, за подкреплением. — Даже совпадения нет, случайного. Он же сам мне описывал, а я только поддакивал.

— А родинка? — щурясь сквозь стекла пенсне, сказал предчека.

— Ну, это... правда... случайно попал. Но мне просто почему-то казалось, что если бывает родинка, то всегда около правого уха.

— Знаток женщин! — опять расхохотался предчека. — Всегда около правого уха! Это совершенно изумительно! А все-таки — я серьезно говорю: в другой раз будь осторожнее.

— Да в чем? Велика беда! Ну даже пусть поддразнил коменданта. С какой стати он вам-то нажаловался? Ведь это же личное.

— Личное? — поднял брови пред. — То-есть как? Девуцы-то нет?

— Какой девушки?

— Начинается! — На этот раз предчека сморщился уже действительно, без всякой шутки. — Бежала контр-революционерка, явная, по декрету сегодняшнему, пожалуй, пошла бы под «высшую». Вы даете коменданту, который ее упустил, за что и...

ну, скажем, снят с работы... приметы этой девицы и утверждаете, что ради нее прибыли в Ворзель. А потом удивляетесь, что он об этом доносит мне срочно, и говорите: при чем тут политическая плётень? Тут контр-революция, родной мой! И ежели бы я с тобой по-официальному?.. Ну-тка! Как бы ты мне доказал, что не способствовал похищению девицы?

— Да я же ее никогда в глаза не видал!

— Человек может доказать, что он видел то и то, но доказать, что он не видел... не сможет ни один человек. Как можно доказать то, чего не было? Доказать свое *alibi*... это годится для... второй кражи, но не для политики. Так-то!

Он вытянул руку и осторожно снял с плеча блузы Шурика длинный и тонкий женский волос...

— Блондинка. Так...

Предчека дунул, и волос, выгнувшись, полетел на Зайделя. Зайдель пугливо отдернул рукав.

— Значит, условились? На будущее время будем осторожнее, да? Никаких... шуток. Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. В революции это единственное расстояние. Иначе — гроб. Я правильно говорю, Данила?

Ананьин-отец кивнул.

По коридору, в том конце и в этом, задребезжали звонки. Уже?

— Заседание возобновляется, — медленно проговорил Данила. — У тебя очень усталый вид, Шурик! Тебе едва ли стоит оставаться: вопросы хозяйственные и очень специальные. Ты у меня заночуешь?

— Я думал у себя, в общежитии. Мы сговорились с ним вот потолковать, с Зайделем.

— У меня тоже дело к тебе. Забирай товарища Зайделя ко мне в номер. Пока я подойду, вы свои дела покончите. Через полчаса завари чаю. Я здесь больше не пробуду, да, пожалуй, и вообще через полчаса кончим. Кроме продовольственного — остальное вермишель. Да и по продовольственному без прений.

Предчека помахал Шурику ладошкой и пошел, вслед за Ананьиным.

— Ну, что ж, пойдем в «Континенталь», Зайдель?

Зайдель оглянул Шурика.

— Что ж, пойдем. Все равно ведь, где говорить.

В бывшем «Континентале» (теперь Дом Советов, здесь же, рядом с цирком, на Николаевской) комната у Данилы Ананьина в третьем этаже, узкая и длинная. Ремонта в гостинице не было давно: наверно, с самого начала революции: штукатурка оббилась, в паркетном полу, в углу, где проходит труба центрального отопления, большая дыра. Когда в комнате тихо, из этой дыры вылезают мыши, гладенькие, отъевшиеся, с черной почти, не серой, лоснящейся шкуркой, по трубе, вверх, на ржавую камеру отопления. Шурик видит мышей каждый раз, когда приходится ночевать у отца: как только станет тихо, даже при непотушенном свете. Сейчас тоже тихо, хотя в комнате двое: Шурик, Зайдель. Шурик лежит на отцовской кровати, опершись на локти, вытянув ноги. Зайдель — у стола. Он сгорбил узкие, острые плечи под кожаной, пробелевшей по швам, поцарапанной курткой и додумывает какую-то мысль — длинную очень, должно быть, потому что молчат они оба долго. Шурик давно уже ждет: вот-вот выскребется из дырочки мышь и сядет на рыжем углу железной гармоникки. Но сегодня нет мыши. Странно и глупо: но Шурику хочется мыши.

— О чем ты думаешь, Зайдель?

Зайдель повел в сторону Шурика глазами, не пошевелив головы.

— О сегодняшнем. Декрет о терроре.

Шурик кивнул.

— Каждый — за всех. И насмерть. Это очень верно, Зайдель!

— Я не говорю «не верно», — ответил Зайдель и прикрыл глаза. — Но я думаю о другом. Что террор не для тех только нужен, красный террор, а для наших тоже.

Шурик сбросил ноги с кровати и сел. Совсем так, как в Ворзеле, утром, когда бандиты.

— Для наших? Это еще что такое, Зайдель?

Зайдель хитро сощурился.

— Ты читал библию когда-нибудь? Нет? Нет, ты читаешь политграмоту, и до старых книг тебе нет дела: я спросил нарочно. Но ты слышал когда-нибудь об Исходе?

— Исход? Какой такой?

— Когда Моисей вывел евреев из Египта. Это было названо: Исход.

— Легенда! — засмеялся Шурик. — Ах, то, что учили в подготовительном? Ветхий завет? Подожди... Нет... не помню. Ты правильно говоришь: я легенд совсем не знаю, и мне они незачем.

— А сегодня что? — засмеялся в свою очередь Зайдель. — Ты себе скажешь: не легенда? История повторяется, если она есть легенда, но я так думаю, что другой истории нет.

— Если бы тебя слышал Калнин, он поставил бы в комитете вопрос: как быть с Зайделем, который совсем не марксист, и вместо Маркса и Ленина говорит: библия?

— Я бы доказал ему, как тебе: история повторяется. Ее пишут разными словами, но она есть — одна. Моисей вывел евреев из рабства египетского; Ленин тоже вывел нас из рабства... И тогда был террор, и мы теперь...

— Да брось же, Зайдель! Что еще за поповщина: Ленин и вдруг... Моисей!

— Моисей! — упрямо повторил Зайдель. — И ничего не поповщина. Он был вождь, это Аарон был священником, и потому не мог — даже в легенде так, ты понимаешь, даже в легенде — разговаривать с богом и лежал в страхе, когда Моисей всходил на Синай, и гора вся дымилась... и земля тряслась, когда он нес народу скрижали завета... С Лениным не так, ты скажешь? Он вождь, как и тот. И оба повели исходом свой народ в землю обетованную.

— Не понимаю, что общего!

— Мне трудно с тобой говорить, потому что ты ничего не читал пристально, и учился на митингах. Ты из митингового поколения, Шурик, у которого нет учебы. А меня учили в еврейской старой школе, учили по древне-еврейскому, а такая учеба — она самая крепкая, потому что все древнее крепко: она остается на всю жизнь.

Он выпрямился и заговорил нараспев, покачивая головой и плечами:

— «Если будет вред — отдай душу за душу, око за око, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, ушиб за ушиб». Так говорит книга Моисеева. Разве это не наше?

— Ты раввин, Зайдель! — с восхищением сказал Шурик. — Почитай еще, это очень забавно.

— Пройдут годы, и ты уже не будешь говорить себе, что это очень забавно, — пробормотал Зайдель, темнея. — Пройдут годы, и ты и еще многие, очень многие, которые сейчас выпя-

чивают грудь и говорят на митингах «Вперед, вперед»! — как говорили евреи в первые дни Исхода: тогда тоже были праздники и митинги... О, ты и многие, — я говорю, — будете плакаться Ленину, как плакались Моисею евреи: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта?»

— Не болтай вздора! — вспыхнул Шурик. — Ну, и пусть даже по-твоему: вывел. Ты не веришь, что мы дойдем?

— Путь долог. — Голос Зайделя звучал уныло и жестко. — Евреи странствовали в пустыне сорок лет. Оттого я и говорю о терроре, — не для тех только, амалекитян и иных, которых истреблял Моисей до последнего корня, но и для своих: Моисей вел тоже террором. А ведь у них, у евреев, была манна небесная и огненный столб, который освещал им ночью дорогу, а днем закрывал от палящего солнца. А у нас — только голод, и пожары, и тиф, потому что вши, и нам нечем стрелять, а итти нам надо не сорок лет, а больше, гораздо больше, потому что путь очень далек.

— Если ты в самом деле думаешь так, — тихо сказал Шурик и посмотрел на Зайделя очень внимательно, точно видел его в первый раз, — ты не имеешь права итти с нами.

— Где бы я остался? — показал зубы, недоброй усмешкою, Зайдель. — Если народ пошел?.. Народ вышел из Египта: где мне было остаться? И потом, я знаю: верным было слово Моисея, тоже записанное в древнем писании: «Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите веки».

— Так нельзя, — твердо повторил Шурик. — Партия — это те, кто верит в победу. И кто знает, что делает правду. Не с чьих-либо слов, а сам. А так, как ты говоришь, так нельзя, так нечестно.

— Нечестно? — Зайдель в упор посмотрел на Шурика, и глаза у него были упрямые и холодные. — Разве я плохо работаю, скажи? И разве я не умру, как ты или другой, когда придет время? Что значит «верить»? И если брать, как ты говоришь, что будет? Горсть. А надо миллионы. Но миллионы будут, как евреи Моисея: они будут уставать, и они уже устали, потому что человек не может долго ждать обетованной земли. И когда Моисей отойдет от них, хотя бы на небольшой час, — в часе шестьдесят минут только, а что такое минута! — они сейчас же сделают себе золотого тельца и будут плясать кругом него — ты еще увидишь! Вот почему я говорю: надо

террор. Для них. Не для меня. Потому что я прошел старую еврейскую школу, и то, что я делаю, я делаю хорошо и крепко, и на меня можно положиться больше, чем на тебя, если ты хочешь знать, хотя ты и сказал мне только что слово, как высокий низкому. То, что ты сказал, стоит немного, потому что это романтика, а в книге Исхода говорится: «Ворожеи не оставляй в живых». Это, что б ты знал, о романтике.

— Э, вздор какой! — беспечно сказал Шурик. — Романтик ты, а не я.

— Ты! — упрямо сказал Зайдель. — Потому что ты горишь и потухаешь, и снова горишь, и сегодня не знаешь, каков ты будешь завтра.

— Ты говоришь обо мне, точно я ветка какая-то... точно у меня себя нет... И точно я загораюсь от того, что меня бросили в костер, и я горю, пока костер горит, а если он погаснет, так и от меня пойдет только чад.

— Может быть, и так точно, — кивнул Зайдель. — Когда не было революции, — ты делал революцию, что?

— Я был же совсем мальчик. И я рос один, ты знаешь... Нельзя было с другими, когда папа... — Шурик сдвинул брови: ему стало неприятно.

Зайдель покачал головой.

— Если у человека было так, что когда ему пришла первая мысль — это была не мысль: революция, — он никогда не будет настоящим.

— Значит, я, по-твоему, не настоящий? — Шурик встал. — Я сделал что-нибудь плохое? Скажи!

— Я не говорю, что ты сделал. Я говорю только...

— Отец идет! — быстро сказал Шурик. — Его походка: так никто, кроме него, не ходит. Правда? Давай чайник! Вон там, на подоконнике. Я пойду.

Ананьин открыл дверь широким распахом. Шурик, улыбаясь, спрятал чайник за спину.

— Заспались, ребятки? Где чай! Ну, быстро, Шурик! я пить хочу. Во второй этаж: в нашем, я заглянул, как шел мимо, куб холодный.

Шурик вышел. Ананьин сбросил папаху и отвернул рукава френча.

— С Шуриком покончили ваши дела? Достаньте-ка, там, в шкафике, стаканы и прочее. Еще варенья там должна быть баночка. Есть? Я руки пока вымою.

Зайдель загремел посудой. Данила смотрел, вытирая крепкие, волосатые руки.

— Что ж, время-то подошло, Зайдель! Вы уже взяли в бюро паспорт и явки?

Зайдель сел и потер колени.

— Разве уже... так плохо?

— Что значит — плохо? — недоуменно и строго спросил Данила. — Разве о революции можно когда-нибудь сказать: плохо? Это все равно, что сказать так о жизни.

— О жизни и говорят, — глухо сказал Зайдель.

— Кто? Только те, кто не живет. Это обывательское слово. О жизни, Зайдель, у революционера таких слов — в обиходе — быть не должно.

Шурик плеснул на пороге кипятком из чайника.

— Так и знал: всю дорогу — удачно, а вот в последний... Со мной всегда так!

— Лучше в последний, чем сразу, — рассмеялся Данила. — Ну, мальчик, я тебя сегодня вот зачем вызвал. Эвакуации нет еще и неизвестно пока, когда будет, но будет она наверное. В последний момент, когда власть уходит, переходить на подполье негоже: квартирным хозяевам и всяким соседям может показаться подозрительным: почему приехал, или еще переехал, как раз когда большевики уезжают? С завтрашнего дня пожалуйста на новую квартиру. На нелегальное.

Шурик сжал руки. Данила достал из кармана пакет.

— Вот. Разберись и выучи на зубок: тут новый твой паспорт, метрика и еще разные свидетельства: о службе, университетское, о воинской повинности и так далее. Выучи так, чтобы, если спросят, автоматически отвечать: чтобы к тебе это приросло, — понял? Это адрес квартиры: снимал Воронин, центросоюзный, — помнишь? — черный такой. Он объяснил там хозяевам, что придет агент из Кролевца.

— Из Кролевца? Почему же из Кролевца?

— Кролевец далеко, и едва ли добровольцы до него доберутся: во всяком случае, очень нескоро. Понял? На случай проверки о месте прежнего жительства. Между Киевом и Кролевцом будет фронт. — Данила стукнул по столу ребром ладони. — Так надежнее. Ты же — центросоюзный младший развездной агент. Там есть свидетельство. Оно одно настоящее, все остальное — липа.

— Разъездной агент? — глаза у Шурика горели. — Что же я делал и буду делать?

— Ты агент по закупке варенья и повидла: это как раз отдел Воронина, понял? Учись, какая бывает от «сочувствующих» польза. В Центросоюз тебе ходить не придется... часто, по крайней мере. Зайдешь получить путевку куда-нибудь, так, недели на две, и, по истечении срока, зайдешь обменять. Куда ехать — будешь сам говорить, если нам придется тебя посылать по подпольным делам. Если дел таких разъездных от партии не будет, пусть пишет куда угодно.

— Пусть будут, папа! — просительно сказал Шурик. — До сих пор я всегда... И сейчас мне хочется... чтобы там, где опасно.

Ананьин сдвинул опять, как в цирке, досадливую морщинку на лбу.

— Что значит: «хочется, чтобы там, где опасно»? Это мальчишество, Шурик, и такие мысли раз навсегда надо оставить. Ты же не маленький, в конце концов, и работать сейчас будешь на подполье. Когда ты в пути, — на море, скажем, хотя бы, — разве ты так будешь плыть, чтобы всегда туда, где сильнее волна? Или — на сухом пути — будешь выбирать дорогу обязательно по таким местам, где легче всего сломать себе шею? Куда ты таким способом можешь притти? Это будет не жизнь, а мотня. Так могут жить только такие люди, у которых никакого смысла, никакой цели в жизни нет: авантюристы. Но такие люди всегда вне революции.

— Но я сейчас о революции, о цели, как раз и думал, папа! И о твоей жизни. Ты — настоящий, а какая твоя жизнь? Она вся в такой «мотне», как ты говоришь: и баррикады, и стачки, и каторга, побеги и тюрьмы... Можно бы целый роман написать.

— Этого бы еще не хватало! А что до моей жизни — и до жизни всякого революционера — мы плыли и сейчас плывем против течения, и волна бьет поэтому пеною, верно. Но ведь это потому, что мы правильно держим курс, а не потому, что мы стараемся попасть в водоворот, ищем, где поопаснее: тут огромная разница, тут о двух совершенно разных жизнях речь. Понял?

— Понял! — сказал Шурик. Но отвел глаза, потому что сказал он, в сущности, неправду. В мыслях об опасности он остался при своем. И подумал даже, — в первый раз, пожа-

луй, за всю жизнь, — что отцы — даже самые хорошие и настоящие — никогда не понимают, что от них до детей — время, которое можно покрыть словом, как покрывают расстояние даже до самых далеких звезд, но на деле оно всегда есть, и его никак не покроешь. Мысль эта была пуганная, может быть, потому, что Шурику неловко было ее додумывать до конца при отце. И ему сразу стало страшно легко, когда отец, наливая чай в граненый, с потрескавшимся краешком, стакан, сказал уже совсем деловым голосом, таким, как говорил он на партийных собраниях:

— А теперь я вам кое-какие инструкции дам, по конспиративной части. Подполье будет тяжелое, и ты имей в виду, Шурик: Воронин предупредил, — если с тобой что случится, он отречется начисто: скажет, что принял тебя по прошению и, кто ты такой, абсолютно не знает. Никаких поручительств от Центросоюза: выдадут головой. Так и должно быть, конечно: ведь Воронин только «сочувствующий». Надо будет очень беречься. Наука подполья — мудрая наука. В царское время охранка работала на первый сорт и нам выработала технику. Вот об этих технических правилах и будет вам напутствие на завтрашний переход: «Поучение Владимира Мономаха».

10

Николай Авксентьевич Непенин. Николай Авксентьевич Непенин. Надо затвердить наизусть.

Именем Шурик недоволен. В паспортном бюро партийном, где делают эти... липовые, все-таки — бюрократизм: отчего было его самого не спросить, как он хочет называться на подполье? Сам бы придумал — легче было бы запомнить, и имя было бы подходящее. А то — Николай. Ну, какой же он Николай? Совсем не к нему имя. И еще — это тоже надо будет сказать в комитете, потом, после подполья, для практики — никогда не надо ставить простых имен на фальшивках: Авксентьевич — это хорошо, это запоминается сразу; а Николай, или Иван, или Павел... это легко спутать на Михаила или Петра. Изволь запоминать: Николай, Николай, Николай Непенин. Н. Н... Непенин, Николай. Хорошо еще, что два Н.

И с годами тоже перемудрили: по паспорту — двадцать пять, на пять лет больше настоящего Шурика. По внешности — это бы еще ничего: по внешности он достаточно взрослый. Но

вот с разговорами: нет-нет, и выскочит вдруг такая, неподходящая мысль: как у пупса. Отец говорит, правда, что на подполье это быстро пройдет, он повзрослеет сразу, в годы Непенина: в подполье такая жизнь. И еще: что меньше проставить было неудобно: во-первых, в двадцать лет — какой разъездной агент? Совсем не солидно для Центросоюза. А во-вторых, с воинской повинностью. Ежели двадцать — добровольцы мобилизуют обязательно, никакой Центросоюз не спасет (тем более, что он спасать и не собирается), а так — в том же паспортном — приготовили по всей форме свидетельство об освобождении от воинской повинности, как единственного сына у матери-вдовы. С воинскими печатями и прочим: явился в срок к призыву и освобожден. И даже второе свидетельство — о явке на проверочный сбор. Добровольцы держатся старых царских законов: такие бумажки для них документ. И в смысле конспирации тоже: для них, военных, удостоверение воинского присутствия убедительнее всякого паспорта. А сделано удостоверение на совесть: со всеми писарскими завитками и клеймами: красота. Никто не усомнится, нисколько, что предъявитель сего есть действительно Непенин, Николай Авксентьевич, Николай Авксентьевич Непенин.

Шурик переоделся у Владека: у Владека на квартире два хода: можно, как Иванушке-Дурачку в сказке (Кира-пупс сейчас читает и Шурику подробно рассказывал), влезть в одно ушко Коньку-Горбунку уродом в дерюге, в опорках, вылезть в другое красавцем в сафьянных сапожках, в парчевом кафтане. Сейчас, применительно к буржуазному строю, в который надо влезть Шурику из блузы, из кепки, высоких сапог, вместо парчевого кафтана — пиджак: серенький, в полоску; вместо сафьянных красных сапожков — острые носы вверх! — шнурованные желтые ботинки. Все равно: смешно.

Белый воротничок — крахмальный, высокий, стоячий — жмет с непривычки отчаянно шею: неудобно, хомут. Владек смеется. Но без воротничка, с мягкой рубашкой никак нельзя, правда? Агент — коммерческий человек, мелкая буржуазия: для мелкой буржуазии совершенно обязательно: воротничок и галстучек.

Шурик хотел пенснэ еще, но отец не позволил: с простыми стеклами нарезать очень легко, если возьмут. Придет кому-нибудь в голову: наденет себе на нос, для проверки, — сразу будет ясно: носил для конспирации. И брови отец не позволил снять: говорит тоже — незачем. А брови у Шурика дугой, очень за-

метные: совсем как у матери, а мать всегда, всюду можно узнать по бровям: таких ни у кого нет. Мама. Вспомнился Ворзель: но Шурик сейчас же — к сегодняшнему. Вчерашнее — это Ананьина Шурика, не его. Сегодня он уже Николай Авксентьевич Непенин, агент.

Владек спрашивает:

— Как ты будешь с хозяйкой здороваться, когда придешь? К ручке?

Шурик не знает: в шутку Владек так говорит, или нет.

— А разве в самом деле надо? Ерунда. Я — служащий. Это дворяне — к ручке.

— Вот и срезался! Ты, по паспорту, кто? Потомственный дворянин...

— В самом деле. Вот, начинается! Еще шагу не ступил, а уж сбился.

Багаж у Шурика маленький: немного белья, сапоги для поездок, пальто, подушки. Комитет на снаряжение строг: только самое необходимое. Надо будет сказать, что главный багаж товарным идет из этого самого... Кролевца, а сам он пока только с ручным. Товарным — когда еще может дойти, дойти не успеет, пропадет в дороге: фронт. Все это мелочи, но о каждой мелочи надо очень подумать: подполье.

Вещи, в конце концов, неважно, а вот книги: на подполье будет время читать. Но читать своих, нужных, нельзя: вдруг обыск! Найдут какую-нибудь политэкономию: гроб. Надо нейтральное или, еще лучше, очень буржуазное что-нибудь. Из комитета достать удалось только библию — толстенную, с золотым крестом на растертой кожаной крышке: из реквизированных. Будет читать, прочтет всю до самого конца и будет потом дразнить Зайделя. И еще Коцюбинского «Твори»: это Мара дала, приятельница Зайделя, боротьбистка: она тоже идет на подполье, через нее будет у них с боротьбистами связь. Коцюбинский и библия: мало.

— Это чья полка книжная, Владек? Нет ли там каких-нибудь графов Толстых или вообще — из потомственных.

Полка ссталась от прежних хозяев.

— Рой, Владек!

— «Психология» Джемса. Это ученое что-то, пса не понять. Хочешь, Шурик, для форсу?

— Ни хны! Ставь на место. Вон ту, в голубом переплете. Зудерман? Пьесы какие-то.

Владек раскрыл, посередке.

— «Бой бабочек». Действие первое. У фрау Хергентхайм. Чорт, вот кличка! Твою хозяйку как зовут, Шурик? Эта — вдова податного инспектора.

— Моя тоже вдова, только важная какая-то: и дом у них, Воронин говорит, был, до советской власти, свой.

— Тут разъездной агент действует, честное слово! коммивояжер! Рихард Кесслер какой-то. Бери, Шурик! Это как раз для тебя. У них, наверно, жаргон и особые повадки какие-нибудь. Тебе полезно будет.

— Агент? В самом деле...

Кесслер (развязно). — Я не мог себе отказать в удовольствии справиться еще раз перед моим отъездом на юг о здоровье моих милых хозяев, хотя я и рисковал...

Владек громко рассмеялся.

— Это как раз для тебя, Николай Авксентьевич! Когда ты будешь уезжать на юг: в Екатеринослав, например. Там будет работа — город рабочий, наших много — поедешь для связи. И перед этим войдешь в... как это у них называется? — в гостиную, да? Руку к сердцу... жаль, тут не написано, как надо руку держать, и так вот: «Я не могу себе отказать»...

Шурик с чемоданчиком, — подушка и одеяло в ремнях, — вышел с парадного, потому что вошел с черного хода. Как в сказке: в одно ушко влез, вылез в другое. Владек — за ним, с черного: проверить, нет ли за Шуриком слежки. Слежки, конечно, никакой быть не может пока, — откуда она возьмется? — но для практики это хорошо. И, притом, чрезвычайно важно сразу же поставить себя на боевое положение. Владек шел поэтому шагах в тридцати позади Шурика и осматривался: не идет ли за Шуриком подозрительный.

Шурик заволновался, как только вышел: почему-то стало очень неприятно, что они так легкомысленно разговаривали сейчас с Владеком. Ведь, в сущности, это очень серьезно и очень тяжело, — подполье. Отец был бы, наверное, недоволен. Владеку — двадцать два, ему — двадцать, а мальчишничали

оба: воротничок, галстучек, Зудерман. Когда идешь на дело, разве можно так?

Итти переодетым по знакомым улицам, с чемоданчиком (Непенин из Кролевца) было дико. Еще час какой-нибудь назад он шел здесь еще самим собою. Если бы город переменился — дело другое, но город прежний, советский. Фронты еще держатся, и Владек только что передавал, что подошли войска из РСФСР, и если б не банды, — пожалуй, теперь же отбили бы белых. Отец попрежнему в штабе, в учреждениях работа по-прежнему... Вот ерунда получится, ежели да через несколько дней опять придется выходить на надполье. Нет, только не это!

Шурик досадливо отогнал глупую эту мысль. Но настроение совсем испортилось. Он пошел быстрее. Дом номер тридцать второй по Пушкинской, на углу Бибиковского бульвара. Первый этаж, спросить Можельскую. Фамилия странная: тоже как будто липовая, придуманная в партийном паспортном бюро. Непенин и Можельская: комедия форменная.

Дом оказался очень большой, казенного вида, шоколадного цвета, многоэтажный; крытый подъезд, горбатый навес, на чугунных фигурных столбах. Шурик составил вещи свои на ступеньку и позвонил. А может быть, нет? Кнопка глубоко завалилась в медную, прогнутую, закоробившуюся (медь, значит, тоже может коробиться) доску. Дверь долго не открывали, хотя Шурик еще и еще раз старательно нажимал краешек кнопки.

Владек не стерпел, подошел. Улица, впрочем, вся как есть пустая, только через перекресток по Бибиковскому, вниз к Крещатику, торопятся люди с портфелями: город — обыкновенный, советский, вчера, как сегодня. Владек подошел, однако, на случай, как незнакомый: дотронулся рукой до шляпы и спросил прикурить. Но когда Шурик полез в карман за спичками (спички он всегда носил при себе — по походной привычке), Владек больно щипнул его за руку и шепнул скороговоркою:

— Здесь раньше гимназия была: частная, Можельского. И дом его же, собственный. Он пустой теперь: Можельского давно в концентралку отправили, гимназии нет. Неужели тебе у старухи комнату сняли? Вот это, я тебе скажу, будет здорово!

Шурик чиркнул спичку.

— Почему?

Но из ворот, рядом с подъездом, вышел мужчина и оглядел Шурака тем самым, особенным, взглядом, по которому сразу можно сказать: дворник. Шурик вспомнил поучение Владимира Мономаха и ощупал в боковом кармане бумажник.

— Добрый день!

Дворник оттопырил небритую губу и спросил сурово:

— Вам кого, собственно, гражданин?

— Госпожу Можельскую, — с ударением сказал Шурик и пошевелил ногой чемоданчик. Владек уже отошел, посвистывая. — Почему не отворяют? Я три раза звонил.

Дворник ухмыльнулся. Пренебрежительно: безусловно это — антисоветский элемент.

— Рази по нынешнему времени звонок где звонит? Вы что ж, постоялец будете? Приезжий который?

— Вот, вот! — закивал Шурик. — Будьте добры, внесите вещи. Вы знаете, куда?

Он вытащил бумажник. Из бумажника — кредитку. Дворник с готовностью, но неторопливо забрал чемоданчик и ремни.

— Заходите во двор. Справа, в самый конец, черный ход: этим ходом и ходют. Тут, с парадного, и дверь чижолая, и итти дальше, всюю квартирою скрозь. А звонок не звонит.

Двор большой и пустой, с палисадником посередине. В глубине и с левой руки — флигеля. Дверь по правой стороне была только одна. Дворник обогнал Шурика на ходу, постучал чемоданчиком. Открыла дебелая, с подоткнутым, как надлежит кухонной бабе, подолом, черноглазая и черноволосая женщина. Она оглядела Шурика внимательно и плотно, приняла от дворника вещи, стукнула тем же порядком, как и дворник, чемоданчиком в следующую дверь и крикнула украинским говором:

— Барыня, к вам!..

11

Хозяйка понравилась Шурику сразу. Она была седая, очень благообразная, сухенькая, с морщинками, скорбно опущенными от края губ вниз, к крутому и ласковому подбородку. Черное платье, черная кружевная наколка на волнистых и больших, расчесанных очень старательно волосах. Совсем как в романах, или в театре: в жизни Шурик таких еще никогда не видал. Он наклонил стриженую голову и, на всякий случай, поцеловал руку,

не очень ловко: может быть, потому, что старушка, видимо, никак не ожидала такого с его стороны поступка и руку держала неудобно для поцелуя; но все-таки он поцеловал и от этого непривычного — губы к женской чужой руке: 1917, 1918, 1919 — разве комсомольцы целуют руки женщинам! — как-то странно растрогался. А может быть, от нее передалось: у нее тоже губы дрогнули совсем неожиданно, когда он поцеловал: 1917, 1918, 1919, — разве старым женщинам кто-нибудь не свой целовал руки в эти годы?

Хозяйка повела Шурика по коридору; и коридор, широкий, застланный тканной пестрой дорожкой, и приткнутый здесь к стене большой ковровый, с широкими просиднями диван, и какие-то кувшины и лейки в углу, показались Шурику, — все от того же, старушечьего, наверно, — милыми и знакомыми: точно он этот самый диван тузил ногами, когда ему было пять лет, и мать, — не эта, эта тоже мать, должно быть, потому и уютно, — нет, своя, настоящая, кричала ему: «Шурик!» — Нет, что он!.. «Коля»!.. фу, как нехорошо!.. Ника, Никки, — как лучше?.. «не смей!»

Из коридора — столовая: белая скатерть, расписные тарелочки, самовар, две девушки за столом. Об этом Владек сказал: «Вот это было бы здорово!» Наверное, об этом.

Старушка, две девушки: совсем как в «Евгении Онегине»:

— Mesdames, я на себя взял смелость...

Одна — черноволосая, другая — белокурая: как в «Евгении Онегине», в опере: там именно так: он видел: одна — черноволосая, другая — белокурая. От взволнованности и смущения, должно быть, обе они показались Шурику ужасно красивыми и ужасно ненастоящими. Опять! Совсем так, как в опере бывают примадонны.

Девушки подняли глаза на Шурика, когда он вошел, и хозяйка торопливо представила:

— Monsieur...

Тут она запнулась... как дальше? Но Шурик договорил очень солидно и уверенно:

— Непенин.

Черноволосую хозяйка слегка погладила по плечу: дочь, Лика. Белокурую просто назвала: Алина. И сейчас же вздохнула. Эта, наверно, не дочь. На дочерей так не смотрят, и у дочерей не бывает при матери таких пустых глаз. Только это и заме-

тил Шурик. Глаза пустые, совсем, совсем не интересные. И вся — бледная. Лицо какими-то тенями. Чахотка?

За столовой — угловая, обставленная диванами. Из нее дверь в комнату Шурика. Комната оказалась огромная. В четыре окна. Бывший зал, очевидно. Но почему-то камин. Тоже огромный, под самый почти потолок. Громоздкий, нелепый, звериными мордами распятившийся в стороны. Узенькая кровать за матерчатой ширмой. Стол один, круглый, стол другой, письменный, диван по стене, прямо против жерла камина — тоже огромный, низкий, крытый кожей; умывальник в углу, таз и кувшин: все. Комната кажется пустой: вещи затерялись в пространстве. Шурику даже совестно за маленький свой чемодан: кажется, если поставить, потом придется искать, как песчинку.

Умыться с дороги. И, милости просим, к чаю. На новоселье...

Хозяйка говорила поиветливо, но Шурика точно толкнуло что-то: отказаться. Сейчас же, и круто. Он поблагодарил: чай пить он не будет — надо прибраться, устроиться, кое-что написать. Она не стала настаивать, вышла и притворила дверь. Без шума, совсем незаметно. И как только она вышла, Шурику стало досадно, что он отказался: в столовой светло и уютно, белая скатерть, самовар, масло ровными шариками в хрустальной масленке (это он почему-то заметил) и девичьи лица. А здесь — казаома. Точно... камера. «Одиночки», наверное, такие бывают. Это ничего, что она — большая. Пойти?

Он сел на диван. чемоданчик у ног, подумал еще раз. Нет. Сегодня не надо. Сегодня он еще Шурик. И будет Шуриком, пока не придут добровольцы. Придут — настанет подполье, Шурик сожмется, уйдет под маску, под второе лицо; станет Непенин. Непенин — это совсем другое лицо, не Шурик. Непенин — агент по закупке повидла, он деклассированный, бывший потомственный дворянин. С хозяйкой, с дворником, с девушками он будет совсем по-другому держаться. Другой разговор. Другой взгляд. Они и сейчас для него, как на сцене. На сцену нельзя взойти постороннему без костюма и грима. И к себе нельзя — свести со сцены актрису или актера, как они есть: будет неловко и нехорошо. Пока не придут добровольцы, не надо ни с кем из этих общаться.

На таком утверждении, твердом, совсем успокоился Шурик. Сбросил пиджак и снял воротник, расцарапав палец под ногтем непривычно запонкой.

В дверь постучали: та, кухонная. Вошла, принесла воды в умывальник, показала, как ставни на окнах спускать. Ставни действительно очень мудреные. Как шторы на американских бюро, но из тонких, железных гремучих полосок. Женщина объяснила: первый этаж, в прежнее время надо было беречься: взрежут ночью стекло и обкрадут, а за железною шторкой — спокой; и темень в зале от них, ежели опустить, хотя бы и в самый полдень.

Она говорила певуче, хохлушечьей скороговоркой, улыбаясь торопливо и зазывно, и кофта была расстегнута глубоко — наверно, нарочно, потому что, когда она, несмотря на возражения Шурика, наклонилась ему к ногам (обязательно пыль обтереть с желтых, шнурованных ботинок), — он увидел в распахнутую прорезь, далеко и низко обнаженную, — нарочно, наверно, так! — полную и тяжелую грудь. И это опять было волнующе и непривычно. Но Шурик тотчас же вспомнил что это — не к нему, а к Непенину, а он не Непенин еще, Шурик, комсомолец Ананьин, которому самая мысль... такая... пакостна и противна. Он отодвинулся строго и сказал официально и сухо, что завтра его надо будить в восемь тридцать, и к этому времени дворник может зайти взять его документ для отметки.

12

День, день, день. Трамваи били попрежнему звонками на перекрестках. Попрежнему на Бессарабке и на Еврейском базаре брали, хотя и с недобрый словом, советские — Пятаковские — деньги, и вереницы людей с портфелями тянулись попрежнему каждое утро примолкшими улицами. Попрежнему через Васильковскую, на углу, у тесной площади, с гипсовыми бюстами вождей на деревянных высоких, как нефтяные вышки, постаментах, тянулась по красному кумачу белая надпись: «Мир хижинам — война дворцам».

Фронт держался. Учреждения работали, хотя уже розданы были пособия всем остающимся — на случай эвакуации (двухмесячный полный оклад и, кроме того, на детей, для семейных) — и подъемные, тем, кто уйдет с своим учреждением в Гомель. Но работа еще продолжалась. Шли конференции и митинги. Раза два Шурик видел отца во всегдашней его папаше, во френче, на торопливом, грязью зашварканном, автомобиле. На нелегальное Данила не торопился переходить: правда, он Шу-

рику сказал, тогда еще, вечером, что квартира для него у своих, очень надежная, можно притти хоть в самый день эвакуации — осложнений не будет. А по книгам проверить, когда он прибыл, нельзя, потому что, распоряжением власти, все домовые книги собраны были в милицию, по районам, и все уничтожены, начисто: разбирайся, кто где жил, у кого и кто с каких пор живет в той или другой квартире: можно установить только по свидетельским показаниям.

День, и еще день, и еще много. Шурик томился. Каждое утро ему приходилось уходить из дому с раннего часа, чтобы казалось, что он уходит на службу, что он действительно в Центросоюзе ведет коммерцию, получает инструкции, выполняет какие-то там поручения: ордер, накладная, вексель, учет, какие еще есть такие слова, конторские? — и не отправляется в отъезд только потому, что фронты и банды обратили Киев в остров среди взбаламученного, ураганного моря. Подпольщики, перешедшие на нелегальное вместе с Шуриком, уже обжили явки. Они сходились в назначенные часы, условленной чередой и порядком: в Царском саду, на Рейтарской, на Тургеневской. На Демиевке, в типографии, законспирированной, отпечатали для пробы листовку, разнесли, разбросали по районам. Владек и Володя направились, — тоже для репетиции, так сказать, — в объезд по уезду. Но это все маневры — не настоящее дело, и ожидание того, настоящего, неизбежного, — томило.

«Дома» Шурик старался как можно меньше бывать. И когда, на проходе, ему доводилось встречать какую-либо из «барышень», он, поклонившись, сейчас же отводил глаза, как от завтрашнего. Вот, когда оно придет...

Оно пришло 29 августа, в пятницу. Под вечер — он сидел у себя и читал Коцюбинского — кто-то мимоходом, летуче, стукнул в окно. Он вышел сейчас же парадным. Владек шел, дымя папироской, руки в карманах, неторопливо к бульвару. Шурик — за ним. Сели на первую пустую скамейку. Сначала один, потом другой. Владек бросил папиросу в песок, блеснул улыбкой из-под закраины низко опущенной шляпы.

— Эвакуация.

— Нет! — У Шурика сжало радостно и волнительно сердце. Пришло... Нет! Да... В соборе, против бульвара, медленно и гулко, заупокойно, зловеще ударил колокол. И сей-

час же отозвался другой, на Софийской... и пошла, глухим перезвоном, по-над улицами — белая перекличка.

— Пароходы грузятся на Гомель. Я только что был в Царском саду. С обрыва видно. Я встретил одного из штабных. Он говорит: проморгали полтавскую группу денкинцев. Она подошла уже почти что к самому городу: дивизия Бредова. А с другой стороны — галичане: то же в упор. Взяли, стало быть, в два огня. И так неожиданно. Наших войск уже нет: отходят походным порядком.

— И штаб?

— Ну, само собою разумеется.

— А отец? Не спросил про отца, у штабного?

— Он меня спросил, а не я: где товарищ Ананьин? Говорит, его уже два дня не было в штабе.

— Значит, он узнал раньше штабных, — улыбнулся Шурик, гордясь за отца. Отец ведь совершенно удивительный: он всегда все знает первый. Завтра же надо будет его повидать на явке ЦК.

— Слышишь, стреляют. Успеют ли пароходы уйти?

Шурик прислушался к далекому орудийному гулу.

— Нет, это где-то далеко еще. Очень далеко. Точно гроза. Если бы было близко — видны бы были разрывы. Ты что, давно пушки не слышал? Забыл?

— Забыл, — засмеялся Владек, совсем не конспиративно. — Пулеметы помню. А эти-то! Вот раззвонились!.. Воронье!

И вправду колокола били над городом, упорно и тягуче, благовестом откликаясь на далекие, выкликавшие соборы навстречу, взрывы гранат.

В кухне Параска, блестя глазами и зубами, остановила Шурика:

— Це ж, паньчу, ущухла стрілянина. На майдані прислухав: батько Петлюра иде до міста.

Шурик покачал головой, раздумывая, но ответил верно, уже по-Непененски:

— Ні, цього не може бути, це провокація.

В ночь затаился Киев. На улицах движения не было. Но почти до самого рассвета глухо бухали пушки отрывистым, влаивающим кашлем, и из-за железных опущенных створок, всю ночь не спавший, ждавший чего-то Шурик слышал насто-

роженным слухом, как окликали в жуткой и гулкой тишине друг друга прохожие:

- Куреневка горит.
- На Печерске арсенал подожгли.
- Радянски засуждені на страту.

13

Шурик еле дождался утра. Он вышел совсем спозаранку: хозяйки еще не выходили из спален, и Параска на кухне еще только наливала начищенный к празднику (Сретенье!) пузатый и большой самовар. На улицах былолюдно — той бестолковой людностью, какая бывает в муравейнике, когда ткнет в него палкою, мимоходом, бродячий, случайный человек: и человека уже нет, — прошел — и опасности нет, и нет палки, только слух о ней, неслышный, муравьиный, а все мечутся — взад, вперед, взад, вперед, — точно время остановилось, задевалось куда-то... вот тут, между сучками и хвоей, и надо его разыскать — пустить опять ходом, чтобы снова стало возможно тащить вереницею, как чиновники — портфели, как бабы — молоко на Демиевку, сучки и хвоинки, и доить тлей, и делать всякое, разное, муравьиное дело.

Так и здесь. Взад, вперед. В поисках времени. В городе нет власти — это ясно. Безвластие — безвременье. Нельзя без времени: нет места вещам и людям. Но зачем же обязательно всем надо итти на Крещатик? Потому что — главная улица? Взор какой: точно главное когда-нибудь решается на главных. Но Шурик, подумав, тоже пошел на Крещатик.

Портфелей нет, кепок нет, нет кожаных курток, френчей, нет наганов на поясе. Смена. Но кухарки идут, выпячивая животы из-под поддетых высоко к грудям пестрых передников: корзинка — не портфель. Смена — не смена, базар торгует. И трамваи идут, неистовым боем звонков отпугивая от рельс собак и прохожих: по улице люди стали ходить без направления.

В здание Думы, в огромный подъезд, торопясь и припрыгивая, точно на булыжнике — лужи, точно на ступенях — барьер, шли какие-то люди: откуда взялись? Шурик таких не видал раньше; тоже — со сцены, как те, что на Пушкинской. Да, да же! ведь Шурика нет, теперь другое: Непенин.

Шурик прошел мимо Думы, прошел Николаевскую. Надо в Центросоюз к Воронину, там все можно узнать достоверно:

и, может быть, для конспирации, на самое первое время он даст какое-нибудь поручение: павидло, варенье... что у него еще есть в отделе?.. Людей было больше и больше. От ощущения муравьиной толпы, шнырявшей с боков, Шурик чувствовал себя брошенным и одиноким. Он прибавил шагу. Хотелось поговорить хоть с Ворониным. Услышать свой голос. Когда человек один, оттого только, может быть, жутко, что нельзя сказать, если хочется: некому.

— Смотри... большевик! Честное слово!

Шурик вздрогнул и обернулся на голос, забыв всякие правила. Но вскричавший стоял спиной к нему, и другие все, окрест, тоже обернулись назад и смотрели, широко и пугливо распятившись... От остановки трамвая (вагон стоял и не двигался, словно и он, на рельсах, застыл) через улицу, наискось к тротуару, в крагах и френче, перетянутаю поясом, на поясе — маузер... в папаше... Отец!

Шурик застыл. Почудилось? Нет. Быть не может! Откуда? Ведь уехали. Штаб, Реввоенсовет, все: подполье! А он — в папаше, во френче... не подпольный, советский: большевик, как всегда, во весь рост!

Он шел через улицу ровным, неторопливым, но — Шурик знает отца. Шурик чувствует, видит — напряженным, подобранным шагом... Шевельнись — бросится... Неужели не знал? А эти кругом... муравьи... на дыбках...

— Что он, о двух головах?..

Но голос приглушенный. Этот — не шевельнется. И этот вот, в котелке. Шурик продвинулся ближе, задев на панели обходом высокого и костлявого, с чеюной большой бородой. Высокий оскалился и сказал, оглянувшись на Шурика:

— Возьмем, что ли?

И скрючил костлявые пальцы. Коюком. Удавкой. Данила Ананьин уже подошел к тротуару. На той стороне прохожие тоже остановились все и все смотрят. У Шурика руки и ноги свинцовые, все тело — безвольное, слабое, точно отравленное. Что ни случись — он не двинется. И в мысли — одно: оружия нет. И нет никого, никого из своих. Вчера еще только — только руку поднять: — Товарищи!.. — а сегодня...

Высокий разжал свои пальцы и спрятал руку в каюман. Там, впереди, расступились, пропуская Данилу. Все стоят, все — сколько глазом схватить, — на всей улице идет только он. Один. Дальше, дальше, к углу Николаевской.

Опять чей-то голос сказал, укоризненно:

— Эх, вы... воители...

— Чего? — вскинулся черный. — С голой рукой? А у него, видал, на боку... пулемет. А глазищи, видал? Этот... введет! У меня, брат, голова, тоже... не купленная!

— И у него, чать, не куплена!

— Все одно. Срам!

Шурик тяжелой походкой, как старый, как параличный, пошел следом. Отец свернул налево, в улицу, за выступ стены. И как только он скрылся за домом, руки и ноги у Шурика стали опять упругими и послушными. Только на самом углу, когда надо было остановиться и посмотреть по Николаевской вверх, опять стало жутко и холодно, хотя по тому, что все стояли на месте, и никто не кричал, и никто не махнул рукой, — Шурик знал: нет, не взяли, нет, не бросались. Он идет.

На Николаевской было чисто: и здесь, как повсюду, все люди смелись на Крещатик. Тротуар был свободен, встречных прохожих не было — до самого «Континенталя». Только почти что в подъезде самой гостиницы, у дверей парикмахерской, в первом этаже, стояла кучка этих... цирюльников, в белых халатиках.

Шурик, как все остальные, с угла видел: шарахнулись, было, но тотчас же снова сжались в кучку и закивали. Еще бы! Ананьина знали, Ананьин — континентальский, наверное, стригся в этом магазине не раз.

Ананьин кивнул и вошел в подъезд. На углу, кругом, зашумели. Какими словами, — Шурик не разобрал. Что теперь? Надо же что-нибудь делать... Домой, достать маузер из-под паркета — маузер спрятан под полом, пятая паркетка от камина, если к дивану считать. Или на явку — собрать своих по тревоге, может быть, еще и поспеют? Но уйти страшно, когда каждую могут минуту... Ведь «Континенталь» сейчас: капкан. Захлопнул: не выйти.

— Пошли?

Люди кругом затоптали. На месте. Кто-то, благоразумный, окликнул:

— Смотри, попадешь под пулю! Оружия ни у кого. Уж ежели брать, так надо было на улице. А в комнате так легко ты его уже не возьмешь! Он уже там, поди, баррикаду. А ну-кося — сунься!

— Все равно не уйти, уж если отбил... от своих-то. Даром жизнь не отдаст.

— Этот — кусачий, по постати видно.

Парикмахеры, на тротуаре, прислушались и гуськом потянулись к подъезду гостиницы. Помялись, посмотрели сквозь стекла — на углу все притихли, следят — и сейчас же ушли торопливо к себе в циркульную.

— Взяли, что ли?

Ждут. И он, Шурик, ждет со всеми. Отец сейчас там, наверху. Лестницей, коридором — каждый шаг ощутим, непеременно. Комната — узкая, длинная, чугунная труба отопления, сквозь дыру в паркете, гдемышь... Дверь завалил комодом, столом и кроватью. На маленьком столике — запасные обоймы, маузер в руке... может быть, у него еще браунинг, наверное даже: у отца всегда бывало два револьвера, на случай: по дулу на руку: он одинаково бьет и с правой, и с левой руки. За запертой дверью — один. А он — здесь. Уже не Шурик: Непенин. Значит, нет сына.

В «Континенталь» не пропустят. Его-то задержат наверно. Опознают, хоть он и переодет. Тут же, совсем на пороге. Но Шурик припомнил, и сразу — остро и радостно: есть еще ход, с того фаса, с задней улицы, через двор, мимо прачешной... Там, наверно, нет никого, так никогда никого не бывает. Оттуда пробраться к отцу и — дальше не думать.

Он злобно, уже не скрываясь, толкнул локтем ближайшего, ждавшего, в панаме и темных очках, и побежал знакомой дорогой к проулку, проулком — налево, опять налево за угол, к воротам двора. Только бы не были заперты!

14

Железные узорные створы были открыты. Но в воротах стоял, в белом фартуке, дворник, и рядом — старуха. Шурик перешел сейчас же на шаг, как только увидел у дома людей: с бега входить неудобно, совсем подозрительно. И вообще... как быть с дворником? Старуха не в счет: это само собою разумеется.

Но решать ничего не пришлось: дворник хлопнул старуху по горбатой спине всей пятерней, затряс бородою (должно быть, смеялся) и тронулся прочь от ворот, навстречу Шурику. Шурик низко нагнул голову (а вдруг да знакомый!) и пошел совсем тихо. Но они разминулись без осложнений. Старуха стояла в воротах, спиной к тротуару — пройти было очень

удобно. Но Шурик пройти не успел. Он был еще в десятке шагов, когда из ворот хромающей и быстрой походкой, опираясь на трость, в добротном синем пальто, в мягкой шляпе, вышел, горбясь плечами, высокий, в очках, человек. Шурик узнал бы из тысячи, если бы даже неделю назад не щупал рукою — это вот самое, добротное, заграничной кройки — пальто.

Старуха нырнула во двор. Шурик дал отойти отцу и пошел уверенно следом. Выше, выше, по Липкам, по пустым почти улицам. Данила шел быстрее и быстрее, он не хромал уже больше, шел другой уже, деловой и твердой походкой, небрежно вертя между пальцев тяжелую черную трость с белым резным набалдашником. Но горбил плечи попрежнему и попрежнему — не оглядывался.

Из улицы в улицу — вышли к Публичной библиотеке; через трамвайные рельсы — в парк. И здесь совсем пусто: далеко видно кругом — никого. Шурик бегом догнал отца. Теперь хотелось заплакать. И вовсе не было стыдно. Поцеловать и заплакать.

— Папа!

— Ну, чего ты, малек? .. Бывает и на старушку прорухка. Вот было попал в переделку!

— Неужели тебе не сказали, что эвакуация? ..

— Меня не было в городе. Я уходил в Ворзель, к матери. Когда уходил, — сводки были спокойные. И по дороге назад, от Пушей-Водицы... правда, в трамвае косились, очень заметно... но мне не могло притти в голову. И только совсем на Крещатике... вылез, смотрю: на Думе нет красного флага

— Нет флага? Вот! А я не заметил.

— Позор! Какой же ты будешь разведчик? Ну, раз так случилось... ход был один: попробовать переодеться, — платье в «Континентале» осталось, — и пробираться к себе на квартиру.

Шурик сжал руку отца.

— Я был почему-то уверен... То-есть, не то чтобы я умом сознавал... но чувство было такое все время, что ты пробьешься.

— Пробьешься? — засмеялся отец. — Обошлось не столь романтично: пробиться бы мне не пришлось, будь уверен... уж если бы началось... Устроилось проще, самым житейским порядком: уборщица вывела за триста царских рублей.

— За триста рублей? — протяжно сказал Шурик. Ему стало почему-то неприятно. — Как же так? Ведь все видели, что ты вошел. И даже называли. Я теперь помню: кругом меня говорили, когда я стоял на углу: «Комиссар Ананьин, комиссар Ананьин!» А один даже так сказал: «Вот это подарок!» Они же будут отвечать за то, что тебя выпустили.

— Выпустили? — поднял брови отец, и Шурик сейчас только заметил, что они срезаны, до корня почти, и что у отца нет бороды. — Завтра посмотришь в газетах — будешь доволен: романтики будет по горло. Будет, наверное, и перестрелка, и бомба, под прикрытием взрыва которой я перелез через стену, где ждал меня автомобиль — бронированный — или еще что-нибудь... бежал в женском платье... вылез по каминной трубе... В «Континентале» центральное отопление? Для газетчиков это отнюдь не существенно... Надо же им зарабатывать! А триста рублей — это ж не тема. Смотри-ка, как на Днепре... чисто: все до последней лодченки наши угнали.

В самом деле: от берега к берегу, от места до места — во всю ширину и во всю даль — одна, чешуйками дрожащая под ветром, серебристая и пустая рябь.

Помолчали. Потом Данила протянул руку сыну.

— Ну, я пошел. Надо окончательно себя в вид привести — в «Континентале» пришлось наскоро; никогда не оставляй дел недоделанных. Давай лапу! И молодцом, Шурик, да?

Опять назад, шумным и людным, суетливым Крещатиком. Трамвай упорно бьют звонками. Люди идут по улице, потеряв направление. Времени, очевидно, все еще нет.

Домой, на диван, головою, лицом в подушку. Легко и все-таки стыдно. В первый же день. Может быть, он, Шурик, в самом деле — не настоящий? Настоящий не потерялся бы. Владек, наверное, сразу бы понял, что делать. А у него... почему-то... руки и ноги... Раньше так не было. Может быть, потому, что не было раньше Непенина — был один Шурик?

Мысль не дошла до конца. Когда он бежал из Триполья, из бандитского плена Зеленого, плыл Днепром, нырял под пулями, и потом — отмелями и лесом, с Владеком, — за сутки он так не устал, как сегодня за два-три часа. Надо было просто: заснуть. Но сон не шел. Шурик прислушивался — к улице. Лечь раньше ночи? А если что-нибудь будет?

Шурик проспал до позднего часа. Было темно, потому что опущены ставни, а Параска правду сказала: когда опущены — темень, хотя бы и в полдень. По часам — одиннадцать. Дикость! Почему его не будили? Чей город?

Наспех помывшись, он вышел. В столовой, за самоваром, черноволосая Лика. Шурик поклонился с особой развязностью: сегодня он уже совершенно Непенин, нисколько не Шурик. Сегодня он агент, как тот, что у Зудермана: «Бой бабочек». Тот даже сажал девушек к себе на колени... В глазах и поклоне, должно быть, действительно получилось что-то коммивояжерское, потому что Лика взглянула недоуменно и, Шурику показалось даже, укоризненно. Он покраснел и остановился, хотел сказать Лике, чтобы она не думала так, и что он... Но сказать не пришлось, потому что, как только он покраснел, у нее глаза потеплели, губы заулыбались, и она сама, наверное, сказала бы что-нибудь очень хорошее, если бы дверь не открылась и не вошла вторая, Алина. В капотике...

Алина запахлаась зябко, до горла.

— Pardon, вы меня захватили врасплох. Я не одета.

Шурик извинился: он только хотел на кухню пройти, сказать Параске, чтоб чаю...

— Параска ушла на базар и пропала. Садитесь. Лика напойт вас: это ее специальность: Марфа...

Настолько Непенин евангелье знал. Он улыбнулся Алине.

— А вы, значит, Мария?

Глаза и губы сощурились: она глядела, словно расценивала. Лика вздохнула. Алина рассмеялась звонко.

— Не пугайся, Лика! Не буду. Садитесь же! Я пойду одеваться.

— Но я помешал: вы шли к столу... — Непенин опять улыбался. — Я был бы в отчаянии, если бы чем-нибудь затруднил...

— Нимало, — Алина подумала — Впрочем, вы правы: *à la guerre, comme à la guerre*. Можно отказаться от некоторых условностей, когда вас берут на щит... Киев взят на щит, не правда ли? А с ним вместе и мы.

— Кем? — спросил Шурик и отодвинул решительно стул от стола: для Непенина. Он взволновался опять. Не понять: от нее, от Алины, оттого, что у нее руки открыты, — тонкие и

хрупкие — по локоть, совсем как в романах, — и грудь чуть-чуть видна из разреза халатика? или — от неизвестности? Непенину все равно, но Шурику... — Кем же взят город?

— Кем? — Алина пожала плечами. — Я вас хотела спросить. Может быть, у вас... в учреждении знают.

— Нет. Благодарствую! — Шурик принял от Лики стакан. — Вчера ничего еще не было ясно, а сегодня я, как это ни стыдно, проспал.

— Что же, тем лучше. Так веселее. Давайте отгадывать. Или... загадывать? Кто?

— Большевики, может быть, вернулись, — сказал Непенин, следя за руками Лики: она мазала хлеб.

Алина откинула плечами халатик: плечи раскрылись.

— Лика, возьми у него стакан: оставим его без чаю. Это очень неудачная шутка. Вы разве не знаете о предсказании?

— Каком?

— Он с неба упал, Лика, hein! Вы не знаете о пророчестве юродивого Феди? Впрочем, действительно, вы из Череповца или как... Тогда, быть может, простительно. Так вот: здесь был такой — юродивый. Юродивый, значит, святой: эго вы знаете? Он проповедывал против большевиков — у церквей и на базарах, в конце концов его куда-то... не то посадили, не то заслали, никто не знает по-настоящему. Так он предсказал, между прочим, что девятая власть в Киеве будет настоящая и закрепится навеки. Большевики были восьмой. Теперь понимаете: кто сейчас займет Киев, — останется здесь навсегда.

— Навсегда? Это значит — в могиле?

— Вы атеист? — спросила ровным голосом Лика. Шурик не знал, как лучше ответить, но вдали, за коридором, как будто стукнула дверь. Алина поднялась и прислушалась.

— Параска пришла. Сейчас все узнаем. Бессарабка — жидовская биржа, а на бирже всегда последние новости.

Она быстро вышла. Лика не повторила вопроса. Она думала о чем-то своем, потому что глаза, неподвижные, смотрели прямо вперед, мимо Шурика. Он стукнул пустым стаканом. Она не обратила внимания. Точно его, Непенина, в комнате не было.

Алина вернулась бегом и с порога крикнула злобно: голоса совсем не узнать... От первого звука Шурик даже подумал: вернулись большевики.

— Украинцы!

Сжала руки и добавила еще брезгливей и громче:

— Мерзость!

— Не может быть! — сказал Шурик и тоже поднялся. — Откуда?

— Украинцы, вам говорят! Параска земли под ногами не чувствует: она ведь, как говорится здесь, щірая. Хлопы! Она сама видела — конных и пеших, и пушки: прошли при ней по Крещатику, к Думе.

Опять Крещатик! Конечно.

— Я справлюсь сейчас сам... сейчас же! — Шурик зачем-то поправил галстук и застегнул пиджачок. — Я справлюсь и все расскажу.

— Поскорее! — звонко сказала вдогонку Алина.

Шурик зашел в свою комнату взять пальто, шляпу и трость.

16

Шурик сбежал бульваром к Крещатику. И первое, что бросилось сразу в глаза, — толпа не мурашится по тротуарам и улице, а стоит, сжавшись шпалерой... Значит, власть есть, город взят.

Вдоль шпалеры, красуясь, взгорячив коней, ехали трое, в лихо заломленных черных барашковых шапках, откидные рукава не русской одежды за широкой спиной, кривая сабля по стремени, винтовка поперек седла. Не солгала Параска: жупанники.

Один из трех, самый лихой и самый длинноусый, привстал на стременах и крикнул:

— Хай живе...

Не докричал: лошадь дернула. С дальнего края Крещатика, от площади или, быть может, еще откуда-то дальше, — четко и радостно стукнул смешливый и уверенный выстрел... и еще два вдогонку, заторопясь. И сразу по улице ухнуло: криком, дробью заскакавших, забивших по камню копыт, взлязгом кованых ободий — обозных или оружейных колес, взвизгами женщин... Толпа на панели метнулась, рассыпаясь десятками, сотнями рябью застлавших мостовую, бегущих людей. Где-то прозвенело стекло, затрещали, под напором плеч, прикрытые двери. Шурик видел: плеть над конской, разлетом распластавшейся гривой, чубатую голову без головного убора, — вскачь, обернув коня, с лязгом зубов, на дыбах... вскачь, один за

одним в двенадцать подков... Шурик гикнул — в угон: ему не хотелось бежать.

Но и толпа... расхотела. Запыхавшись, оглядываясь, уже останавливались... мураши. Выстрелов не было слышно. Еще топотал где-то бег, и гремели ободья... но, нагоняя тех, кто бежал еще, и тех, кто уже оглянулся — оттуда, от дальнего края — так же четко и радостно, как отзвучавшие выстрелы, дошло, докатилось, ударило и рассыпалось неожиданным плачем...

— А-а-а-а...

по стеклам витрин и под подворотными сводами:

— Ура-а-а-а!

Добровольцы! Теперь уж наверное. Рядом стоявший, прижавшись плечом к водосточной трубе, волосатый, как в блоковской песне, интеллигент поднял руку и крикнул, выкатив прямо в очки, в упор, остекляневший сразу зрачок:

— Ура-а-а!

Толпа, мгновенно скопившись, побежала, махая руками и шапками. Вниз по Крещатику, к Думе. Шурик пошел за бежавшими. Впрочем, не все торопились. Шурик шел не один. И все, кто шел тихо, молчали. Уже издали повиделось: над зданием Думы — трехцветный, обвисший в безветрии флаг.

На площади щегольски заровненным строем стояли солдаты — в шинелях, в красном оплечьи погон. Перед фронтом — кучкою офицеры, с обнаженными шашками. На подъезде Думы в окружении штатских без шапок пузатился какой-то полковник. Добрармия.

От Царского сада, с громом марша — медных труб и трещащих в растреск барабанов — лавиною надвигалась колонна таких же серых, погонных. И снова на тротуарах, снимая шапки, шпалера — «взятых на щит».

Шурик свернул влево, первую улицей: для первого раза довольно.

На Протасовской, против гимназии (Шурик ушел далеко, по дороге в Лукьяновку — на Лукьяновке квартира отца, может быть, случайно и встретятся) кучка солдат сгружала с телег охапки винтовки и шашки. На оружии — налипшая грязь: должно быть, подобрано. У Шурика стало больно на сердце: с убитых наших взято. Ведь не может же быть, чтоб его побросали на бегстве.

Оружие носили во двор. Там тоже солдаты.

— Слушаюсь, господин капитан!

Золотые погоны, широкие, с красной полоской; золоченые, с орлом, пуговицы, наплечный ремень на добротной английской шинели в перетяг мускулистого, крутореброго тела; на фуражке — странный значок, овал с рубчатым серебряным краем, в середине — кружки: черные с темнооранжевым. Шурик вспомнил; кто-то рассказывал, что эти кокарды в старой армии звали: царский плевок. Шурик так тогда себе ясно представил: плюнул — прилипло. Гадость какая! Сами придумали, и все-таки носят и чванятся. Этот, во всяком случае, чванный — грудастый; бритые барищьи губы, нос тонкий, горбатый, руки в коричневых, туго на пальцы натянутых кожаных, тоже английских, наверно, перчатках. Офицер показался ему странно крепким и сильным. Звериной, дрессированной силой. Тем хуже: страшнее. Совсем не так, как бандиты. Те были нестрашные. Как звери лесные. А этот особенный: специально для травли...

Отгоняя вкравшееся неприятное, тоскливое чувство, Шурик пошел дальше, обойдя пустую уже, за понурюю клячей, телегу. По стенам домов, по столбам — обрывки советских плакатов, спешно ободранные чьей-то холопской, торопливой рукой. Треща и пыфча мотоциклом, пронесся рассыльный, в фуражке без козырька, распятив колени. На дальнем углу прохожие, вытянув шеи, следили за кистью, чертившей заборы. Шурик как раз дошагал, когда на размазанный клейстер ляпнул расклеивший привычной профессиональной рукой белый, распластанный лист. Шурик прочел.

Воззвание генерала Деникина... населению
Малороссии

Малороссии?.. В Киеве, здесь, в украинской столице, украинцам только зубастый насмерть посмеет сказать: малороссы. Малоросс — украинцу, — все равно, что плеткою по лицу. Воззвание скалится вызовом: оскалом крепких, сквозь мясо до кости готовых рвануть белых клыков.

Белых. Отсюда и кличка: белые. Откуда еще? по знамени они разноцветные (трехкolorные, — как Владек говорит), по исповеданью — черные. Зубы только. Как у овчарок. Шурик понял, почему он тогда — о собаках, когда смотрел капитана. Ребенком совсем, еще в Петербурге, в большом доме, смотрел сквозь окно на соседний особняковый двор. Там жили какие-то

важные. И во дворе три овчарки, огромные, белые, шубастые: Шурик часто смотрел. И случилось, под вечер как-то, в особняковый двор зашел человек и оглянулся по окнам, ища. Овчарки лежали, все три, под навесом. Мальчик хозяйский, с вырезного балкона, глядя на захожего, шаловливо и зло, со злою шалостью, подсвистнул собакам — чуть слышно. Еле дошел до Шурика свист сквозь стекло. И тотчас овчарки, одна за другой, без лая, подгибая взлохматившийся, дыбящийся шерстью затылок, бросились к тому человеку, и дальше — куча мохнатых, свалявшихся, скрутившихся тел, крик — дикий, источник, и кровь на камнях, и бегущие с палками, с метлами люди... Мать отвела от окна... Так и эти. Кто-то (Шурик знает, — кто!), кто-то подсвистнул... нет, кто-то свистит полным свистом, до хрипа: — Ату! Ату их, спугнувших барчат из особняковых дворов! — и кучею, так вот, как тот капитан, как все они: навывкат клыки, вздыбленная шерсть на затылке.

«К древнему Киеву, матери городов русских, приближаются полки в неудержимом стремлении вернуть русскому народу утраченное им единство...

«Промыслом Божиим областям юга России преуказана высокая честь и великая ответственность стать опорой и источником сил для армий, самоотверженно идущих на подвиг восстановления единой России.

«В борьбе за единую и неделимую я призываю...»

От слов, печатных, воззвания — отошло... От таких слов всегда смешно становится. Но тяжелое чувство осталось. В подполье — не так, как в отряде: каждый один — как этот, захожий, на особняковом дворе. И под навесом — овчарки. А думалось раньше: когда настанет подполье, — будет легко, даже весело — переряженным Непениным: явки в садах, по кафэ, по потайным квартирам, разведка, разброс прокламаций, которые отпечатает Гриша — тихий, худой, но какой настоящий работник! — в потайной печатне, на далекой Демиевке. А снаружи — буржуазная жизнь, о которой только в книгах читали они, Шурик, и Зайдель, и Владек: трое младших в подпольи. Казалось легко; теперь, на деле, не так. Действительно: люди сразу взрослеют в подпольи...

Промелькнул в пролетке — на мягких резиновых шинах, на упругих рессорах — милицейский чин, в офицерских погонах,

с кокардой на шапке, с новеньким желтым портфелем. . И от уверенной твердой посадки и наклоненной усердным посылом кучерской спины пахло на Шурика той же уверенностью старого мира, какая повиделась в строе солдатском у Думы, в мало-российском воззвании, в чеканном — на Прозоровской:

— Слушаюсь, господин капитан!

И на других улицах — так же. Воззвания, белые на углах, телеги с клажей — перед воротами. Офицеры. И толпы народа. Рестораны открыты. Вчера еще был Нарпит, сегодня — опять ресторан: за ночь одну, очевидно, перерядились попрежнему — в старый мир, привычный мир, мир уверенный. И опять на сердце тоскливо, оттого, что блестят намытые зеркальные стекла и рвутся сквозь двери холопским надрывом румынские скрипки:

— Славься!

И оттого, что цветы в руках у офицеров и дам: от дам — к офицерам, и от офицеров — к хорошеньким: здесь же, у всех на глазах, подходят, знакомятся, дальше — под ручку, вдвоем, прижимаясь, нашептывая. И оттого, что уверен и тверд привычный шаг патрулей, точно век ходили по этим панелям эти солдаты, — точно и не было в городе ни революции, ни смен, ни борьбы.

— Слушаюсь, господин капитан!

Было, есть, будет?

Стыд: Шурик ответил не сразу.

17

От ходьбы по городу без прямой и нужной цели Шурик сильно устал. Есть хотелось давно, но каждый раз, когда он подходил к ресторану, он встречал офицеров и дам, выходивших или входивших: становилось противно; и потом, он был почему-то совсем убежден, что если с ним рядом, за столиком, окажется хоть один офицер, — его обязательно опознают. Он шел дальше, из улицы в улицу, и только под самый вечер почти, переходя перекресток, заметил совсем небольшую кофейню. В окне на бумажном листе крупным, кривым — наверное, женским — почерком было написано:

— Обеды и завтраки.

В такое кафэ офицер, наверное, не поведет свою даму: им надо — шикарно. Как в «Континентале» сейчас, или у Гладынюка. И в самом деле, сквозь стекло видно: столиков мало, и столики все почти пустые. Он вошел, и ему сразу же стало уютно, потому что похоже было в чем-то на прежние столовки Нарпит. Только чище гораздо, на столиках — скатерти, на скатертях в вазочках — яркие, большие цветы, на маленькой стойке — закуски: редька в сметане, какие-то баночки и жестянки: консервы. Женщина, немолодая, с усталым и испуганным лицом, подала листок. Меню — тем же почерком, только буквы мелкие, и в конце строки наезжают друг на друга, поджимая коленки скатиком вниз, так что кажется: за это блюдо никак ручаться нельзя. Шурик выбрал три блюда — обед так обед! — и спросил папирос. Может быть, в самом деле, лучше начать курить — для конспирации: Шурик, все знают, некурящий.

За соседним столом, отодвинув на край вазу с цветами, чавкал борщ сухенький и благообразный старик. Он посмеялся выцветшим глазом Шурику, наклонил тарелку, вычерпывая последнюю жижу, и сказал:

— Ну-с, молодой человек, дожили-с?

— Дожили, — ответил радостно — Непениным — Шурик. И оттого, что сказалось легко, он опять утвердился в том, прежнем: надо — Непениным, тогда не будет овчарок, ни жути этой противной. Непениным, так вот. Папироска в зубах и улыбка: непритворная, искренняя.

— Дожили, слава те, господи!

— До чего дожили? — с неожиданной строгостью спросил старик и насупился. — Ась, разрешите, следовательно есть, спросить: до чего именно?

— До восстановления власти, — сказал не совсем уверенно Шурик: верного ответа он не знал: ни за себя, ни за Непенина.

Старик сощурился очень ехидно.

— Вы так уверены?

— У них сильная армия, — пробормотал Шурик и стал перчить принесенный борщ, хотя терпеть не мог перцу. Ему стало казаться, что старик — провокатор, и выпрашивает нарочно, так нарочно, что все равно, что бы ни сказал Шурик, все будет неверно и в обвиненье ему — У них сильная артиллерия, танки и вообще...

— Вообще? — Провокатор посмотрел сожалительно, сверху вниз, хотя Шурик был гораздо выше его. — Ллойд Джорж, изволили читать? Мировой ум, светоч, следовательно есть, произнес в речи своей в Таманголле: «Человечество снялось с якоря». Определение судеб. Что возразить? Им, с горы, виднее-с. Я — человек маленький, ползун, скажем прямо, хе-хе! Но именно вследствие полза вижу, так сказать, под подол. Под подол истории-с, не краснейте, молодой человек, хотя покраснение стыдливости есть редкий в современном поколении аттестат. Из такой низовой, так сказать, позиции видно: не снялись с якоря, — это в Европе, может быть, так деликатно, — но сорвались со всех устоев материальных и моральных и, волею ветра, мчимся в неизвестность.

— Неизвестность? — сказал Шурик. — Почему неизвестность? Поскольку я мог заметить... все население...

— Население? — фыркнул старик. — Я, следовательно есть, коренное население. Я даже прежде всего население. Меня вы спросили? Что есть мы? Какое наше дело? Отвечаю: наше дело, дело населения, следовательно есть, такое: сказали: «иди»! и мы идем; сказали — «стой», и не дышим. Пой «боже царя»! — поем, во весь голос; долой, «Марсельезу»! — рады стараться. «Интернационал!» — пожалуйста нотки, на завтра же выучим, следовательно есть, на какой голос прикажете: прикажете — басом, прикажете — дискантиком, как «иже херувимы» пели позавчера. Долой «Интернационал», опять «боже, царя»: за нами дело не станет. Царю присягали, раде присягали, гетману присягали, совласти на верность обещались... жид придет, — мы и жиду присягнем. Была бы власть! А пока власти нет, — что населению делать, я вас спрашиваю? Как ему себя понять?

— Но сейчас же в Киеве власть есть, — строго сказал Шурик, чтобы не поддаться окончательно. Но старика не обмануть: он затряс головой,

— Какая власть? Войско одно! Военный человек летучий: потрубил и пошел. Власти нет. Вот, следовательно есть, я, как и всякий, вообще так сказать человек населенский, ползун — сижу-с и сам не знаю: кто ж я такой? Не сказали, приказа нет, я и не знаю. А вы — «дождались»! Эх, молодой человек! Приказа нет еще, а вы... радуется.

Он отвернулся и больше до конца обеда не сказал ни слова, хотя ел еще долго и жадно (пирожное, кофе) и долго

подсчитывал сдачу с засаленной царской бумажки. И ушел, не поклонившись, точно Шурик и вправду, был самый последний, какой-то избалованный и осужденный человек. Опять, должно быть, он сказал что-то не так; но в чем, ошибка, — никак не понять: ни Непенину, ни Шурику. Стало опять тоскливо, и еда показалась невкусной, и неприятны напуганные хозяйские глаза.

Он тронул, машинально совсем, пальцем лепесток цветка в вазочке перед собой: лепесток оказался бумажным. И опять защемило на сердце — каким-то полустыдом — за то, что сразу не заметил, что цветы — не настоящие, и поэтому, должно быть, — наверное, даже, — они такие яркие и нарядные: ярче и нарядней, чем в жизни. А в библии — он на днях читал (он дойдет этой библией Зайделя, когда подполье пройдет и опять можно будет смеяться) — написано, что полевые лилии роскошнее по наряду, чем пышнейшие царские одежды: это романтика явная, и в жизни настоящей всегда не так.

Он поторопился съесть мороженое, обжигая холодом небо, расплатился и вышел. Уже начинало темнеть, но на улицах народу как будто стало больше еще... И больше стало (это наверное) беспокойства и тревоги в толпах, домах, заставших толпы вдоль бульваров и улиц, в незажженных еще — виселицами торчавших над тротуарами — фонарях. Шурик еще раз сошел на Крещатик, на главную. У Думы густою толпою стояли люди. Шурик увидел рабочие кепи меж котелков и мягких соломенных шляп. Днем кепок не было. Может быть, кто-нибудь свой?.. Он замешался в ряды, жадно оглядывая лица: сейчас так хорошо бы, так надо бы увидеть «своего»!.. С балкона думского здания, опершись руками на камень тяжелых перил, говорил кто-то, звонко и внятно. Шурик протискался ближе.

— «У четырех углов тяжелой плиты, которую положили на могилу монархии, стоят четыре огненных агитатора, четыре архангела-мстителя с пламенеющими мечами. Их имена...

Рука поднялась над перилами, отмечая паузу. Затем опустилась, как молот. Шурик уже видал этот жест: ораторский: Троцкий всегда так, тоже: подымет и — вниз: словно рубит.

— «Голод, холод, прозор и смерть. Они будут стоять у царственной могилы и без слов жечь сердца людей до тех пор, пока многомиллионная масса... опустится перед прошлым на колени... И тогда тяжелая могильная плита подыметса сама собою...

— Страсти господни, — шепнул Шурику в плечо женский голос: не понять, смеючись или вправду.

Кто-то правее зевнул, растяжисто, в три приема.

— Кончал бы... Эдак стемнеет до главного...

— А что будет главное?

— Дору показывать будут, чекистку, что с ума сошла от мучительства.

— Дора? Разве в Киеве такая была? Роза была, путаешь. И совсем она не сумасшедшая.

— Не наша, одесская. Тамошней чрезвычайки. Оттуда везут, повсеместно показывают.

Шурик слышал о Доре одесской. Вымысел. Вовсе она не Дора, и не чекистка, а просто жена одного офицера из контрразведки, и с ума сошла не от мучительства, но по обыкновенному женскому делу. В Одессе ее действительно показывали «народу», с балкона, за чекистку: муж приспособил к делу: в политике надо уметь прибыль взять — ото всего. Сказать, что брехня? Или лучше не стоит? Конечно, не надо. Шурик спросил, обернувшись:

— Кто говорит?

— На, вы, что же, не киевский? Господин Шульгин, самолично. — Голос был подозрительный, и Шурик раскаялся, что заговорил. Надо привыкнуть сначала: вовсе не так легко и просто, оказывается, жить по-непенински. Теперь придется стоять до конца и кричать, «ура», когда кончат. Если есть у кого-нибудь подозрение, надо снять обязательно. Хотя отец и сказал ему как-то: на допросах никогда не оправдывайся. Отец тоже здесь, на улицах где-нибудь. Или нет, наверное, дома: зачем он станет бродить? И Шурику, собственно, лучше было бы высидеть день или два — привыкнуть к Непенину.

Голос с балкона вдруг замолчал, совсем неожиданно. Шурик приготовился крикнуть с другими «ура»! Но другие не крикнули. А ведь старик не солгал: они еще не знают действительно: кто они?

— Ну, теперь Дору, наверное. Три часа жду, кого только не переслушал.

— Да не будет, вам говорят. А вот чрезвычайку действительно завтра откроют для обозрения: подвалы и прочее. Двор уже сейчас разрыли. Последних пострелянных они, перед отъездом, для скорости зарывали там же, на месте, чтоб на грузовом не таскать. То-то страсти, должно быть!

Балкон опустел. Высокие стеклянные двери закрылись. Еще немного — и в окнах погас электрический свет.

— Не будет ничего. Расходишь.

Шурик сейчас только вспомнил, что он обещал — там на Пушкинской: сейчас же вернуться и все сообщить. Наверно, дамы обиделись. Надо будет сказать: задержали на службе... или встретил товарища из добровольцев, очень давно не видались, вместе обедали.

Но лгать не пришлось. Когда Шурик зашел, осторожно, с черного хода, дома была одна Параска: хозяйки ушли. В комнате ставни были опущены. Спать еще не хотелось. Шурик взял библию, открыл на первой странице.

«И бысть утро, и бысть вечер, день первый».

Шурик засмеялся:

— Вот уж действительно в точку: сотворение мира.

18

Два дня Шурик не выходил, ссылаясь на малярию. Малярия — болезнь чрезвычайно удобная: он знает от Зайделя. Когда пароксизм — никто не видит, а в остальное время можно быть совсем обыкновенным, только иметь томный вид, и глаза делать усталые, что совсем не трудно. Он лежал в кровати и читал Коцюбинского и газеты, которые приносила Параска. В газетах прочел, что захвачена вся Чрезвычайная, что арестован, в «Континентале», после упорного боя, задержавшийся в городе комиссар, известный Ананьин, что открыты трупы расстрелянных «жертв чрезвычайки» выставлены в анатомическом университетском театре для обозрения и опознания, что прибыл назначенный генералом Деникиным киевский генерал-губернатор, генерал Драгомиров. И еще, о разных победах — на разных фронтах.

На второй день Владек стукнул под вечер, условленным стуком, в окно. Шурик вышел, но идти за Владеком пришлось уже не до бульвара, а гораздо дальше, куда-то за Рейтарскую, в кофейню, где было много народа, и Шурик, дотронувшись до шляпы, вежливо просил разрешения Владека сесть за тот же столик, что он. Просил при свидетелях: к Владеку уже подбежал — за заказом — официант: «человек» — по-добровольчески.

Разговор был недолгий. Все здоровы. С завтрашнего дня — на работу. Куда — Шурик знал и без Владека: впредь до

дальнейшего он должен был стать на работу в железнодорожный район. С железнодорожниками ему и раньше приходилось работать. Владек скоро ушел. Шурик переждал, сколько надо, убедился, что никто не вышел за Владеком следом, стало быть, слежки пока что нет, допил свое кофе и вернулся дальним обходом — Крещатиком, Фундуклеевской, Бибиковским. На улицах гуляющих много. Офицеры — на лихачах. У особняка Ярошинского, на Пушкинской, строем стояли автомобили: надо спросить Параску, кто в этом номере: Параска все знает, что в городе делается.

Ключ от парадной теперь у Шурика: можно войти, никого не встречая.

С утра — в Привокзальный район. Квартирку Корнея, где явка, не сразу удалось разыскать. Опять недосмотр: надо было хоть раз побывать до перехода в подполье, чтобы не путаться. В рабочих районах каждый чужой человек на примете, и хотя Шурик надел сапоги и рубашку с мягким отложным воротником под пиджак, все-таки вид у него остался попрежнему барский. А стало быть — чужой и приметный.

Корней встретил смешливо. И в самом деле очень уж непривычен Шурик в новом наряде: буржуазе. Но новости были плохие...

— Настроение, как бы сказать, так что не очень.

— За новую власть?

Корней ответил уклончиво:

— Не то, что за новую: у нас на дороге украинцев густо, те больше — к Петлюре. Но чтобы советскую власть добром поминать — этого, правду сказать, нет. Даже в ячейке: как пароходы снялись — половина ребят отошла. Чорт знает, и ребята как будто ладные были. А сейчас...

— Надо будет собрать их, по старой по памяти, — сказал Шурик. — Поговорим. Ошибки, конечно, были. Помнишь, ты, кажется, был в Совете, когда товарищ Бош говорила о том, что лучше на время уйти, потому что ошибок наделали много, и исправить сейчас же их трудно; лучше даже власть уступить, не надолго, чтобы под белою властью — сравнением — все поняли, что ошибки наши были от нашей неопытности, от неумения управиться с государством по-новому, а не потому, что мы мало радели об интересах рабочих и крестьян; чтобы поняли, что даже неопытная, ошибки делающая советская власть

лучше самой лучшей господской, и что у рабочего класса иной власти, кроме советской, не может быть. Товарищ Бош, вероятно, права: наши ушли не случайно. Но ведь ошибки, о которых тогда говорили, почти все были на деревенской работе. А с рабочими, с транспортниками особенно, всегда было ладно-кажется.

— Кирста мутит, — снизив голос зачем-то, ответил Корней. — Инженера Кирсту помните, водника? Он с белыми стакнулся, говорят, деньги с них большие получил, чтобы старые союзы, значит, развалить, новых, белых, настроить.

— Старые союзы пусть разваливает, не жалко, — улыбнулся Шурик. — Они все равно не наши были: меньшевики и эсеры руководят. Но вот насчет новых... Деньги, ты говоришь? Это, вероятно, вранье: откуда на это у деникинцев деньги?

— Ну, ты так не скажи: деньги у них есть. Иначе нипочем бы сюда не дойти: без денег какая воевалка?

— Я не о том. Конечно, Антанта им платит, и наши отечественные капиталисты. Это, конечно, известно: но с рабочими у них совсем другая политика. Что в Харькове было, в Одессе, в Екатеринославе? Вешали рабочих, попросту, без всяких расходов.

— Киев — столица, — учительно сказал Корней. — Здесь им рабочих привлечь — интерес. Для фасону. Фасон — тоже политика. У нас вполне достоверно известно: Кирста будет союзы организовывать. Ну, а к деньгам всегда найдутся охотники.

— Не из наших же рабочих...

— Я и не говорю. Но ведь на наших то же свет не клином сошелся. Без них, что, мало народу? При царской власти в железнодорожники отбирали особенно: чтобы по возможности из Союза Русского Народа или Михаила Архангела. На них и ставка в первый черед. Да и прочим, как ни говори, соблазн: легально — и деньги есть.

— Значит, будем это дело срывать. Расскажи мне подробно. Надо будет прокламацию написать. Тиснем, по мастерским распустим.

— Тиснуть недолго. Только не будет сейчас толку. Не послушают.

— Кто не послушает, а до кого и дойдет. И, по крайней мере, будут знать, что мы здесь, не ушли и работаем, белым в подкоп. Это тоже важно.

— Ежели в подкоп, так лучше напиши про Петлюру, — мотнул головой Корней. — Про Петлюру обязательно надо. Я говорю — у нас сейчас на дороге определенно за Петлюрою большинство. Надо их на добровольцев науськать. А Кирста, по твоему же разумению выходит, второстепенное.

Но Шурик заспорил: незачем в поддавки играть, надо сразу взять твердый курс: крыть и Кирсту, и Петлюру. Об этом и надо писать: предатели и тот, и этот. Корней возражал, но в конце концов уступил, и долго, часа два, не меньше, они составляли бумажку, которую занесет Шурик на явку для дальнейшего направления.

На явке Шурик застал Мару одну. Она тоже дожидалась кого-нибудь из комитетских. Поговорили. Шурик показал свою прокламацию. Маре совсем не понравилось. Очень сухо написано. Вот вчера — при ней отправляли, отсюда же, в набор, на Демиевку, Грише, — это была прокламация! Настоящая!

— О чем?

— О красном терроре. В городе уже начались доносы. О «паломничестве» в здание чека. ты знаешь, конечно? Там разрыли могилы расстрелянных. Добровольцы рассчитали поавильно: от трупного вида обыватели совсем озверели. Они будут выдавать, кого только смогут. И комитет решил правильно: напомнить им, и напомнить крепко, что белые здесь только бродяги, зашедшие с большой дороги погреться, что советская власть вернется — и скоро. И когда она восстановится, — пощады не будет тем, кто предал.

— Ты читала эту прокламацию? — спросил Шурик. — Должно быть, действительно она очень крепко написана, потому что у тебя и сейчас еще глаза горят.

Мара кивнула.

— Она написана кровью, — сказала она тихо.

— Кто писал?

— Зайдель.

— Зайдель? — От звука вопроса Мара сдвинула брови, и Шурику стало неловко за то, что в голосе у него прорвалось удивление. Хотя в самом деле: разве может Зайдель написать что-нибудь сильное? Но Зайделю нравится Мара, и Маре нравится Зайдель: это все знают, в этом, конечно, нет ничего дурного. Оба они очень славные и оба были очень-очень несчастные — евреям трудно жилось при царских, и у Мары до сих

пор еще дергается щека, когда она волнуется: шестилетнюю ви-дела, как мать ее изнасиловали и убили во время погрома. Если Зайдель писал, — разве может не нравиться Маре? С этим надо считаться, никогда не надо зря огорчать людей.

Он улыбнулся как можно ласковой и сказал:

— Да, конечно. Это будет, наверное, хорошо, хотя они еще больше осатанеют после такой прокламации. Но если так решил комитет, значит, это правильно.

Зайдель пришел с большим опозданием: Мара уже начала беспокоиться.

На обратном, с явки пути, проходя Фундуклеевской, Шурик попал в густой и тягучий людской поток, стекавший в Крещатику. Опять к Крещатику! Всегда, что ни случись: Крещатик! Главная улица.

Толпа была разодетая, от женщины пахло духами, и волосы под широкими шляпками были подвиты. Но между женщин и меж офицеров, там и сям, по рядам, мелькали явно филерские фигуры. Одна из таких, в сером пальто, в соломенной шляпе с черною лентою, рыжеусая, той особою рыжестью, которая бывает только у подозрительных личностей, увязалась за Шуриком. Случайность? Так или иначе, рыжеусый три квартала шел у него за спиной, хотя Шурик не раз замедлял шаги, давая себя обогнать. Шурик принял, нарочно, особо беспечный и легкомысленный вид, качал головой и заглядывал дамам под шляпки. А когда впереди две девицы, должно быть, не очень строгого нрава, судя по походке, вихлястой и медленной, запели вполголоса что-то очень игривое, — Шурик сейчас же, по слуху, стал подпевать и даже поднял палец, чтобы отбить такт и тем обратить на себя их внимание в отвод шпиковскому глазу. Но случилось так, что, как только он поднял, в ту же секунду женская цепкая рука в перчатке судорогой схватила его за запястье, и под самым ухом чей-то, ее же, схватившей, голос крикнул злоратно и хрипло:

— Большевик!.. Коммунист!

19

Шурик шатнулся к стене. Перед глазами мелькнуло: бледные щеки, белые зубы над карминовой ярью накрашенных губ. Но глаза, не к нему, не к Шурику, глаз не видно —

они на другом, впереди: молодом, в сером пальто, в мягкой фетровой шляпе. Этот, другой, обернулся на вскрик, вздрогнув, как вздрогнули все, и как все стал на месте. Коммунист — он? Да нет же! Шурик знает подпольщиков. Это чужой, какой-то крещатикский, с главной улицы. Он и смотрит так — непонимающе, искренно: о нем? Нет. Но разве можно крикнуть вот этим, всем, что смотрят уже за женщиной вслед, в упор — на высокого, вбирая головы в плечи, неподвижно, молча, страшно: «Ложь! Она обозналась»!

— Коммунист!

Кто-то мясистый и грузный ударил с размаха сероглазого в фетровой шляпе. И тотчас все, сразу, сдвинулись с места, водоворотом, к упавшему. Шурика отмело далеко в сторону. Спины, спины, затылки, топот ног, на месте, торопливый и подлый — раз, раз, раз, по панели, по мягкому... горбясь, спеша, цапая друг друга за плечи... Через улицу бегом бежали, напружась, распуская парусом полы, новые и новые люди... Но с дальнего края, где-то там у Владимирской, крикнул пронзительно что-то, как здесь, женский голос.

Еще? Толпа с тротуара рванулась, рассыпалась цепью, бросаясь глазами туда и сюда.

— Держи! Бей коммуниста!

Хлынули разом назад, к Владимирскому. Здесь стало пусто. Здесь — кончено. Он лежал, раскинув вялые руки, грудь стала странно плоской, и над лицом, переминаясь с каблука на каблук, от торопливости, от нетерпенья, урча тихим и жутким воем, две женщины в белых ажурных шляпках, с красными маками, — совсем одинаковых: сестры? — тыкали, в четыре руки, зонтиком в кровью запекшийся, вспученный глаз.

Гудок. Настоячивый и тревожный. Дорогу, дорогу! Бенц. Очень роскошный, открытый, пять офицеров, и между ними, тесно зажатый, на заднем сиденье, штатский.

— Ур-ра! Комиссара поймали!

Гудок. Дорогу, дорогу! Авто шел ходом. Толпа, с ликующим воем, бежала следом за ним. Шурик побежал с остальными, напрягая сильные ноги. Обогнуть, посмотреть. Лицо меж двух офицеров, в надвинутых низко фуражках, лишь на секунду мелькнуло, когда промчалась машина. Секунду. Но показалось: знакомое.

Кругом кричали: — Наддай, наддай! — И еще что-то...

Машина свернула. Шоффер застопорил у подъезда ресторана Гладынюка. Штатский, следом за офицером, сошел, разминаясь, на тротуар. Толпа подбегала, слева и справа гремело «ура». Офицеры — с машины — и штатский, весело скалясь, замахали руками приветом. Толпа накатилась. Чернявый, в железнодорожной фуражке, с разбега схватил комиссара за горло и сразу, как волковод бродячую кошку, ударил головой о стену. Хряснуло... Гей! Навались!

Офицера затерли в толпе. Он кричал и рвался. Но голоса, в реве, не слышно.

— Ладно, чего там! Управимся сами. Судить найдется кого...

С сиденья машины четыре других офицера, стоя, махали черными дулами четырех револьверов.

— Что? Стрелять? В своих? Да здравствует добрармия!

Но дула дохнули дымком. Одно, второе, четвертое. Толпа разбрызнулась в стороны, — от стены осыпалась известка, — бросив, у самой ступени подъезда, ногами измотанный труп. Какой-то, из тех, с машины, крикнул хрипло и гулко:

— Зверье! Это же наш!.. председатель автомобильного клуба — Подборский.

Стало тихо. Шопотом передалось. Кто был ближе, — попятился. Железнодорожника не было видно. Офицеры наклонились над трупом.

— Думали все... арестованный... — виновато сказал кто-то из задних рядов.

— Думали, теперь вот расхлебывайте! — брезгливо бросил тот, что первым сошел на панель: по виду он был старшим. Он протянул руку и взял за плечо ближайшего. — Самосудничать?! Вы арестованы.

Но тот рванулся.

— Помилуйте, я не при чем, я подошел, когда все было кончено.

Но офицер держал крепко.

— Нет, уж это оставьте... Отвечать кому-нибудь надо. Не расходиться! Будем стрелять. Господа офицеры...

Но толпа не дослушала. Задержанный внезапно присел, прыгнул головой вперед, в толпу, панель загудела под бегом, и раньше, чем офицеры успели опять расстегнуть кобуры, у подъезда Гладынюкского ресторана остались... они, впятером, и труп.

«Этот маленький трехцветный флажок говорит о том, что вновь открыт для жаждущих источник русской культуры, питавший все племена нашей родины... В эти ночи я радовался взятию Киева и Орла...»

«Киевская Жизнь». Подпись: «Эйнерлей». Тот самый? В зале, над клумбами женских туалетов:

Меж позором и победой
Смерть бросает кость...

Игра не доиграна, Эйнерлей! Шурик отбросил газету. Медовый месяц. В украинских газетах все-таки меньше холопства! Но эти «Мысли» и «Эхо»... подвывают «Киевлянину» из подворотен: тот, по крайней мере, лает полным голосом. Своим голосом. Он — черносотенец, но, по крайней мере, честный черносотенец, Шульгин. А эти — банкетные, подползающие под офицерский каблук...

«Господин Благовещенский поднял тост за русский национальный флаг».

«Вместо Карла Маркса, — говорит он, — мы повесили на стене сегодня национальный флаг. Все три цвета национального флага олицетворяют три лучшие качества души русского человека».

— Как ты думаешь, Владек, какие это — в три цвета — качества?

— Белый, синий, красный? Там дальше не объяснено?

— Нет, там дальше уже о речи Май-Маевского.

«Генерал В. З. Май-Маевский поднял тост за русского гражданина и добавил:

«Пусть умрет русский интеллигент и да воскреснет русский гражданин!».

«На что господин В—енко ответил в своем токсте: «Ваше превосходительство! Русский интеллигент уже умер. Добровольческая армия разбудила пламя...»

— Да брось ты! Охота читать такую ерунду! Который час? Что это ребята не идут?..

Сегодня групповое собрание. Подполье обжилось за две недели. Работа по районам наладилась. Владек на табачной, где он работает, даже о забастовке думает: табачницы — народ темпераментный. Владек смеется; Кармен!

У Шурика дела хуже. Корней оказался прав: транспортники, пока что, держатся Кирсты. У Кирсты — своя газета, паршивенькая, но все-таки рот не зажат, как у всех остальных, даже меньшевичков. «Рабочий Путь». Агитирует, сулит всякие блага. Большого доверия нет, а все же иные думают: может быть? Тем более, что Кирста — пока что, деньги есть, — прикармливает.

Кирстовцы и петлюровцы. Большевиков на транспорте мало: какие были — затаились. Кружок собирается туго. Шурик уже просился на другую работу: в привокзальном районе делать почти нечего. В уезд бы — там работы хоть отбавляй.

— Дома-то у тебя благополучно? — спрашивает Владек.

— Почему нет? — по-одесски отвечает Шурик. — Я мало когда бываю с хозяйками, и если разговариваю, то о разном таком, что в газетах есть; вечером читаю им иногда, когда попросят. Они милые.

— Милые-то, милые... — сомнительно говорит Владек. — А приказ?

— Какой?

— Н-нда! Коменданта. Удовиченко. И дал же бог такую подходящую фамилию — Удовиченко: виселицей за версту пахнет. Подожди, кто-то пришел. Володя.

Володя — в поддевке, волосы подстрижены в кружок. Смешно. Шурик в первый раз видит Володю с ухода в подполье. Не приходилось встречаться.

— Здравствуй, родной! Крепко?

— Крепко-то, крепко, только с паспортом у меня неладно. А с приказом этим...

И он! А Шурик не знает.

— Какой?

— Да в газетах же был. Мара, дай ему газету. Параграф четвертый.

— Четвертый? Ах, вот! «Обязываю районных комендантов немедленно принять меры к очистке их районов от преступных элементов: коммунистов, комиссаров и прочей мерзости. Производимые с этой целью обыски и аресты должны вестись командами обязательно под начальством отборных офицеров... Домкомам и квартирохозяевам незамедлительно сообщить в контр-разведку обо всех квартирантах, въехавших в дом или квартиру в течение последнего месяца».

— Вот чорт! А что у тебя с паспортом?

— Да явки проставлены... чтоб их! Умудрились в бюро тапнуть киевскую прописку по Николаевской улице, номер десять.

— Домовые книги уничтожены, знаешь.

— Домовые уничтожены, а, оказывается, есть еще какие-то поквартирные списки. Наши не знали: остались несданными. Но дело даже не в этом. Я вчера прошел, на всякий случай, на Николаевскую, посмотреть, какой дом собою, если будут спрашивать. А дом — знаешь какой оказался? — цирк!

Все рассмеялись.

— Это действительно здорово!

— Полбеда! Цирка нет. Скажешь — наездник.

— Хорош наездник! Не знаю, где у лошади грива, где хвост. Я и на лошади никогда не сидел.

— Ну, клоун. Кувыркаться умеешь?

Опять позвонили. Кого еще нет? Василенки, Павло, Иконова.

— Иконов в уезде. Нет: его голос как раз. Уже вернулся. Петрусь? Эх, загорел!

Иконов сел, не снимая шляпы. Задышался: по лестнице — духом.

— Чего тебя всегда гонит карьером? Под тридцать лет парню, а все козю, вприпрыжку.

Петрусь достал папиросу и осмотрел товарищей, очень значительно.

— Я был сейчас на явке Цека, с докладом. Видел Данилу. Он приказал передать Шурику и еще двум: выбирайте сами, кого знаете — завтра к вечеру быть на вокзале: поедете в Нежин.

— Зачем?

— Он скажет на месте.

— Он тоже едет?

Иконов кивнул.

— Едет. А я с Богунцом — сегодня в Носовку, на подводе.

— Что там... заварилось?

Иконов кивнул опять.

— Добровольцы ведут наступление на нежинском направлении.

— Знаем. Нежин занят вчера.

— Ну, так вот. Палецкий у них на тылах.

— Полковник? Наш, партизанский? Он же в Черниговской был?

— Перешел. Сейчас в лесах, около Носовки, со всем отрядом. Поняли?

— Поняли.

— Значит: завтра, в восемь. Пропуска и билеты запасет сам товарищ Ананьин: без пропусков выезда из города нет, — по железной дороге, я разумею. Вам, значит, надо взять только деньги, на случай, и паспорта.

— Оружие?

— Ни боже мой! Не берите Володю, если он задает такие вопросы. Ну-с, я побежал. Делов еще — уйма, а к ночи надо быть в Носовке. Да, Шурик...

Он поманил пальцем и отвел Шурика в сторону.

— Отец велел передать, на случай: у тебя ведь есть его адрес. Он сменил квартиру и паспорт: живет уж не там.

— Почему? — нахмурился Шурик.

Иконов пожал плечом.

— Точно он не сказал. Но, кажется, его опознали.

21

Дома Шурик не скрыл, что едет на какое-то время в Нежин; он даже нарочно весь вечер просидел с хозяйками в столовой и в угловой — Удовиченко. Лика смеялась:

— Не забудьте привезти огурцов. Специальность по Нежину. Вы что покупать там будете? Не огурцы?

— Нет, для армии... — сказал уклончиво Шурик. Но подробно его не расспрашивали.

На вокзале, в назначенный час — Владек и Павел. Володю в самом деле отставили. Не за то, конечно, о чем говорил Иконов, но решили, что платье менять — социальный признак — не следует, а в поддевке очень заметно. Павло — в пиджаке, обыкновеннейшим штатским. Так лучше. Данилу — даже Шурик сам не узнал, в первый взгляд: совсем иностранец — в гетрах, в туристской тужурке, клетчатой английской шляпе. И опять, как тогда, после «Континентала», Шурик удивился отцу: и в этом костюме, с другим лицом, он как будто всегда был таким, и другим быть не может.

Данила отдал билеты и пропуска. От штаба Бредова — четырем агентам Центросоюза, назначение точно не указано. Едем на Нежин. Посадка — в девять. Поезд, должно быть, пустой.

В комендантской сказали, что билетов и пропусков выдано всего только восемь.

— И поезд пустят — с восьмью?

— Очевидно. Этапный. По расписанию.

Железнодорожники показали: посадка с третьей платформы

Ждали: час и другой. Платформа была пустая. Стало темно.

На путях, кое-где скудные пятна — красных, зеленых, желтых огней. Шурик ходил с отцом вдоль края. Была из дома оказия: у маленьких корь; вот незадачливый — по семейному — год! Все врозь и — болезни. А квартиру пришлось Даниле сменить, потому что по той же лестнице оказался бывший его подчиненный — переехал недавно и ходит с портфелем: очевидно, у белых где-нибудь в учреждении. Раза два встречались на лестнице, он очень присматривался.

— Да ведь тебя же, по газетам, повесили!

— Так-то так, а все-таки, для верности. Тут еще есть квартира — чудесная, тоже своя, хотя и в центре почти: мы сменялись с товарищем. Что это поезда нет?

— Вон ползет какой-то состав.

В самом деле: состав подошел. И именно к этой платформе. Десяток гремучих, разъезженных до-нельзя, красных, загаженных и низких теплушек. В жерла откаченных дверок, ощерясь зверями, глядела набившая ящики до отказа, до смертной давки толпа.

— Это не наш. Восемь билетов, а здесь...

Ананьин окликнул кондуктора.

— Куда этот поезд?

Кондуктор оглянул: шляпа, гетры, туристская, по-барски, ту-журка.

— На Нежин.

— На Нежин? Откуда ж народ?

Кондуктор осклабился.

— Первый раз изволите ехать? Составляется поезд на Киев-товарный. Там и посадка. А здесь нипочем не по-пасть: контроль. Изволите сами видеть.

— Но если у нас пропуска и билеты?

Кондуктор принял официальный вид, услышав о пропуске. Развел руками и торопливо пошел. Прочь. Из теплушки кто-то крикнул глумливо:

— Бесплатники! Видел? С билетом и пропуском — на шармачка, за три с полтиной. А двадцатку не хочешь? Двадцатка —

вот тебе пропуск! Такса. А ты за бесплатно думал? Чтоб без расходу? Людей обездоливать? Досидишься до завтра.

— Садись! — сказал коротко Ананьин. Все четверо придвинулись к жерлу. Шесть парней в ряд, скалясь зубами, сидели, свесив ноги с вагона, в проходе, во всю ширину; за ними густо, без просвета, платок к платку, платок к платку, — бабьи головы.

— Куды, ку-ды!

Но Владек уже вбросил, с размаха в теплушку, тючок с подушками, всунул, раздвинув колени парней, ногу — на железный оков. Шурик чуть-чуть поддержал...

— Куды, на людей! — крикнул парень, но все же пригнул низко голову. Владек шагнул.

— Ей! Прими бидон! Расселась, Солоха!

— У э, якісь людзгорій...

Бабья брань — пулеметная: мелким горохом по стенкам. Но Владек — Шурику руку, за Шуриком — Павел. Ананьин осторожно передал чемодан: за чемоданом все время был особый присмотр. А Иконов сказал: — Не надо оружия... — Данила поднялся последним.

Четыре — плечистых и крепких; бабы отжались, треща языками, подбирая пустые бидоны. Нашлось всем место, правда, в углу, у стенки: там душно. Но бабы ведь ближние, с молоком: до Нежина все утрясется.

Поехали.

Утряслось. Уже к Бибику было свободно: не стало баб и бидонов; в теплушке, где были Ананьины, остался один только украинский попик, длинноволосый, дерюжный, лик затонул в бороде, кудлатой и черной. Ехал он без билета. При Ананьиных трижды пробовали взять попа на обордаж, то контролер (был и такой, точно насмех), то кондуктор. Но поп на вопрос о деньгах — двадцатка! — протягивал смиренномудро две мятых красненьких. Его вразумляли:

— Карбованцы нынче не ходят. Это — не деньги.

Других у попа — не має; и не разумеет российской мовы. Ссадить? Тоже толку немного. Велели, как в Нежин приедут, пройти в контору, к начальнику станции, и отступились.

Ночь все спали: до самой Носовки. Это уже было под утро. Ананьин оглянул платформу с вагона. Но людей не было видно. Ни Богунца, ни Иконова. Данила нахмурился. Поезд недолго

стоял. Выходить не позволил Ананьин, хотя Шурик и вызывался. За станцией, уже когда миновали стрелку, видели сквозь предрастветле — коновязи и часовых: в Носовке стоит артиллерия. Это Ананьины знали и раньше, еще до поездки.

— Нежин, должно быть. Смотри, поп собирает пожитки.

Поп в самом деле, тряся волосами, торопливо увертывал вещи. Поезд прошел семафор. Поп подобрался к жерлу и осторожно выставил ноги.

— Держи! — крикнул Владек.

Поп дернулся брюхом по железной оковке и мешком ссыпался вниз, на дорожную насыпь.

Владек улюлюкнул вдогон.

— Не мальчишничай, Владек!

— Как ты сказал: Влад?

— Тише! Платформа.

Платформа и станция — обыкновенные, тихие: никак не скажешь, что фронт. Зевая, зябкие руки — в карманах тужурки, стоял, как всегда, помощник начальника станции, в красной фуражке с двойным позументом: фуражка — бессменная: сколько было властей, смена на смене, а фуражки начальников станции те же — красный верх, двойной позумент.

В буфете, за стойкой, кипит самовар, горкой наложены булочки, яйца, чищенные, в банке с водой, огурцы с помидором: закуска. Газетчик с пустой сумкой. Возчики — с кнутами; если придется везти. Всегдашнее, провинциальное, вне всякого времени. А между прочим — дальше поезд не ходит: отсюда начинается фронт.

Тихо и мирно. Но на запасных путях, подальше за станцией, многорядной цепью стоят, изогнувшись по закруглениям, составы; визжит, несмотря на рань (ведь едва проглянуло утро), гармоника, и по путям, распустив подолы рубашек, без штанов, но в фуражках, бродят солдаты. У водокачки с десятков заседланных коней — под казачьими высокими седлами.

Заняли столик в буфете. Чаю. На станции останется Владек: с ним — чемодан. Ананьин с Павлом и с Шуриком — в город.

22

Воинских эшелонов — четыре: на запасных путях. Двадцать два, сорок три, двадцать шесть, восемнадцать вагонов. Но очень

много пустых — совсем, в остальных — одиночные; в полном составе, должно быть, одна осетинская сотня. Там, где играет гармоника. Павел видел там офицеров. А в остальных составах — одни рядовые, и те в затрапезье: нестроевые, должно быть. Взвод у водокачки тоже осетинский. Больше войск не видать; и буфетчик сказал: одни осетины. Можно в город.

Дошли легко, тенистой дорогой, меж тополями, вдоль палисадников: от станции самой до самого Нежина — одноэтажные, белые домики, глубоко отодвинутые в сад, под яблони, под вишни, под грушевое дерево; у каждого сада — завалинка. Через шоссе, по ту сторону, огороды; за огородами — лес, в лесу — Палецкый.

Город — такой же: сад к саду, в садах белым ящиком — домики. В центре — площадь, как полагается. Собор старинный, — наверное, о нем какие-нибудь книжки есть, о такой колокольне обязательно надо книжку; у собора, распластавшись накатом досчатых покрышек, целый большой городок базарных палаток, рядами. Все пусты, хоть шаром покати. Напротив собора — пожарная часть с каланчой. Налево — двухэтажное кирпичное здание — управа, должно быть, суд, вообще «присутственные места»; так всегда при царях полагалось в провинции: главная площадь, каланча, собор, «присутствие». По четвертому фасу, во всю длину огромной площади, шла высокая, каменной кладки, известкой беленная стенка — совсем крепостная, и по ней от земли до зубчатого, железом окованного верха — от угла до угла — надпись синими огромными литерами:

«В свободной России нет больше тюрем! Бандитов и преступников советская власть расстреливает на месте».

Трое улыбнулись, все вместе.

Из «присутственных мест» выносили на площадь мебель: столы, стулья, крестла.

Кто-то окликнул Ананьина:

— Вам чего, гражданин?

— В гостиницу, — ответил Ананьин. Кругом все остановились и составили наземь столы и прочую мебель, точно дело Ананьина всех чрезвычайно касается.

— Гостиницу?

Переглянулись. Кое-кто фыркнул.

— Не знаю... найдется ли...

— Заняты?

Снова смешок. — Да, как бы сказать... Попытайте по той вон, по улочке, вправо за угол.

— В «Конкордию»?

— Нет, зачем? В «Метрополь». Да, впрочем, они все там, господин! Попытайте.

Столы понесли. Приезжие завернули за угол. «Метрополь» нашли сразу. Но ставни на окнах приперты плотно, дверь заперта, калитка во двор на крепком затворе.

— Поищем «Конкордию».

— Надо все же спросить, — сказал Павел и поискал глазами кругом. Но к ним уже подходил очень высокий еврей, пряча курчавую бороду в поднятый воротник пиджака: он, видимо, был без рубашки.

— Из Киева, как? — спросил он, гортанно. — Все номера закрыты, потому что оккупация. Но я не был бы Зайделем, если бы я не мог предложить номерок.

— Прекрасно, — сказал Данила Ананьин. — Это далеко?

Еврей кивнул на запертый дом.

— Когда еврей не стоит у своего дома? Когда у него нет своего собственного дома. — Он подмигнул. — У вас свой чай и сахар или это пойдет в счет: ведь вы будете пить самовар, нет?

— Будем, конечно, и вообще нужно будет поесть. А там что, на площади?

Еврей засмеялся кашляющим смехом.

— Что бывает, когда приходит тот, кто победил? Город дает честь добровольцам. Город будет кормить на площади, там, сколько их есть — дивизия. А я буду кормить только вас троих. Но мне будет прибыль, нет? А городу будет убыток. Это разница — от коммерции и от политики. Что?

Он постучал в дверь. Со стеклянной, с разбитыми кое-где рамами веранды выглянуло заросшее до глаз рыжими космами лицо. Еврей кивнул. Лицо скрылось. И почти тотчас, с той стороны, прогремел ключ в замке.

— Если дверь не отпирается с этого боку, значит, она отпирается с того, — опять подмигнул еврей. — Открой самый лучший номер, Грицько, с коврами и балдахином над кроватью, очень двуспальной, чтобы... — он оборвал смех. — Теперь ковров нет, потому что их взяли советские, а балдахин я продал сам — на катафалк, чтобы в Нежине можно было хоронить, как хоронят в столицах. Потому что сейчас каждый город есть столица. Разве не так? Ковров нет, но это все равно лучший

мой номер. Он стоит пятьсот двадцать рублей за сутки. Это смех: столько стоит фунт масла в Киеве, — я же знаю...

Номер оказался действительно большой и светлый, потому что окна выходили в сад с черными, круглыми и пустыми клумбами, с посеребренным дутым шаром на потрескавшейся, нелепой подставке.

Грицько притащил самовар, огромный, кривой и нечищенный. Белый хлеб, сыр, сало, помидоры. Хозяин остался у прилоки.

— Как с продуктами в городе?

— Пфе! — просвистал протяжно еврей. — Какой может быть продукт, когда приходят и вас оккупируют? И когда их пятьсот человек с ружьем и с саблей. Сабля — не очень тяжелое дело, но когда человек носит ее на боку, он ест всегда очень много и бросает объедки, как будто вокруг него парадиз.

— Вы говорите: пятьсот? — спросил Шурик. — Нам в Киеве говорили: гораздо больше.

— Сколько больше, сколько меньше, — разве я знаю, — пожимаясь и склабась, повернулся лицом к Шурику хозяин. — Говорят: пятьсот. Я видел себе трех, и тех мне довольно.

— Трех, почему?

— Разве еврей знает, почему к нему в гостиницу пришло три — ни настолько больше, и ни настолько меньше? Когда город взяли, я сидел и ждал, потому что разве может еврей, когда пришла офицерская власть, выйти на улицу раньше, пока ему скажут: «Вылезай, собака!» Если бы я вышел раньше, я не имел бы коммерции с вами, потому что имел бы уже политику с офицерами. Что? Но в гостиницу зашли только трое.

— И вы имели коммерцию? — усмехнулся Павел.

— Мы имели политику, — с готовностью засмеялся еврей. — Брать было нечего, потому что я оставил только фразе. Это было на две руки, но у троих — шесть рук: я считаю верно? И когда нет вещей, берут людей: нельзя военному идти, когда руки пустые. Один взял мою мать, а другой — брата. Они взяли брата, а не меня, потому что брат был толстый, а я худой, и они думали: это настоящий денежный человек, а это — служащий.

Он промолчал и покачал головою.

— При какой власти жид сможет себе жить, как вы себе думаете? При большевиках брат сидел, как заложник буржуазии;

когда пришли офицеры — его убили вовсе, а если бы пришли петлюровцы, — они вырезали бы ему язык и повесили... У вас дело в Нежине, что?

— Мы из Центросоюза, — сказал Ананьин старший. — За закупками.

— Сахар берете? — быстро сказал еврей и шелкнул языком. — Я вам сделаю вагон песку. Сколько франко...

— Откуда у вас сахар? — спросил неприязненно почти Шурик.

— У меня? — засмеялся хозяин. — Откуда может быть у бедного еврея сахар? И кто продает, что у него есть, — разве есть торговец? Сарра несет яичницу. Шестнадцать яиц — это то, что надо. Будьте с аппетитом. Так сделать вам вагон сахару?

— Нет. Нам сахару не надо, — сказал Данила, и еврей сейчас же, пожевав губами, вышел.

— Господа, налягте на яичницу. Особенно прохладиться не приходится.

23

— А вещи с собой зачем? По городу жарко. Грицько запрет номер. А если не будет поезд? У вас нет к отелю доверия?

Хозяин смотрел обиженно. Но Шурик решительно вытянул связку с подушками. Заходить за ней специально? Втроем нести — не устанут.

Площадь зарастала столами. Их волокли с соседних улиц, из окрестных домов. Бабы уже застилали их скатертями. Гремели тарелки, ножи и вилки в корзинах.

— Квитанцию? Что? Ошалела! — кричал распаренный, красный, в сюртучной, новенькой паре мужчина. Думец? Или сам городской голова? — Бухгалтерию тебе здесь разводить? При своем столе и останешься. Наблюдешь и прислужишь. Кончится — заберешь и гайда.

— А ежели кто...

— А ежели что? Твой почет, твой и убыток. Городу, что ли, за тебя отвечать?

— Мы с Николаем Авксентьевичем — в штаб, — сказал Ананьин. Шурик заметил уже: отец всегда говорит в самый последний момент, перед самым делом. Нарочно? — Штаб вот на этой улице, главной. В доме, где был исполком. Петр Па-

влович, вы нас подождете, — вернее, его, — в Лицейском саду. Вот с того перекрестка направо, пока не упретесь в перпендикулярную улицу: там спросите у кого-нибудь. Это не очень далеко.

— Вы разве бывали в Нежине? — спросил Павел.

Ананьин засмеялся и не ответил.

— Ну, до скорого! В час, не больше, я полагаю, управимся. Сейчас четверть первого. Скажем так: если до двух Николай Авксентьевич не подойдет, — значит, случилось неладное; тогда — на станцию, забирайте... как его... Василия Мироновича, и смывайтесь. Чемодан — в кусты.

— Может быть, лучше не надо в штаб, Владимир Петрович? — Павел посмотрел на Данилу и Шурика почти что просительно.

— Проще, — отрывисто ответил Данила. — А может быть, что-нибудь и узнаем толковое. Значит, условились.

Дом, где был исполком, виден уж издалека — полукружем выпяченных на тротуар деревянных, под мрамор, колонн. У подъезда — автомобиль и лошади под седлом: привязаны к фонарям и дворовой решетке.

У двери — распахнутой и даже подоткнутой под раскрытую створу, большим кирпичом, чтоб не хлопала, — часовой, отвалив винтовку к перилам, беседовал с бабой, взасос. Баба была молодая и востроглазая. Он обернулся было к Ананьиным, но Данила сказал, неторопливо и строго:

— К начальнику штаба.

Баба тронулась было, пугливо, прочь от перил, но солдат, отвернувшись от Данилы, поймал ее за рукав:

— Постой, погоди!

Прошли. В первой комнате — прихожая или приемная? разве может быть приемная в штабе? — шла толчея. Не штаб, а базар. Солдаты, крестьяне, какие-то женщины. На столе у стены, прорываясь сквозь гомон, гудел гнусавым гудом полевой телефон.

— Кто говорит?

Писарек, в гимнастерке, расчес на пробор, — писарски, по традиции, — слушал, одув губу. Положил трубку. Окликнул проходившего капитана с аксельбантом: генерального штаба.

— Господин капитан, начальника штаба просит командир батареи.

— Из Носовки?

— Так точно.

Капитан толкнул дверь, боковую, вошел и сейчас же через порог переступил к аппарату коротенький, толстый, в кирасирских погонах полковник, в пушистых подусниках. Писарь передал трубку.

— Да. Барон Таубе.

Он слушал, часто моргая глазами.

— Не прибыл? Звоните еще. А я что могу? Да, да. И телеграмма была. Да, конечно, давно уж пора. Все хорошо, что кончается ладно, полковник! Честь имею!

Он обернулся назад к порогу, скользнув по Ананьиным зорким и быстрым глазом. Данила поклонился чуть заметным наклоном головы.

— Вы разрешите, барон?

Барон присмотрелся еще и сделал пухлой рукой пригласительный жест.

— Пожалуйста!..

Голые стены, очень мягкие кресла, стол огромный. На столе — массивная, с серебряным зверем, мудреная чернильница: кабинет предисполкома, наверное. У предисполкомов в уездах всегда такие чернильницы: самые массивные, самые мудреные в городе. Но тогда чернила должны быть красные: предисполком не знает других чернил. Красные, в самом деле, и здесь. Полковник сел в кресло. Ананьиным — место напротив.

— С кем имею честь?

Данила, не торопясь, достал портсигар.

— Разрешите?

Папиросы длинномундштучные, по особому заказу, ровным рядом. Полковник кивнул подстриженным бобриком.

— Вот благодарствую! С утра размотал свое курево, а послать на квартиру, поверите? — некогда. Да и далеко. Я с Конным ее величества полком, а он расквартирован по Банковской. Извольте знать? Это — дистанция! В штабе возни сейчас!.. с продовольствием.

— Это как раз наша тема, — улыбнулся Данила. — Мы имеем командировку... от штаба отряда генерала Бредова, через Центросоюз — выяснить, что можно вывезти из вновь оккупированного района для снабжения Киева. И поскольку снабжение, само собой, зависит вполне от развивающихся здесь

операций, — мы разрешили себе потревожить вас — для общей ориентировки: откуда и что можно вывезти?

— Ровно ничего, — радостно расхохотался полковник и потер руки. — В Нежине из запасов — мануфактура и огурцы. Мануфактура была, — он сделал на слове «была» особое ударение, — но сейчас ее нет, так как я ее реквизировал, пока не раскрали; что касается огурцов, то они, хоть и есть, — ни на ляд, простите за выражение, ни генералу Бредову, ни нам. Огурцов много — триста тысяч штук, если не ошибаюсь, в здешней специальной артели. Засол! — он поднял палец. — Хотите — берите... но предупреждаю: реквизиции не подлежат — кооперация! А требуют они за них сто тридцать пять тысяч рублей. Шальные люди! Однако это все, что в Нежине есть. Не знаю, чем будем продовольствовать дивизию. Придется — из Киева.

— Но за пределами Нежина...

— Фронт! — многозначительно сказал полковник и взял вторую папиросу. — Вы извините, но я не курил два часа! За Нежиным, изволите видеть...

Он оторвал листок от большого блокнота и макнул перо в чернильницу.

— Неприятель — в трех группах: одна держится здесь, по линии железнодорожного полотна. Наши форпосты в пяти верстах за станцией Нежин, — он провел черту и отметил крестом. — Вторая — приблизительно в этом районе, третья — от Козерков до Ченичек, уступом к югу.

Перо привычным и очень четким росчерком набрасывало на бумажке — красными исполкомскими чернилами — кроки.

— Но это ж довольно далеко, — шурясь, сказал Ананьин и пододвинул раскрытый портсигар. — И в пределах оккупированной зоны...

— В пределах оккупированной зоны, — перебил полковник, — мы расквартировали наши войска. Они требуют продовольствия, увы! Не говоря уже о том, что Нежин, как я вам докладывал, нуждается сам в снабжении, а здесь у меня кирасирская дивизия...

— Всего пятьсот сабель, мне говорили в бредовском штабе, — чуть-чуть шевельнул плечом небрежно Данила. — Едва ли такое число...

— Пятьсот? Я согласен даже убавить: скажем — четыреста. Дьявольский некомплемент, что? Но теперь не те вре-

мена, когда можно легко пополнять тяжелую кавалерию. Не можем же мы снижать требования до бесконечности!.. Но и четыреста надо кормить!

— А город? — с усмешкой спросил Ананьин. — Я видел на площади столы.

— На двести. Двести я оставил на случай, в запасе. Эти торжественные обеды... еще опоят какой-нибудь дрянью, потом людей не поднять в седло. Бывало уже, вы знаете. Но я отвлекаюсь.

Он оглянулся на раскрывшуюся дверь и сердито крикнул вошедшему было офицеру:

— Обождать! Я занят.

— Но, господин полковник...

— Я сказал: обождать!

Дверь закрылась. Барон взял новую папиросу.

— Я продолжаю. Четыреста сабель — и еще осетинская сотня. Осетины, впрочем, добывают себе сами... чудесный народ! Теперь здесь... в районе Березовки, — полковник поставил значок на кроки, — дивизион артиллерии и батальон пятнадцатого полка; у Чапыгаевки — две сотни казаков; у Ручьевки...

Кроки покрывались значками. Ананьин внимательно слушал, кивая рассеяннo в такт плавной полковничьей речи.

— Живого, как видите, места нет, Figaro-ci, Figaro-là — фронт. И, наконец, транспорт: ежели бы что и нашлось, все равно вывезти нет средств: эти каналы-пейзаны куда-то пораспихали лошадей и подводы: ищи, не ищи — чисто. И на базар сюда ничего не везут: боятся конской повинности.

Ананьин протянул руку и взял листок.

— Так вы полагаете, барон... виноват, ваше имя и отчество?

— Александр Оттонович, к вашим услугам.

— Александр Оттонович, что нам не стоит пытаться?

— Абсолютно! — подтвердил полковник. — Непроизводительная трата времени. Отечеству нужны его лучшие силы: возвращайтесь немедленно в Киев. Мы отправляем экстренный состав в два часа. Я вам дам записку к коменданту станции, он вас превосходно устроит. Вы разрешите... ваш документ... о!.. Не для проверки, само собой... Чтобы не ошибиться в транскрипции имени.

Ананьин размеренным движением положил листок с кроки в карман и вынул бумажник.

— Вот наш пропуск.

— Даже на четверых... Бредов роскошествует. Маркозов, Владимир Петрович. Вы — из питерских? Ну, да же, конечно! Это кладет *sachet*, даже в походных условиях, — он вздохнул и помотал головой. — А *monsieur* — тоже из петербуржцев?

— Нет, он — москвич, — быстро ответил Ананьин, — Непенин, Николай Авксентьевич.

— Родственник генерала Непенина?

— Нет, к сожалению, — ответил Шурик и покраснел. При отце почему-то стало неловко.

— Действительно, жаль... Прекрасный человек, ваш однофамилец. Мы его потеряли из виду. Где он? Кто знает?

Он расчеркнулся и протянул Ананьину записку.

— Не откажите вручить коменданту. Классных вагонов, увы, нет, но он устроит вас в штабную теплушку. Там будет свободно, и вы проведете время, во всяком случае, в приятном обществе, *messieurs*. Не краснейте, молодой человек: вы уже догадались? Да, конечно же, женщины. Признаюсь, я выдал кое-кому... из желающих в Киев... Здесь есть прехорошенькие, я вам скажу.

Ананьин встал и раскланялся.

— Добрый путь! Если увидите генерала, — засвидетельствуйте, — полковник сделал широкий жест, — расширяем пределы Бредланда. До свиданья, не правда ли? — Он задержал руку Шурика в своей. — Такой молодой... и уже зарабатывает свой хлеб. Тяжелое время для порядочных людей. Я слышал, в моем доме, на Сергиевской, это хамье, устроило... как называется? дис-пан-сер. А, как вам нравится: дис-пан-сер! Для каких-то там венерических! Это последняя наглость! Я вас заговорил, но, признаюсь откровенно, так редко доводится сейчас встретить петербуржца! Все рассеялись. Добрый путь! Мы увидимся — я это предвижу.

24

У перил попрежнему — часовой и баба. Ананьины быстро сошли на пустую безлюдную улицу.

— В Лицейский сад быстрым аллюром, — сказал Данила. — Я пойду к Палецкому. Он должен ждать меня у моста — здесь

совсем недалеко, за речкой в лесу: мы условились. Павла отправь на станцию к Владеку — пусть с чемоданом пройдут с четверть версты по полотну в киевском направлении, понял? И если в городе будет... словом, услышат... в чемодане шашки и шнур, все, что надо — Владек ведь подрывник: рельсы — к дьяволу, и лесом к Носовке. Сборный пункт будет там. Ты подождешь на площади. За собором. Там, где палатки. Помнишь? Ну, ходу, мальчик! Времени мало. Ходу!

Он пожал руку сыну и пошел легкой походкой, обычной своей — такой ни у кого другого нет и не будет. Шурик торопливо повернул назад, к переулку, которым ушел Павел. Переулок — кривой и тянучий — уперся в другой. Людей кругом нет, дома далеко запрятались за палисадниками. Вправо или влево? Вправо улица загибает кривулей опять вправо, назад — к базару и собору; влево как будто вернее. Шурик свернул влево: переулок тоже извилиной. В конце — издалека видно — широкая дорога и... люди. Шурик прибавил шагу. Шоссе, за шоссе — огороды, за огородами — лес. Тот самый, где ждет Палецкий?

Шурик дрогнул от мысли и поискал глазами отца: нет, не видно. Он спросил крестьянина, шедшего с грязным мешком: как пройти к Лицею. Крестьянин покосился насмешливым взглядом и прошел, не ответив. Не понял? И то! Как он по-украински зовется, Лицей? Наверно, не так. А может быть, там давно уже какое-нибудь совсем другое учреждение? Как на зло — на дороге только крестьяне, дядьки, интеллигентов не видно. Шурик выждал, переминаясь, спросил еще одного. Но и тот не ответил. Пожал плечом и пошел. И, только далеко уже отойдя, засмеялся.

Время идет. Бежать — нельзя: подозрительно. Шурик скорым, как только мог, шагом пошел назад, по старой дороге, миновал почти бегом перекресток, с которого повернул, и — прямо, прямо, по улице, по кривуле; она привела на шоссе, не такое широкое, вдалеке виднелся мост, речонка, деревья на том берегу. Мост и лес. Неужели тот самый, где назначена ягка? Кто запутался? он — или сбили отца?

Две загорелых, по локоть открытых руки — на резьбе палисадника; меж ладоней, зажавших верхушки палисадных досок, червонным тузом — раскрасное женское, веселое и молодое лицо. Шурик спросил, глядя ласково, мешая украинские слова —

из Коцюбинского — с деловыми и русскими. Дивчина смеялась: за мост! немного пройти, большие ворота — будет Лицей. Сад есть ли при нем? А с кем ему в том саду гуляти?

Еще чуть-чуть, слово — дивчина откроет калитку, чтобы ему было с кем в саду погулять. Не ко времени и не по месту. Шурик сделал вид, что не понял зазывной шулки, поблагодарил, насутился деловито и пошел.

Под мостом — низким-низким, к самой речушке — вода стоячая и зеленая. Чуть-чуть ближе к левому берегу сочится проток. Берега заросли кувшинками и айром, между круглых листов глупо и неподвижно смотрят круглыми глазами круглые лягушечьи головы. Почему-то запомнилось. Ворота он сразу нашел. То-есть ворот, собственно, не было, ворота были сняты или разбиты: стояла одна только арка, показавшаяся Шурику огромной и нелепо-триумфальной. Может быть, так оно и есть: он торопился.

За аркой, далеко в глубине, огромный и мрачный корпус, правее — какие-то флигеля; деревья повсюду — и справа, и слева, и за корпусом. Что считается садом?

Он прошел, озираясь, — людей не было видно, — мимо корпуса по полузаросшим дорожкам, сырым от большой и раскидистой тени очень старых, замшелых деревьев. Сад, конечно же! Но Павла не видно. Сад глухой, лопухи чуть не в рост человека. Рогатый кустарник цапает, ветка за веткой. Окликнуть? Дикость: Шурик забыл, как по паспорту имя Павлика! Но искать — недолго. Сад не глубокий, через каких-нибудь тридцать-сорок шагов — забор, высокий, зияющий брешами вырванных (на топливо?) досок; за ним — другой, уже другого владельца, другого, наверное, назначения парк: потому что он расчищен, дорожки засыпаны гравием, скамейки там и здесь — сквозь проломы видно далеко. На ближайшей скамейке, под каким-то раскидистым деревом, близко и робко, наклонив друг к другу головы, — очень юная, ужасно юная, — будет ли им вдвоем тридцать три? — пара. Он — в коломанковой гимназической блузе, обе руки крепко засунуты за лакированный черный пояс-ремень; она — в расшитом по-украински платице. Чертит кончиком зонтика — голубого — какой-то знак на песке. Романтика! Для кого и на что? Павла нет. За проломом искать не приходится: видно до речонки и моста.

Шурик пошел, огибая дорожкой сад и ища по лопухам и кустам встревоженным глазом. Если Павел запутался, ждет

в другом месте... Владек не будет знать, что ему делать, в чемодане — шашки и шнур... Если возьмут... по тревоге...

От клумбы, против заднего фаса (клумба тоже запущена, заросла какой-то травежкой), Шурика окрикнул беспокойно и строго старческий надтреснутый голос:

— Виноват. Вам, собственно, что угодно?

Сюртук — парусиновый, полосатые брючки, борода — седая и длинная. От глаз, заслоненных очками, к вискам — добродушную сеткой морщинки.

Шурик не сразу нашелся: как конспирировать? За местного выдать себя, во всяком случае, глупо: в Нежине — это было видно еще там, на площади — не только люди — крысы, и те, наверное, меченные. Он поклонился, по-непенински:

— Я командирован из Киева. И... меня просили, то-есть поручили зайти в Лицей и узнать: не было ли здесь при эвакуации и... при занятии Нежина каких-либо, как сказать, эксцессов... и вообще?

Старик посмотрел сквозь очки, подозрительно.

— Очень рад. Разрешите представиться: я инспектор классов Лицея, то-есть бывшего. Сейчас нет классов и нет Лицея, как вам, конечно, известно. В отношении эксцессов, — с удивлением и, если угодно, с сожалением даже, — но должен констатировать, что за время большевистской власти — хотя здесь была расквартирована их красноармейская часть — никаких оснований для жалоб мы не имеем. И даже, если угодно, напротив: к дверям библиотеки, — вы, может быть, изволите знать: здесь библиотека исключительной ценности, — они приставили часового, для охраны, ей-богу! И в отношении классной мебели и пособий... Правда, там, где стояли кровати, на стенках остались рисунки... искусство пещерного века, не ближе по времени... но забелить не трудно, притом все равно надо будет дезинфицировать...

Шурик еле слушал инспекторскую бесконечную болтовню. Но надо дать выговориться: удобнее будет спросить.

— Это я говорю, конечно, так сказать, неофициально, — перебил внезапно сам себя старик, словно спохватившись. — Ежели по политическим соображениям требуется наличие эксцессов, — я, конечно, по долгу службы, с удовольствием дам соответственные показания.

— Нет, зачем же? — сказал Шурик, осматриваясь. — Мне нужна правда прежде всего.

— Та-ак, — протянул инспектор. — А вы, разрешите спросить, от какого учреждения?

— От штаба генерала Бредова, — сказал Шурик как можно суровее. — Это весь ваш парк, или есть еще где-нибудь садовый участок?

— Больше нет. Любопытствуете узнать, где именно гулял гениальный юноша Гоголь? Жаль, что вы не пришли на полчаса раньше.

— А что? — насторожился Шурик.

— Да тут из Харькова приехал писатель один, — фамилии я не запомнил: память стала слаба. Это вполне отчасти понятно: события! Да, я говорю, специально приехал писатель осмотреть парк и гоголевские места: пишет книгу.

— Где он? — быстро спросил Шурик. — Я знаю, мы ехали вместе, и даже хотели вместе сюда, но разминулись в городе.

— Мы его уже проводили по парку и все рассказали подробно. Вот под этим каштаном особенно Гоголь любил... Пожалуйте!

— Нет, благодарствуйте, я тороплюсь: мне надо к этапному поезду. Кстати, и этот писатель просил ему сообщить... Где он сейчас?

— А кто его знает? — добродушно ответил старик и почесал нос. — Мой помощник, Милонов, Иван Никитич, повел его еще куда-то показывать: не то в главное здание, не то в тот флигель... где юноша...

— Вот он!

Шурик рванулся. В самом деле, из-за угла медленным шагом, от флигеля к главному зданию, — Павел с каким-то еще более древним, чем этот, тоже в парусиновом сюртучке, старичком.

— Он самый, — кивнул инспектор. Но тут случилось странное. Павел, увидев Шурика и инспектора, пожал торопливо спутнику руку, приподнял шляпу и быстро пошел к воротам.

— Псст, псст! — зашлепал губами вдогонку инспектор.

Шурик окликнуть не мог: проклятое имя выскочило из памяти. Делай, что хочешь. Не кричать же: «Послушайте, вы, писатель!»

— Что он, вас не узнал? — спросил недоуменно старик. — Смотрите, как он торопится.

— Он вообще, поскольку я мог заметить в дороге, не совсем... — Шурик повертел пальцем у лба. — Я его догоню все-

таки, поезд скоро уходит, второго не будет сегодня, а ночевать в городе негде.

— Помилуйте! — старик взял Шурика за рукав. — А у нас? Помещения — сколько угодно. Почтем за честь. Иван Никитич, вороти писателя. Они ищут, где ночевать. Мы же чудесно устроим.

— Благодарствуйте, но, право же...

— И слушать не будем. Не пушу. Мы сейчас самоварчик. Иван Никитич, скорее! Да оклики же их! Псст, псст!

Павел был уже за аркой. Инспектор держал рукав Шурика обеими руками, настойчиво. Шурик дернул рукой, забыв всякую вежливость.

— Я должен итти, — сказал он официально, не допускающим возражения тоном. — Я уже имел честь вам сообщить: у меня командировка. Долг службы. Имею честь...

Он приложил руку к шляпе, военным поклоном, обогналковылявшего еще к арке, Павлу в угон, второго парусиновогостаричка и побежал по пустой дороге. Он догнал Павла уже за поворотом.

— Я тебя вздую самым настоящим образом. Было сказано: в парке. А тебя куда занесло?

— А я что сделаю, если они меня у самого дома словили. Хорошо еще, ты поздно пришел: они меня сволокли сначала библиотеку показывать. Вот въедливые!

— Сейчас тоже! Отчего ты не подошел? Чуть меня не засыпал!

— Н-на! Почему я мог знать, что ты там такое наврал? Подойди я, — пожалуй, засыпались бы еще хуже, оба. Выдрались — и ладно: все равно в этом доме второй раз не быть. Что у вас в штабе?

Шурик передал. Павел взглянул на часы. Время — как бешеное. Пожалуй, что не успеть дойти до вокзала. Бежать невозможно, а если еще попадешь опять не в ту улицу...

Мост. Палисадник. Из палисадника — женское полное, веселое лицо. Шурик улыбнулся ей, как знакомой. Свернули вправо, по улочке.

— Выйдем на главную, — сообразил Шурик. — Если извозчики в городе есть, — они, наверное, на главной, а если нет, то по ней ты пройдешь на шоссе, я — на площадь.

Свернули и вышли. Той же дорогой, что шли к Лицейскому саду, от штаба. Едва они вышли, слева, издалека, — конечно же с площади, — взревели медными глотками кирасирские трубы: обед начался, очевидно.

Бабы не было у перил. Часовой, у штабного подъезда, стоял посреди мостовой, закинув винтовку за плечи и смотрел в конец улицы: там, сплошную стеной, жались к соборной площади неприглашенные нежинцы. Толпа была довольно густая.

Славься, славься, наш русский царь...

По улице — ни извозчиков, ни прохожих: все оттянулись к площади, если и были. Только по той стороне, по панели, от шоссе, шел одинокий и немудрящий солдатик, в обмотках, в залатанной пегой шинелишке, подвернутой лапами под кушак, в рыжей, сваявшейся репьем папахе.

25

Солдатик оглянул обоих зоркими, рысьими глазками, сошел с панели, подошел к часовому, и тотчас — почему? не понял ни Шурик, ни Павел — часовой, дернув шеей вперед, осел, как мешок, на булыжник. Винтовку, без звона, перехватил солдат в рыжей папахе. Он оглянулся — и только тут увидел Шурик и Павел: по улице, неторопливо и даже как будто понуро, шла на них кучка людей, человек тридцать, а может быть сорок, в таких же точно окопных затрепанных шинелях и папах, подволакивая за собой сонно пристукивавшие колесиками пулеметы. Винтовки, без штыков, за спиной, смотрели дулами в небо. Молча, без шума, передвигая тяжелые ноги в обмотках, не шевеля головами, как неживые, они протянулись мимо, обошли труп на дороге. Солдат, дожидавшийся, примкнул к правому флангу. Павел сжал Шурику руку.

— Почему они нас не убили?

Попржнему, в прорези улицы, замыкая живыми воротами выход на площадь, пучились затылки и спины. Кое-кто оглянулся: отряд подошел уже близко. Потом потеснились, в брешь засветился просвет. Трубы взыграли бодрее, точно праздную встречу. Шурик увидел: один за другим пулеметы, вздрогнув, ожили, двинулись сразу, бешеным ходом, вскачь по камням, заворачиваясь острыми клювиками вперед, на простор, на трубы... За ними ожили люди. Винтовки с плеч, бегом, цепью... Гимн

оборвался диким взрывом одинокой оставшейся смертной трубы, площадь дрогнула стоном — и ответом на стон, впереводку, вдогон, захлебнувшись кашлем, ударили с паперти пулеметы...

Рельсы и стрелки! А Владек на станции так и не знает!

Шурик бежал, далеко позади оставив зашибшего ногу, охромевшего Павла. Мимо, к свороту, осыпая дорогу взбрызгами грязи и гиком, мчались во весь опор из города прочь, на неоседланных лошадях, кирасиры, без оружия и шапок. Глуша трескотню винтовок и пулеметов — на площади, на дальних углах, слева и справа — стлался по улицам гул криков и топота.

В домах стучали засовы. Из палисадников, вдоль по шоссе, с осторожной глядели из-под платков женские лица на пластавших коней по камням, в беспамятьи, всадников, на бежавших — конскому ходу в угон — пешеходов. Шурик стал отставать: от долгого быстрого бега перехватило дыхание.

За огородами, за дальними изгородями — не видно, но близко — ударила пушка. Бьет по городу Палецкий.

Конные скрылись за поворотом шоссе. Неподалеку засвиристел, надрываясь, паровозный свисток. Пешие сбавили ходу — сейчас будет станция... Самые дальние, у поворота, стали, внезапно, на месте. Навстречу блеснули штыки. Цепь... по дороге и дальше... за канавой, по грядам, — крылом забросившись к лесу... За цепью — вторая... Свои? партизаны Палецкого? Станцию взяли? Нет. Погоны на гимнастерках. Откуда? Ведь там — одни осетины!

Шурик переждал у забора. Теперь — все равно: пропустили.

Цепи прошли. За ними, колыша штыки, сомкнутым строем, густой и глубокой колонной, шаг в шаг — большая пехотная часть: полк, батальон? Следом, унос за уносом, пушки.

Еще раз гукнуло за огородами. В передней цепи, на фланге, что ближе к лесу, взметнул сигналом шашку офицер. К лесу! Кучками, звеньями, припадая за гряды, как будто под пулями. Но выстрелов нет ведь? Ни здесь, из-за изгороди, ни сзади, — где город.

Павла все еще не было видно.

Против станции, в конном строю, шашки наголо, стояла осетинская сотня в косматых, с длинным курпеем, папахах, и офицер, в черкеске, и мягких, как чулок, ноговицах, обшитых позументом, где надо и где не надо, горячил без нужды вороного,

до глянца начищенного коня. У платформы, красным, белыми крестами накрещенным слева направо строем, стоял эшелон, и из вагонов, гремя манерками, наспех прицепленными к поясам и каткам шинелей, прыгивали на песок, перекликаясь, еще и еще, — солдаты.

Ощупав в кармане центросоюзный мандат, Шурик осторожно обошел осетин и поднялся к станционному зданию. По платформе бегали люди, и начальник станции — сам, не помощник, как утром, — в красной фуражке, небритый и толстый, шел к аппаратной вприпрыжку между двумя офицерами, как арестованный, подволакивая левую ногу.

Владек сидел за столом в «пассажирской первого класса», крепко зажав чемодан ступнями ног: кругом сновали солдаты и служащие. Он кивнул Шурику, но не сразу заговорил, когда Шурик сел рядом за столиком.

Сел, потому что сейчас с чемоданом за водокачку, за стрелки, — шашки к рельсам и бикфордов шнур шаловливою змейкой... ни к чему. Пропустили. Если бы раньше, хотя бы на полчаса, под второй эшелон... хоть его бы спустили с откоса.

Подошел офицер, высокий, усатый: из тех двух, что были с начальником станции.

— Вы что... господа?

Шурик ответил:

— От штаба полтавского отряда, агенты Центросоюза, командированы за закупками. По тревоге бежали из города, ждем остальных двух. Старшему барон Таубе дал записку о предоставлении мест в обратном этапном. Но старший замешкался. А тот, что был со мной, ушиб себе ногу и... да вот он!

Павел подошел на поданный Шуриком знак. Он очень сильно хромал, но подушек не бросил. Документы оказались в порядке — у всех трех. Офицер кивнул, приказал буфетчику подать ему чаю. Не сюда, в комендантскую.

Время тягуче, когда ждешь. На станции томительно тихо. Давно уже откатили — на дальний запасный — пустой эшелон; осетины, командой, спешились и отвели лошадей за платформу; кирасиры, в строю, ушли назад в город. В буфете фырчал, дую паром сквозь крышку, третий уже самовар.

Еще раз прошел в аппаратную станционный начальник и вышел, фуражка в руке, обтирая платком в три борозды лежав-

шую над тугим воротником красную шею. У водокачки заиграла гармоника. Ждать больше нечего. Будни.

— Где комендант?

Все трое оглянулись на голос. Он, конечно же, Ананьин Данила, в английском туристском костюме, в гетрах. Кивнул молодежи и прошел, вслед за солдатом, в дверь в глубине, рядом со стойкой.

Владек и Шурик нахмурились еще тяжелее. Сейчас он им скажет: на них вина — или нет. Потому что, когда неудача, кто-нибудь виноват, обязательно. Неудач не должно быть. Кто виноват: они — или нет? Товарищ Данила скажет, наверное, правду: со своими он человек совсем беспощадный.

Ананьин вышел с тем капитаном, что проверял документы. Офицер улыбался любезно и разводил руками.

— Чем богаты, тем и рады! Обстоятельства военного времени... Не могу сделать лучше, даже по посмертному, так сказать, завещанию.

— Барона хлопнули все-таки, — сказал Шурик Владеку. Владек поднял ресницы: какого барона?

Ананьин подошел наконец к своим. По глазам — не понять: очень ли плохо, или все же хоть как-нибудь обошлось?

— Вы что же это чаю не пьете? Поезд еще через час, не раньше, ... если пойдет вообще. Хотя комендант уверяет, что выйдет без опоздания. Билетов брать не надо: отправляют в штабном, как командированных. Что ж — четырнадцать рублей экономии в кассе. Хоть это...

И всем стало сразу ясно: Ананьин гневен — на смерть. Но спросить прямо, спросить о себе нельзя: кругом люди. Пока разошлись, пока остался один буфетчик за стойкой... говорили об огурцах: триста тысяч в засоле, но сбыту не будет. Кому и на что сейчас соленые огурцы?

Старушке на Пушкинской?

Шурик, глядя в глаза отца виновато, рассказал про Лицей и про то, как прошли партизаны по улице. Павел опять повторил:

— Почему они нас не убили?..

Рвать дорогу не надо было: камень с сердца! Ананьин наконец смог рассказать. Все дело сорвали носовцы. Тамошних (у Богунца там организация есть, из местных крестьян) мы предупредили, что на Нежин будет удар, чтоб на случай держались в готовности: в Носовке — бригада артиллерии на би-

вуаке. Ну, по своей ли инициативе, или это Иконов напутал, только в ночь, не дожидаясь событий под Нежином, они попытались своими силами захватить артиллерию. Но артиллеристы отбились. Палецкий с отрядом был в лесу — неподалеку: он выслал часть людей на поддержку, их отбили с уроном. Словом, партизаны ввязались в дело, и, в конце концов, им пришлось отойти. Часть ушла за дорогу в дальний лес. У Палецкого под руками осталась, в сущности, горсть. Сначала, на свиданьи у моста, он вовсе хотел отказаться от налета на город. Потом решили все-таки хоть слегка попугать. Поэтому двинулись тотчас же, не дожидаясь Данилой данного срока: все равно, рвать пути было незачем. Даром рискнули бы головой. Город занять было нечем.

Паника вышла здоровая, но наши чуть-чуть не зарвались. По носовской тревоге из Киева, оказалось, выслали спешно пятнадцатую пехотную дивизию, с артиллерией... Она докатилась до Нежина. Ну, остальное вы видели сами... Нет, не отрезали. Николай Порфирьевич, или как вас там, не пыняйте чехоманчик ногами: поцарапаете кожу. Он ни в чем не повинен.

Поезд на два часа запоздал. Но комендант сдержал обещание. Места дал в штабном. У двери вагона стоял часовой, в самом вагоне — охрана: семь солдат, два пулемета. Кроме охраны, было еще шесть дам и два пожилых господина в краснооколышных дворянских фуражках. Ту даму, о которой говорил полковник, Ананьины опознали сразу: она как только вошла в вагон, сразу сказала погрузившимся раньше:

— Бедный полковник!..

Шесть дам и двое мужчин говорили немолчно, всю дорогу, и ели, угощая Ананьиных и Владека. Владека особенно, потому что он красивый и крепкий: крепче Шурика. Шел дождь, унылый и мелкий. Шурик слушал дамскую болтовню и думал: «Эх, если бы да на поезд ударил из леса Палецкий!»

Но Палецкий не ударил. Доехали. Поздним вечером, почти ночью.

Шурик вышел на мокрую платформу, на сырой, мозжащий прогнилью грязного песка и паровозной нефти воздух, хмурый и усталый от вагонной качки и восьмичасового верещанья противных и чужих голосов. И почему-то неприятно было поду-

мать, что на Пушкинской сейчас, в столовой, тепло и уютно, на белой скатерти чинно расставлены расписные тарелочки и чашки, масло — рубчатыми шариками, варенье — в хрустальной вазочке, а за стеною, в соседней комнате, играет на рояле Алина.

26

Алина не играла на рояле; она была со всеми в столовой. Но все остальное было именно так, как ждал Шурик: варенье — в хрустальной вазочке, масло, тарелки и чашки, белая скатерть. Лика глянула удивленно, когда Шурик вошел.

— Уже?

Шурик разъяснил: фронт. На Нежин был налет, партизанский, и на Носовку тоже. Вообще на том направлении дела плохи. Это, конечно, совсем между нами (сказал он нарочно, чтобы рассказали соседям). О закупках думать нечего при такой обстановке. Пришлось сейчас же вернуться. Алина спросила:

— Это при вас было, налет?

— При мне, — ответил Шурик неохотно, потому что от Алины особенно сильно, — ему так казалось, по крайней мере, — пахло духами, и это напомнило ему крашеную даму и самосуд.

— Вы расскажете, да? Садитесь!

— Ему надо прежде всего умыться с дороги, — сказала Лика. — Идите, Николай Авксентьевич! Параска только что подала самовар: подождать нам не трудно.

В столовой неприятно; но и здесь, в пустой и огромной комнате, неприятно. Шурик ополоснул торопливо руки и лицо, пристегнул свежий белый воротничок и вернулся. Старушка уже наложила варенья на блюдечко. Вишня, без косточек.

— Значит, и огурцов не купили?

Шурик рассказал об артели, засоле трехсот тысяч огурцов на сто тридцать пять тысяч. Никто не берет: ни Центросоюз, ни добровольцы. Алина ждала, жуясь.

— Расскажите же о налете! Это было очень страшно?

— Но мне нечего, в сущности, рассказывать, — ответил Шурик. — Ничего особенного не было. Партизаны подобрались, убили часового у штаба.

— Вы видели, как убили?

— Да, это было, случайно, как раз у меня на глазах. Я проходил в это время по улице. В сущности, я это только и ви-

дел. Потом они ушли за угол и обстреляли добровольцев из пулеметов: на площади был в это время парадный обед. Но я стрельбы уже не видел. Все побежали — и я тоже побежал: на станцию. В это время из Киева подошли эшелоны, и партизаны отступили обратно в лес. Вот и все.

— Так можно из всего сделать ничего, — сухо сказала Алина. — Так о самом волнующем и самом важном можно написать в две строки: они встретились, он и она, полюбили друг друга, потом умерли. И назвать эти две строчки: «Ромео и Джульетта». Так жить нельзя! И не пробуйте делать вид, что вы живете так, по-бухгалтерски. Я все равно не поверю. Честнее было бы прямо сказать: у меня на душе — записка, которую я получил... и девушка, которая ее принесла, и я не хочу разговаривать.

— Алина, — укоризненно покачала головой старушка. — Что за тон, и почему Николаю Авксентьевичу...

— Какая записка... и девушка? — спросил Шурик и оглядел всех. — Я не понимаю.

Лика удивилась в свою очередь.

— Я положила на стол конверт. Вы разве не видели? Принесла, правда, какая-то девушка.

Мара. Она одна знает адрес.

— Из Центросоюза? — Шурик пересилил волнение, но плохо. Устал. Наверное, видно.

Алина засмеялась, обидно, и вышла. Зачем он сказал: конечно же, глупо. Почему из Центросоюза.

— Может быть, важное что-нибудь, — заботливо обратилась к нему хозяйка. — Прочитайте, не стесняйтесь, пожалуйста!

— Нет, — как можно, равнодушнее ответил Шурик и подвинул стакан. — Успеется. Если разрешите, — я еще выпью. С дороги — жажда.

Конверт, в самом деле. Как он тогда не заметил, сразу? На видном месте, серым квадратным пятном — на малиновой плюшевой скатерти. Почерк — мужской, незнакомый. Перед «Непенину» поставлено было сначала «А», а потом переправили в Н. Безобразия!...

Записка в две строчки:

«Семущка заболел. Отвезли в приемный покой.

Васильев».

Семушка взят. Заболел — арестован. Для подполья термин обычный: подполье только одну и знает болезнь: арест. Потому что Шурик может захворать, но Непенин не может: Непенин может быть только арестован: болеть будет Шурик.

Семушка взят — значит, Семушки нет. Из контр-разведки живым не выходят. А Семушка был в типографии: не той, что на Демиевке, а во второй: в подполье спустили две типографии. Отец когда-то рассказывал: за подпольные типографии царские расправлялись особо жестоко: слово опаснее бомбы.

Семушку Шурик знал мало: он старше гораздо годами и к большевикам перешел недавно от эсеров: в царское время был террористом, снаряжал бомбы в Б. О. (боевая организация). Сам он агроном. Товарищи всегда улыбались, когда говорили о нем: «фосфатики»! У него к фосфатикам — к фосфорным удобрениям — страсть: фосфаты — его специальность. Но раньше, чем заняться фосфатами, по специальности, надо было поле расчистить: бомбами, стачками, теперь — революцией, гражданской войной: докorchевать до последнего корня. Так и не довелось: «заболел», «приемный покой»... Он был тихий и скромный — Шурик помнит по партийному клубу: он выступал там несколько раз. Пенсэ на черном шнурке, веснушки на лбу и щеках: Семушка.

Самый тихий и — вот, первый ушел. Один? Или Зайдель (если Мара была, значит, Зайдель — Васильев) хотел оповестить не о людях, а о типографии: знал, что Шурик поймет: если Семушка взят — значит, взята типография.

27

Именно так и писал Зайдель: не о людях, о типографии. Утром, поторопившись на явку, Рейтарская, шесть, Шурик не увидел в окне свечки в бутылке — знака, что можно входить. У ворот стоял человек: он был подозрительный, и то, что он вовсе и не поглядел на Шурика, когда тот проходил, было еще подозрительнее. Шурик пошел в дальний обход, к Лукьяновке — там улицы глуше, там легче заметить, следят за тобой или нет; долго сидел на каком-то обрыве, в чьем-то саду — забор был обрушен, войти можно было свободно. Но подозрительный так и остался стоять у ворот, за Шуриком никто не пошел, слежки не было: это наверное. Он спустился назад, прошел по Мстиславской к трамваю, доехал до центра, до маленькой одноокон-

ной кофейни, в которой обедал в первый день оккупации. Долго сидел: в Мариинский парк, где условлена явка на случай «тревоги», можно было идти только в четыре. Когда Шурик пришел наконец, — Зайдель ждал.

Он рассказал, очень медленно и точно по книге: словно читал рассказ.

Взяли всех четверых, бывших на первой подпольной. Марусю, — она жила при квартире хозяйки, прислугой, — не взяли; был только допрос, очень поверхностный — обещали вызывать еще: от нее Зайдель знает подробности, потому что арест был при ней.

— В контр-разведке о типографии все было, наверно, известно заранее, в подробностях, потому что вошли они в квартиру уверенно, как в собственный дом, арестовали Семушку и Кондратьева, подняли пол в подвале, где были кассы, пресс и все остальное. Без поисков, прямо: я говорю — на готовое. Не нашли только рукописей.

— Ну, хоть это.

— Постой! — брезгливо сморщился Зайдель. — Я не кончил. Старый контр-разведчик поймал тут же, в зале (они вернулись в квартиру) гимназистика, сына хозяйки, и подвесил его на закрученных сзади руках к крюку в потолке. Мальчик закричал не своим голосом. Его встряхнули раз и другой.

— В комодѣ у мамы.

Мама стояла здесь же, у притолоки. Офицер обернул к ней усатую голову (Зайдель так и сказал: «усатую», — словно он сам это видел). Она поблѣднѣла. Он ударил ее коротким размахом в зубы и пошел развалкой в соседнюю комнату, где был комод, приказав встряхнуть гимназиста еще раз: может быть, еще что-нибудь да припомнит.

Нет, не припомнил. Но в комодѣ нашли листки, и сверху, особой строчкой, в правом углу было написано, на каждом:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Офицер сказал тогда:

— Вот-с, и документально доказано: большевики.

— Почему же обязательно большевики? — спросил Шурик, стараясь — зачем? — поймать хоть какой-нибудь довод к тому, чтобы с ними могли не покончить, с Семушкой и с остальными. — Это же общий социал-демократический лозунг. Зачем обязательно большевики?

Зайдель пожал плечами.

— Кого ты сейчас думаешь ввести в заблуждение? Я — полевой суд, а ты — адвокат? Нелепо! Меньшевики в Думе, в союзах, где еще? Кричанский, который при нас был в подполье, хотя его никто не искал, пишется теперь через мягкий знак и ратует в «Промін'е» за рідну школу. Все социал-демократы легальны: в подполье одни только большевики. Это даже самому глупому офицеру вполне ясно.

Шурик молчал. Жалко Семушку и очень жалко хозяйку. И сын... если ее повесят... А если нет, — может быть, наверное даже, будет еще хуже: как жить матери и сыну, когда сын выдал мать? Теперь все равно.

Зайдель вздохнул и добавил:

— Я был сегодня на явке Цека. Старшие совершенно уверены, что здесь провокация. Они пришли, я сказал уже, как в свою собственную квартиру. Все это надо выяснить. Может быть, они еще кого-нибудь знают...

Может быть, именно его, Шурика, знают. Верно так, потому что Зайдель смотрит на него соболезнующе. Очень странно.

— Так или иначе: комитет распорядился, пока не удастся локализовать провал, приостановить работу...

— То-есть как приостановить? — Шурик вздрогнул.

— Конечно! Мы же рискуем дать им нити в районы, к низовым ячейкам. если за нами следят.

— Приостановить? — повторил Шурик. — Но это же будет нестерпимо. У меня и так нет никакой, в сущности, работы: разве в железнодорожном работа сейчас? А тут что же будет? Сидеть дома и думать, возьмут меня или не возьмут.

— Если ты будешь так думать, тебя, наверное, возьмут, — с уверенностью сказал Зайдель. — Это как на канате: если канатчик, когда он идет очень высоко над ареной, подумает, на середине или где еще, что он упадет, — он упадет раньше, чем кончит думать. Если ты не можешь просто, представь себе тогда, что тебя посадили в тюрьму, и ты можешь только учить итальянский язык или стенографию: что-нибудь для времени. Но Мара говорила: у тебя там красивые девушки. Будь с красивыми девушками: это будет конспиративно.

Зайдель ушел первым. Шурик выждал.

Пока на Рейтарской не будет свечки в бутылке, — ни на явки, ни в район: значит, только кафэ и Пушкинская. В самом деле, «быть с красивыми девушками?» Мара — про Алину, Алина —

про Мару. Женщины! Теперь совсем надо быть Непениным. Непенину легко, если у него будет только кафэ, может быть, еще кино или театр — и девушки. Но чем больше Непенина, тем меньше Шурика: один толкает другого. Не как у отца: отец всегда один, даже когда лицо у него такое, как было в Нежине, когда он говорил с полковником. А у него — или один, или другой: как на качелях.

Непенин, кафэ, девушки. Зайдель сказал не плохо. Только не девушки, а девушка: одна. Лица не подойдет Непенину. Лику, если закрыть глаза, сейчас же увидишь, совершенно отчетливо: и лицо, и брови, и волосы, черные, в две косы; а если закрыть глаза и подумать: Алина, и даже повторить: А-ли-на... — увидишь тоже, сейчас, грудь, плечи, губы, нос, волосы... чьи? Может быть, ее, а может быть, и не ее, потому что у каждой женщины есть губы и нос и уши. — маленькие, под завитками волос, — и грудь... Наверное, если не об Алине подумать, а о какой-нибудь другой, о совсем незнакомой женщине, — увидишь совсем те же нос, губы, волосы, грудь. Со- всем те же.

Поэтому Непенину нужно с ней: это ничего, что от нее пахнет духами, так что голова чуть-чуть кружится, когда стоишь близко, а потом, когда уйдешь и вспомнишь, становится противно. Это Шурику противно, а будет с Алиной Непенин. Непенин, которого нет. Алины тоже нет. Поэтому о ней можно как угодно думать. О Лике — нельзя, потому что у нее лицо, тело, руки, ноги — все свое, все на самом деле есть, и когда о ней думаешь, — она вдруг, хочешь ты или не хочешь, поворачивается и куда-то уходит, и ее никак нельзя удержать. Алине — некуда идти, потому что она ненастоящая, а так, вообще... Наверное, так. И теперь, когда обязательно надо не думать о провале, о Семушке, о красных разбитых губах на бледном лице, о своих, и о том, что тебя могут взять и подвесить, как гимназиста, или расстрелять, как Семушку... Лица, вот, как только он глаза открыл, сейчас же ушла, только косы качнулись на ходу, и сколько ни зажимай теперь век, — не вернется, ушла к себе, не вспомнить. А Алина же, в мыслях, стояла неподвижно, пока он был под каштаном в парке, и пошла впереди, перед самыми глазами, когда он направился после Зайделя, спустя много, вниз по спуску к Царскому саду.

Он шел уже долго. И Алина действительно шла перед ним. Не в мыслях (в мыслях это особо, это не важно), она шла на

самом деле, настоящими шагами, по настоящему тротуару, в серой, легкой шляпке, с серой замшевой сумочкой. Он увидел ее — перед собой — почти около генерал-губернаторского дворца. И сейчас же, не думая, прибавил шаг, чтобы нагнать, пойти рядом, заговорить.

Но раньше, чем он догнал, она свернула вправо, в тупик, где стоит дворец.

Дворец — в глубине двора, за высокой решеткой, за высокой ажурной прорезью ворот. У ворот — будка: часовой. Гулять здесь нельзя. Но Алина шла уверенной легкой походкой прямо к будке, на часового. Шурик остановился на углу. С ним вместе остановились еще два прохожих. Оба они были молодые и франтоватые и смотрели Алине вслед нагло и жадно.

Один прищелкнул языком и сказал:

— Классная женщина!

Шурику захотелось ударить его по лицу, хотя он и не понял, что такое: «классная женщина». Франт вообще был противный, непереносно. Но Шурик его не ударил. Он продолжал смотреть, вместе с теми, вслед гибкой, чуть-чуть покачивавшей крепкими бедрами стройной фигуре и слушал дальше.

Второй спросил:

— Кто такая?

Первый ответил:

— Чорт ее знает! Я ее сколько раз здесь видал. Она всегда в это время проходит во дворец. Но заговаривать самому — этот номер с такой не пройдет: порода! Спросить часового, — не скажет.

— А ему откуда знать?

— Во дворец только по пропуску. У этой царевны пропуск есть постоянный. Она всегда идет прямо, не заходя в комендатуру.

И в самом деле: Алина подошла к часовому, вынула из серенькой сумочки белую карточку. Часовой сейчас же открыл перед нею калитку. Но раньше, чем она прошла, навстречу ей вышел толстый и осанистый офицер, и, с конца тупика, к воротам двинулся один из стоявших там автомобилей.

Франт с Шуриком рядом присвистнул опять противно и нагло, и Шурику опять захотелось ударить его по лицу.

— Те-те-те! Это будет посерьезнее. Ты знаешь, этот полковник кто?

Полковник радостно козырнул и, подбирая подтянутый серебряным рубчатым шарфом живот, поднес к губам Алинину тонкую руку. Издалека не видать, но Шурик был совершенно уверен: они улыбаются оба. Шофер, застопорив, ждал.

— Начальник контр-разведки.

Шурик сразу не понял. Но Алина прошла наконец ворота— легким шагом по дорожке, вокруг клумбы. Полковник смотрел ей вслед и покачивал головой одобрительно, наверное, тоже так: «классная женщина». Алина поднялась на ступени, дверь, раскрывшись, сверкнула на солнце зеркальным огромным стеклом. Ушла, но... в памяти сейчас — по-другому: не как раньше — без лица, без тела, непенинская. Она стала, как Лика. Шурик увидел ужасно ясно глаза с продолговатым жутким разрезом, серо-зеленые, с переливчатой сменой света и тени, выпуклый лоб над узкими, бледными бровями, тонкие губы под тонкими, хищными крыльями носа, плечи под желтым, ярким шелком и очень высокую грудь. Она, как и Лика. Значит, Непенину делать здесь нечего. И верно! генерал-губернатор, начальник контр-разведки, «сколько раз здесь видал», «по постоянному пропуску», — об этом не Непенину — Шурику думать. И думать подпольно думую.

28

Агент Драгомирова? Шпион? И тут, совсем рядом. Как в лесу, в зарослях, когда на ходу услышишь: близко-близко где-то прошуршала змея по валежнику, не досмотришь—ужалит. Тебя же самого — насмерть, в пятку. Надо выселить и задавить. Через три-четыре дня он чуть было не сказал Владеку: они свиделись в Царском саду, но не сказалось, и не сказалось — странно. К Алине все эти дни было злое и темное чувство: до ненависти. А когда захотел рассказать Владеку, — сам себе удивился: как это в голову даже могло притти, что Алина агент, что она в контр-разведке, служит «тем» — и самую гнусною службой. Стало стыдно за то, что подумалось так о ней: мало ли какое может быть дело у нее к Драгомирову! Может быть, хлопчет о ком-нибудь, или... С полковником там же могла познакомиться, у генерала. Может быть, она даже не знает, кто он такой. Даже наверно, не знает.

Он ничего не сказал Владеку, и когда расстался с ним, стал ходить, как ходил ежедневно, по улице, неподалеку от дворца,

поджидая прихода Алины. У него было тяжело на сердце, как будто сегодня, в отличие от того, что было вчера и позавчера, он делал стыдное и гадкое дело. Шпионит!

Она пришла и сегодня, как приходила вчера и позавчера. И как только Шурик увидел ее, легкой и быстрой походкой шедшую к воротам, белая карточка в перчаткой обтянутых пальцах, — прежнее темное, злобное чувство опять загорелось прежним, уверенным темным огнем. Нет, здесь не хлопоты, здесь не знакомство, здесь — дело. Но какие дела могут быть у красивой девицы из общества с контр-разведкой и генерал-губернатором?

Любовь? Флирт? Роман? Какие еще слова есть... для похоти? Шурик вспомнил. Два раз за те три-четыре дня, что он, как вор, сторожит ее шаг, — он встречался с нею лицом к лицу, при ее возвращении (она никогда не возвращалась прямо домой, всегда шла дальним обходом — через Царский сад, или дальше еще, поднималась на Владимирскую горку). И оба те раза она его не заметила, хотя прошла мимо, задев его платьем, пахнув на него знакомым теперь, привычным уже запахом острых духов. Глаза были пьяные, да, да, он видел их... на секунду. Но кто видел девичьи глаза пьяными хоть на миг, — их никогда не забудет. Глаза были пьяные. И на щеках, на висках, на лбу — красные пятна, как след поцелуев, слишком жадных, вжигавших след. Мысль об этом, тогда — о любовном — ожгла, но только на миг: потому что белы, как кипень, были открытые руки и плечи, и походка была спокойной и ровной. Только лицо. И потом — был день. Разве день избирают когда-нибудь для любовных утех, и где! В генерал-губернаторском доме. Разве ходят на любовные свидания по постоянному пропуску в казенные, присутственные часы? Но если не любовь... что? Агентура?

Шурик следил. Шурик совсем перенес свою жизнь из комнаты-склепа в столовую, угловую, к хозяйкам; он обедал и ужинал с ними, читал, провожал их в кино. Он немного разведал: трудно следить, когда тебя знают: обернулась случайно — увидела. Алина не раз оглядывалась на ходу; видела Шурика. Приходилось сейчас же сворачивать, бросая след. Но в главном, да, утвердился. В генерал-губернаторский — почти каждый день. Раз встретил в автомобиле с двумя офицерами и штатским — ехали страшно быстро. Шурик едва опознал. И еще видел раз на Фундуклеевской около контр-разведки.

Все обрывки, намеками. Но надо же: твердо.

Лику спросить прямо? Лика, наверное, знает, потому что Алина подруга, а Лика такая, что ей нельзя не рассказать: все, все, что знаешь. Но Шурику Лика не скажет. Она, наверное, чувствует, что между ним и Алиной — какая-то странная, трудная, внутри затаенная борьба. Потому, что и Алина, как будто, следила за Шуриком. Не затем, где он бывает, а за тем, чем он живет. Шурик не раз читал девушкам вслух (романы, конечно, что же еще читать Непенину двум девушкам! — романы французских классиков чаще всего) и всегда во время таких чтений чувствовал на себе пристальный и недобрый взгляд серо-зеленых, с переливами света и тени глаз. Света и тени. Шурику доставалась только тень. И, приподымая свои глаза от страницы, он видел скорбные складки у Ликиных губ, как будто вот это, «что-то», неназванное, — ему и не подберешь названия, — но напряженное, давит ее, мешает ей вольно дышать.

Приходили иногда офицеры, сосед-камергер с женой, какие-то барышни. Шурик тогда уходил к себе, потому что не в этих знакомствах надо было искать ключ к загадке Алины. В один из таких вечеров, когда он ушел от гостей и взялся за книгу, в дверь постучали:

— Можно?

Голос Лики. Он вздрогнул; сам для себя неожиданно радостно. Лика хорошая и чем-то особенно близкая, с тех пор, как Непенина нет, Непенин не нужен, и остался только Шурик, очень одинокий в бездельи подполья, с подложным паспортом и очень-очень мутной душой. Лика хорошая.

— Можно, можно, пожалуйста.

Но Лика была не одна. С ней вошел, нагибая в поклоне седоватую голову, какой-то совсем незнакомый, в сюртуке. Лика представила: monsieur Истленев. Шурик тотчас забыл фамилию. Или не слышал — он смотрел на Лику: зачем?

Лика села к столу, и Шурик — хозяином — отодвинул кресло, предлагая пришедшему сесть. Седоватый слегка улыбнулся; сел, достал портсигар:

— Вы разрешите?

Не Шурику, Лике: точно она хозяйка. Впрочем, конечно же, разрешения курить надо просить у дам: Шурик читал в каком-то романе, совсем недавно еще, в угловой.

— Цель визита? Вы разрешите прямо приступить к делу. Мне так лестно говорили о вас... Да, вы не знаете, кто я. Я управляю одним из отделов совещания при командующем вооруженными силами юга России. Это длинно, не правда ли? Скажем короче: временного российского правительства.

Шурик оглянулся на Лику. Она, улыбаясь, кивнула.

— Я не вполне... я даже совсем не понимаю... — начал Шурик, но гость перебил движением руки, встал и прошелся по комнате.

— Мне так лестно говорили о вас, — повторил он. — Это дает право на полную откровенность. Я не буду об этом сожалеть, не правда ли? Ну, так вот. Нам в управлении нужны люди. Честные и преданные делу. Знаю, что вы, как говорили наши классики, непростительно молоды. Но время военное, а в военное время... сколько лет было Наполеону, когда он стал императором?

— Но я совсем не собираюсь стать императором, — очень серьезно, и потому очень смешно, сказал Шурик. — И я ровно ничего не знаю, годного для управления.

— Скромность, — приподнял ладонь Истленев, — есть украшение юношей, но я информирован. Вы окончили петербургский университет по юридическому факультету.

Проклятый липовый аттестат! Да, да, там записано даже римское право, не только другие всякие, вплоть до какой-то «энциклопедии»... Никакого понятия, хотя б приблизительного... Истленев язвил дальше.

— Смею вас заверить, в наших походных условиях мы располагаем далеко не крупным запасом лиц с законченным высшим образованием. И, согласитесь, со стороны правительства было бы, по меньшей мере, — ну, скажем, мягко, — беспечно допускать, чтобы окончившие университет губили свое время в каком-то Центросоюзе.

— Работа мне нравится, — очень твердо сказал Шурик и опять оглянулся на Лику. Она стала серьезной и смотрела чуть-чуть сощураясь.

— Закупка варенья! — отрывисто сказал Истленев и остановился прямо против Шурика. — Разрешите вам не поверить. Родина охвачена гражданской войной, весь мир напряжен, глаза всего мира устремлены на нас, лучшие силы России над... над... надрываются в труде по воссозданию государства, разрушенного происками анархистов, наемников немецкого кайзера, а вы, дво-

рянин, — и дворянин старого рода, я знаю ваш герб, господин Непенин, я кое-что смыслю в геральдике, — вы торгуете вареньем в Центросоюзе. Этому нет имени, — как говорил в одной из трагедий своих великий мастер слова. Сейчас...

Шурик молчал, собирая мысли. Исленев продолжал:

— В дни большевизма — да: я понимаю. Вам пришлось маскироваться, поскольку жизнь, очевидно, сложилась так, что вы не имели возможности присоединиться с первых же дней к тем, с кем вас связывает рождение, воспитание, прошлое и будущее. Вы могли надеть маску скромного агента. Варенье. Это очаровательно! В этом острая насмешка над режимом, при котором лучшие... да... вместо ваших знаний, ваших талантов — пожалуйста: вы сервируете им прокислое варенье развращенных ими селян. Это свидетельствует о тонкости ума. Я приветствую... но... — он посмотрел на Лику и улыбнулся торжественно и скромно, — поскольку мы, ваши, здесь... нельзя же длить эту игру.

— Я совершенно искренно заверяю вас, — глухо сказал Шурик, — у меня нет абсолютно никакого призвания к правительственной работе.

— Долг! — вразумительно поднял палец Исленев. — Момент повелевающий. Никто из нас не в праве уклониться от долга перед родиной. Закон освободил вас от воинской повинности, но не освободил от повинности крови. Кровь зовет, monsieur Непенин!

Алина — агент, — с уверенностью подумал Шурик. — Сведения обо мне — от нее. Она подслала этого, чтобы изобличить меня. Если я откажусь идти к ним на службу, сегодня же в ночь они арестуют меня. И она сама — обязательно сама, не доверив Параске, откроет дверь контр-разведчикам, когда они придут за мной.

Исленев вздохнул:

— Ваше молчание, я сознаю, производит на меня тягостное впечатление. Кругом нас — я разумею Особое совещание — слишком много молчат. Это признак тяжелый. Не для правительства, само собою разумеется, правительство преодолет, но для состояния тех, кто недавно еще был руководящими... На последнем заседании представителей общественных организаций мне пришлось прямо поставить вопрос: «Может быть, было бы лучше, чтобы снова пришли большевики? Неужели нужны еще новые, еще более жестокие уроки, чтобы люди на-

учились помнить не только о себе, но и об интересах государства?» Это была пощечина, но пощечина заслуженная, потому что триста миллионов рублей, которые нам необходимы, чтобы наладить государственный аппарат, где они? Когда большевики потребовали двести миллионов, — при наложении контрибуции на киевскую буржуазию, — эти деньги нашлись. Они нашлись, потому что эти господа боялись чека. А когда мы их же посадили в кресла, как почетнейших граждан, они кладут ногу на ногу и отвечают нам: «Кассы пусты». Позор! Для кого сейчас секрет, что мы живем... кружечными сборами, благотворительными кружками, которые барышни носят по улицам и в которые патриоты бросают... пуговицы и аннулированные советские деньги. Мы — между своими: я не считаю нужным стесняться...

— Вы преувеличиваете, мне кажется, — сказал Шурик. — Добармия субсидируется, и субсидируется в немалых суммах Антантой.

— Армия? — выкрикнул Истленев. — Пушечное мясо! Они оплачивают его на фунты. Я признаю высокий героизм нашего офицерства и их право на деньги союзников: они дерутся, как львы — не случайно бои продвинулись уже к московским подступам. Мы скоро будем в Первопрестольной. Но крохи, которые падают со стола генералов в наши портфели, все-таки слишком уж малы. Еще не время сказать: *cedant arma togae*, — бряцание оружия будет продолжаться еще долго, но одна армия еще не составляет государства. А без денег — как его строить? Их нет, а рассчитывать на гражданский порыв... не примите этого, ради бога, за личное, но на сегодняшнем нашем разговоре разве не ясно, каковы перспективы в данном направлении? Вы — из лучших: еще и еще раз подчеркиваю, то, что говорила мне о вас прелестная ваша хозяйка, гарантирует, что вы — из лучших. И, тем не менее, вы не идете навстречу. Настолько, что вы не поинтересовались даже, что бы мы могли вам предложить.

— Это было бы пустым любопытством, поскольку я ни в малой мере не подхожу, по самому искреннему моему убеждению, к тому, чего вы хотели.

— Вы не вполне правильно понимаете, как мне кажется Николая Авксентьевича, — медленно проговорила молчавшая до сих пор Лика. — Ведь речь идет о сегодня. А на сегодня — вопрос о правительственном... как вы называете его, я всегда спотыкаюсь на этом слове, — «аппарате», да? — не стоит так

остро. Я слышала как-то на-днях, что Черныш, председатель земской губернской управы, обходится не только без помощников, но даже без машинистки... В управлениях центральных тем более... нету... пока... никакой работы. Практически, что вы хотите предложить Николаю Авксентьевичу?

— Мне казалось, я был достаточно ясен: я отметил, что мы сохранили прежний строй управления: слава богу, он достаточно доказал свою годность, как раз для русских условий. Что же касается места в этой системе для господина Непенина, то ему свободен выбор, именно потому, что пока мы располагаем еще достаточным числом вакансий и можем предоставить кандидатам преимущество выбора: каждый может выбрать себе по интересу и силам. Вы... намекаете, что учреждения не работают? Mille pardons, это не основательно. Черныш — не пример. В его ведении губерния. Это, конечно, совершенная фикция, поскольку в губернию нельзя выехать: особенно сейчас, когда фронт подошел к Ирпеню. Но я говорю о центре: а центр законодательствует, невзирая на территорию.

— Фронт подошел к Ирпеню? — Шурик вздрогнул от неожиданности.

Он три дня не был в парке, не видел Зайделя и никого из своих. Значит, Ворзель, Буча — за красными... и мама...

— Временно, конечно, — поспешно сказал Исленев. — Это последняя новость, хотя завтра, я полагаю, это будет отмечено в сводках.

— Утром была слышна стрельба — с Ирпеня, — улыбнулась Лика, — и в сводке, наверное, будет сказано: ведь все равно слышно. Как вы не слышали, Николай Авксентьевич? Вот невнимательный!

— Если бы даже и не было слышно, зачем скрывать? — покривился Исленев. — Я, по крайней мере, не делаю никаких тайн. Это временный успех неприятеля и объясняется тем, что их Двенадцатая армия...

— Одесская? — спросил Шурик почти машинально.

Исленев кивнул.

— Именно. Прорвалась с юга и соединилась с северной группой противника. В сегодняшней сводке, которую я видел, подробно перечислены войсковые части красных. Я не запомнил, конечно, всех и вся, помню только, что на Ирпене сорок пятая и пятьдесят восьмая дивизии, и на фронте Макаров — Матышино наступает сорок четвертая.

— Но это совсем близко, — пробормотал Шурик.

— Это укрепляет вас в вашем негативном отношении? — усмехнулся Истленев. — Напрасно: нажим здесь компенсируется нашими успехами на путях к Чернигову и Гомелю, не говоря уже о московском направлении, где продвижение продолжается победоносно.

В дверь стукнули:

— Пожалуйста!

Алина открыла дверь, но не переступила порога.

— Почему вы уединились? Общество требует вас: Владимир Петрович затеял какую-то игру, требующую государственного ума. Поскольку вы являетесь единственным среди нас представителем или, — как надо сказать? — носителем такого ума, — пожалуйста, вас ждут.

— К вашим услугам, как всегда, — Истленев обернулся к Лике. — Что ж, идем... неверная союзница, ибо вы не поддерживали моих представлений, хотя сами же явились их инициаторшей. Ваш слуга, monsieur Непенин! Или вы идете тоже?

— Нет, я остаюсь, — поспешно сказал Шурик. Он пожал протянутую руку и проводил гостей до двери. У порога он задержал Лиду.

— В самом деле, я в а м обязан этим разговором?

Лика посмотрела в глаза очень прямо и пристально.

— Мне.

— Не Алине Эдуардовне?

— Алине? — переспросила Лика недоуменно. — Почему Алине? Что вы этим хотите сказать?

— Ничего, — краснея, отвел глаза Шурик. — У меня это так просто сказалось. Я сам не знаю, почему.

29

Фронт на Ирпене! Утром, как только встал, Шурик бросился на Рейтарскую. За Пушей-Водицей — чуть слышно, но слышно! — редко-редко били удары орудий. На подоконнике — свечка в бутылке. Запрет снят. Сейчас еще рано, не час явок, но, может быть, кто-нибудь, на счастье Шурика, есть. Он поднялся.

Зайдель и Мара.

— Ты тоже не выдержал времени, Зайдель?

Мара сейчас-же встала, ушла в другую комнату. Зайдель рассказывал: да, верно, Двенадцатая подошла от Одессы, пятого сентября взят у петлюровцев, у жевтоблакитных — Житомир, затем Новгород-Волынский; с линии Тетерева до Ирпеня вплотную, от моста до моста, надвинулись богунцы, таращанцы, Интернациональный; больше Зайдель не знает, сведения у него только об этих частях. Да, еще: позавчера в районе Макарова полностью уничтожен добровольческий полк.

— Пошло опять, значит? Пошло полным ходом, Зайдель! Зайдель помахал рукою на Шурика.

— Ну, уже тебе — полным ходом! Наступили, отступили: в войне бывает так. Товарищ Данила сказал, когда у него был на явке наш Васильчук (одноногий, помнишь? — товарищ Данила его сегодня отправил в штаб, за Ирпень), что на Ирпене мало наших, и чтобы никто — ты понял? — никто не думал в подполье, что Киев может быть взят. Это еще не на завтра. Но Мара говорит: у боротьбистов хорошие новости: заворошились крестьяне: бьют отсталых и фуражиров и, главное, не дают продовольствия. Тыл загорается, Шурик, а мы уже знаем, по своему опыту, что есть такое, когда горят тылы.

— Что ж мне — опять в район, к Корнею? Или будет какое-нибудь другое поручение, Зайдель?

Зайдель подумал.

— Нет, других я не думал. В район нужно. Теперь нужно очень зорко следить за отправками по железной дороге: каждый военный вагон — с кем и куда; и каждый день теперь об этом нужна подробная сводка; товарищ Ацаньин сказал: однорукий будет ходить за фронт через день. Да, и еще есть хорошее: Семушка жив, его видели в тюрьме, в контр-разведочной.

К вечеру, в этот же день, Алина сказала, остановив Шурика в коридоре:

— Мы вас возьмем сегодня с собой на танцы: в Купеческом, в пользу броневого дивизиона. Маме (хозяйку, Марию Степановку, Алина зовет, как и Лика, мамой: как она может!) сегодня нельзя, а одним нам идти неудобно.

Балы — в пользу того или другого полка — сейчас каждый день: раньше, до революции, такие «благотворительные» бывали в пользу приютов для бездомных детей; сейчас — в пользу гвардейских полков. Фронт — на Ирпене, подполье — опять на работе, Семушка жив: Шурик пойдет с удовольствием по-

смотреть, как офицеры будут вытанцовывать «входные» полтинники и рублевки.

Алина ушла сейчас же, не дожидаясь ответа, точно вполне разумелось, что отказать Шурик никак не посмеет. Да и... не захочет.

Опять, как в «Онегине»: одна — в голубом, другая — в розовом. У обеих открытые плечи, у обеих особенно подколоты золосы, мудреной прической, от обеих — не от Алины одной — пахнет сегодня духами. Сегодня и он — «в стиле»: он занял сюртук — у Владека был — и надел белый галстук. Сюртук не совсем в талию — с чужого плеча, и, в сущности, полагалось бы быть — во фраке. Но это второстепенное. Алина немного поморщилась, увидев его в сюртуке. Но ничего не поделаешь, в конце концов, что с него спросишь! Агент! Кооператор! Непенин! Шурику это тоже было приятно. И плату за вход — за барышень и за себя он внес с удовлетворением.

В Киеве — много красивых женщин. В Киеве даже при советской власти красили губы. Гвардейские трубы играют вальс. Вальс из «Евгения Онегина». Как будто специально для Шурика: это — его опера. Единственная опера, которую он слышал и помнит:

«Что ж ты, Ленский, не танцуешь?»...

Он не танцует. И Лику, и Алину давно «увлекли», как пишут в романах, «в вихрь» танца броневые поручики, чикая шпорами... Раз, два, три... вальс в три темпа: каблуки вместе, подняться на носки, оборот. Шурик смотрит, сидя, под колоннадой. Рядом — пустое кресло. На кресле — серая сумочка, замшевая: чтобы не сел посторонний. Кресло одно. Не может быть, чтобы обе сразу вышли из танца. Бал! Броневым поручикам надо отработать рубли, которые заплатили за вход Шурик, Лика, Алина. Поручики вертят ногами, пот на лице. Вальс в три темпа.

Сумочка из серой замши. В сумочке — белая карточка: постоянный пропуск в генерал-губернаторский. Или Алина оставила дома? Посмотреть?

Шурик не смотрит. Не надо сегодня думать: пусть сегодня — Непенин. Вальс в три темпа: пара за парой, розовые, голубые, желтые; губы — яркие, плечи — яркие, открытые далеко-далеко, в тон звуку, в звук темпа, в медленное кружение тел. Шурик

никогда не видел бала. И бал ему кажется весь — опять — ненастоящим, гримированным, как в театре, как в опере — и лица, и плечи, и руки у всех не для жизни, а только так, чтоб смотреть... И даже офицеры, сейчас, не опасные, не ударные, а бальные — шпора о шпору, все одинаковые, как штампованные пуговицы с раскоряченным, добродушным, бесклювым (не вышел на штампе) орлом. И думать не хочется, совсем не хочется, ни о чем; а так вот сидеть, опершись спиной о мягкий, упругий шелк. Рядом сейчас на кресло (он примет сумочку) сядет девушка, чуть-чуть задышавшаяся от танца, красивая: Лика — Алина, Алина — Лика. Танцы сменяются — вальс, венгерка, шакон, вальс. Думать не хочется. Думать не надо.

Ужинали. Очень много шуму за маленькими столиками. Очень много вина — офицерам ничего не останется от сегодняшней выручки: платят за ужин только мужчины, а женщин больше мужчин, и военных в пять раз больше, чем штатских: они — гости, они входят без платы. Броневые пьют больше всех — сегодня они именинники, сегодня Киев «освобожденный», «мать городов русских» (опять об этом говорят где-то там, громко, в надрыв, за дальним столом — политики. Шурику это мешает). Киев платит сегодня в их пользу за вход. Именинники. Именинник должен быть пьян: в старом мире так принято. Почему Шурик не пьет? Алина — напротив его, за тем же маленьким столиком, между двух офицеров, цедит шампанское — сквозь белые зубы, между карминовых губ — небрежно, чуть-чуть брезгливо. Сюртук — не по росту, не танцует, не пьет: агент, кооператор.

Ужин долгий, шумный, с тостами. Потом — опять в зал. Опять вальс в три темпа; но — струнный оркестр. Лика, Алина, с офицерами под руку, сквозь колонны — на скользкий, блестящий, не стертый скользом тufелек и лакированных сапожков паркет.

Шурик спустился по лестнице на подъезд, в ночь,дохнуть свежим воздухом после душной столовой. Ночь темная, совсем темная, нигде ни огня. Небо в тучах, звездам, если они есть сегодня, не проглянуть; ночь тихая — только музыка волнами набегаёт сквозь стену; издалека не слышно ворчливого гула: на Ирпене не стреляют.

Шурик вернулся в зал. Танцы шли. Но с хор в зал, и из зала на хоры, вокруг колонн, по столовой, по коридорам, вокруг здания уже ползали, шевеля хвостами, шопотливые и шуршащие слухи: «фронт прорвали», «восстание на Демиевке». Танцы шли, но все чаще срывались из-под настороженных, раздумчивыми ставших смычков струнные взвизги, все чаще сбивались с такта — вальс в три темпа! — кружась с каблука на каблук, одинаковые, как штампованные пуговицы с раскоряченным, бесключым орлом, танцоры; все шире и шире круглели в запрятанном ноющем страхе женские подведенные глазки. Электричество горело тусклей и тусклей... или это только так кажется?

Скрипки сменил, торопясь, военный медный оркестр. Медь — не трусливая: она привыкла трубить над трупами, к трупам. Трубы взгремели, пружа музыкантские шеи, бодря желательный хмурый накал ламп в огромных хрустальных люстрах и голые женские плечи и офицерские лакированные ноги. На минуту одну... Потому что люстры — погасли. В три часа электрическая станция перестала работать: тока нет.

Когда прошел первый шквал испуганных вскриков и топотни, и откуда-то принесли зажженные свечи, жуткие под тяжестью огромных, белых, в темь, в высь, в невидность уходящих колонн, — стали торопливо расходиться. Но первые же, кто вышел на площадь, в безглазую, безогонную ночь, вернулись бегом: грабят! Здесь, у самого здания. Площадь, аллеи, улицы — все залито темью, как черной липкою краской. Ни фонарей, ни патрульных. Ночь, рука и воротник. Сколько их — пять, шесть или тьмы? Один из ограбленных выстрелил: только он один и не вернулся.

Офицеры стали расстегивать кобуры: они будут провожать своих дам с оружием в руках. Но дамы наотрез отказались: ночь, жуть, пуля. Нет! Надо дожидаться рассвета. До рассвета не долго.

От вешалок, забрав пальто, толпа медленно поволоклась опять назад в залу, на хоры, к зыбким и скупым огням свечей. Принесли еще две-три лампы. Но огромный зал был неприютен и темен.

Шурик с Алиной и Ликой задержались внизу. Когда они вернулись назад, — на всех диванах и креслах уже сидели, лежали, где можно, женские закутанные фигуры: плечам стало зябко. Мужчины бродили по залу. Теперь уже курили везде: осадное положение, ночь, можно.

На хорах еще теснее: там лежали, сидели, прямо на полу, подстлав пальто, или просто — в распласт — листы «Киевлянина» и «Киевской Жизни». Шурик знал здание: на съезде железнодорожников (съезд был здесь, в этом доме) он был в организационном бюро. Комнат — много: где-нибудь, хотя бы внизу, там, где кухня, найдется место троим. Он повел девушек темным, знакомым коридором к нижней лестнице, по дороге нажимая ручки встречных дверей. Одна поддалась: уже в самом конце коридора, за поворотом. Шурик чиркнул спичку. Контора, наверное: письменный стол, телефон, диван у стены, кресло. Шурик прикрыл дверь на защелку: еще забредет кто-нибудь. И впотьмах (окно есть, но за окном — ночь, черною липкою краской) стали хозяйничать.

Прежде всего позвонили домой — Марии Степановне: дали, на случай, номер «своего» телефона. Номер на аппарате проставлен, Лика звонила, Шурик — спичкой — светил.

Шурик затем предложил так: Алине и Лике вместе лечь на диване, сам он устроится в кресле.

Но Алина не согласилась.

— Спать? Вот ерунда! Мять платье и лицо: без подушек, одетые! Скоро будет светать. Дождемся рассвета и так. Садитесь сюда, на диван, между нами, чтобы никому не было обидно.

Он подошел, наткнувшись на чье-то колено. Алина? Лика? Рука — быстрая — скользнула ощупью по рукаву, опустилась к пальцам, сжала.

— Садитесь!

Не видно ни зги. Он сел. Рука — Алины, конечно. Она придвинулась близко и положила голову ему на плечо: так, что душистые, пушистые завитки волос защекотали губы.

— Вот я и устроилась. Разве плохо?.. Лика, сделай помоему. Положи ему голову на плечо. Это, оказывается, совсем не жестко.

Лика засмеялась в темноте. Шурик чувствовал ее близко, тело у тела, но без прикосновения. Он осторожно расправил плечо, чтобы ей было удобнее, но она, конечно же, не прислонилась к нему головы. Шурик знал, знал заранее.

До зала отсюда далеко. Не слышно ничего. И сквозь окна, сквозь стены, тоже ничего не слышно.

— Жуть какая! — Волосы крепче щекочат губы, Алина нажимает на плечо. — Надо говорить. Рассказывайте же!

— Что рассказывать? — Шурику чуть-чуть кружит голову — от волос, от тепла, близко, — он чувствует, — раскрытых, разнеженных темнотой и томной усталостью плеч. — Что рассказывать?

— Сказку, разумеется. Что можно еще рассказывать, когда люди сидят, как мы вот сидим, — заблудившись ночью, в какой-то глухой, всеми забытой хижине: ночь, лес, волки бродят в ночи и в лесу. Вам разве не страшно?

Прижалась теснее:

— Рассказывайте!

Голос Алины стал другой: ниже и глуше.

Лица обернулась, должно быть: Шурик почувствовал ее дыхание у самой щеки.

— Почему, собственно, мне рассказывать, а не вам? Я не знаю ни одной сказки.

— Вздор! — медленно сказала Алина. — Что значит: не знаете? Сказка — всегда о себе. Человек не может не знать хоть одной сказки. Сколько в нем людей — столько в нем и сказок.

— Значит, во мне нет ни одного человека, — сказал Шурик. Он хотел сказать смешное, но вышло совсем по-другому: неприятно и жутко. Он все-таки повторил из упрямства:

— Во мне нет ни одного человека: потому что у меня никакой сказки нет.

— Тогда вы неживой и... убирайтесь, пожалуйста, туда, на кресло, и нечего здесь сидеть с нами! — сердито сказала Алина, отодвинула голову и крепко взяла Шурика за плечо. — Или сейчас же признайтесь: вы — нарочно, вы думаете, что так понравится Лике, вы думаете, что Лика не признает сказок? Еще как!

— Правда?

— Правда, — смеющимся голосом отозвалась Лика. — У меня даже есть любимая. Не своя, а такая: одинаковая с другими. Я ведь не как Алина; я — одинаковая. Сказка — коротенькая:

«Жили были дед да баба. Была у них курочка ряба...

— Лика, перестань! Я рассержусь. Ты мне настроение испортишь.

— Но я же серьезно: эту сказку все знают... даже самые маленькие: «Не плачь, дед, не плачь, баба! Я снесу вам яичко — не золотое яичко, а простое».

— Это не сказка, — сказал Шурик, хмурясь, как всегда, когда он слушал что-нибудь для себя непонятное.

Лика засмеялась совсем громко.

— Не сказка, дед? Что же я, по-вашему, действительно курочка ряба?

Алина сняла руку с плеча Шурика, но он протянул свою, сам удивляясь легкости и смелости, разыскал руку Алины на подогнутых, туго натянувших платье коленях (Алина сидела на диване с ногами) и сжал пальцы, крепко.

— А ваша сказка?

Алина не ответила. Пальцы в руке лежали мертво. Он наклонился губами в пушистые волосы и повторил:

— А ваша сказка?

Алина отозвалась совсем тихо:

— Вы хотите, очень хотите?

— Очень хочу, — тоже шопотом ответил Шурик. Он думал о другом и совсем забыл, что рядом, с другой стороны, совсем близко, — Лика. Но Лики не было слышно. Ни голоса, ни дыхания: Лики — нет. Он и Алина. Рука, обнаженная, жжет стиснутые пальцы особой прохладой: знойной. Разве такая есть? Глупость. Нет, есть. Кожа — холодная, гладкая-гладкая, а пальцы горят, поднимаясь от кисти — выше, к локтю, к открытому, круглому, упругому, душистому плечу. Так. Теперь...

Алина молчала.

— Моя сказка о седом волосе, — заговорила она наконец, и голос ее показался Шурику опять другими, и опять незнакомым. — Вы видели, у меня волосы — седые? Вот здесь...

Она провела по лицу Шурика отбившейся от виска пышной прядкой.

— Нет, — сказал Шурик и тоже не узнал своего голоса. — Нет, я не заметил.

— Не надо, Аля! — Лика встала. Но Алина только теснее придвинулась к Шурику.

— Почему не надо? Это же сказка. О том, как красят седые волосы те, кто молод. Садись и не мешай. Я не могу говорить, когда ты стоишь у меня перед глазами.

— Перед глазами? Ты не видишь собственной руки.

— Вижу, — упрямо ответила Алина и положила обе руки на руки Шурика. — И ты видишь все, не притворяйся, пожалуйста: ты этого все равно не умеешь. Садись, Лика! Вот так.

А теперь... Да, сказка. В Испании правил когда-то король — жестокий тиран. Против него дворяне составили заговор. В заговоре участвовал, между другими, старый граф. И еще — его сын. Заговорщиков выдали, потому что при заговорщиках всегда есть предатель: это — закон заговора, иначе не бывает никогда.

Закон? Шурик вспомнил о Семушке, о типографии, о красных разбитых губах. При заговорщиках всегда есть предатели. Какая она смелая!

— Всех преданных казнили: иначе не стоило бы предавать, правда? Их казнили: и графа, и его сына, и еще других. Вы думаете, что они воскреснут, потому что — сказка? Ничего подобного. Мертвецы не оживают никогда: иначе не стоило бы делать революцию, правда?

Семушка жив еще, — думал Шурик, мучительно-крепко стиснув коленями ладони: руки Алины ушли, рук Алины он больше не чувствовал, — Семушка еще жив. Но если он умрет, его не воскресить, как не воскресить ни часового в Нежине, ни комсомольцев в Трипольи, ни того бандита, кривоглазого, Панько, которого он, Шурик, свалил пулей в Ордошах, на биваке, когда тот, примазавшись к отряду, будто незамеченный, чуть не подвел весь гурток под удар батьки Струка. Он махнул рукой, волосатой, когда Шурик выстрелил, и ткнулся лицом в дорогу, с размаху. И струковцы, которые лезли уже за ним, его следом, к биваку, через плетни, отсунулись назад, и Шурик, с другими, со всем отрядом, бежал потом за ними, полем и лесом, стреляя в угон... Да, мертвые не оживают, Алина.

Алина помолчала опять.

— У графа была еще дочь, я, кажется, забыла сказать. Дочь осталась одна. То-есть, была еще мать... но матери ведь не в счет... в сказках. Дочь осталась одна. У нее был, правда, жених... Или... не жених? Как это называется, когда двое любят и знают, но еще не сказали? — Руки Алины опять лаской скользнули по Шурикиному рукаву, и он высвободил ладони и сплел, чуть-чуть дрожа, пальцы с пальцами. — Но этот чело-век день и еще день ничего не говорил ей. Как теперь жить, когда король казнил и отца и брата? Если бы он заговорил, может быть, и не было бы никакой сказки, потому что тогда все вышло бы совсем просто: поженились, дети, как бывает, когда люди не молчат. Сказки — от молчания. Он молчал, и на третий день она отвернулась от него, заплела девичьи

косы тугим узлом, как делают женщины, чтобы волосы не мешали руке, и ушла из дому.

«У нее не такие волосы, — с облегчением почему-то подумал Шурик. — Это у Лики такие волосы. И когда она убирает комнаты, она подвязывает их узлом. Отчего она так молчит и отодвинулась, далеко, в самый угол дивана?»

— Она ушла из дому в другой город, где ее никто не знал. Она наскла себе рубец над правую бровью и перекрасила волосы — самой черной краской, только одну седую прядку оставила — в память дня, когда казнили заговорщиков, и у нее поседела голова. И она поступила к лучшему цирюльнику в городе.

— К цирюльнику? — удивился Шурик — Зачем?

— Вы никогда не были, очевидно, в Испании, и вообще необразованный: Вы — кооперативный агент. — Она прижалась к нему плечом и грудью. — В Испании бреют женщины, а не мужчины в парикмахерских. Она научилась брить, как никто. И так как от рубца над бровью и от седой прядки в черных волосах — в две косы! — она стала еще красивее, — слава о ней прошла по всей Испании, и ее пригласили ко двору, брить короля. Вы поняли?

— Не понял, — чистосердечно признался Шурик. — Я же сказал: я не разбираюсь в сказках.

— Юдифь! — резко сказала она. — О Юдифи, по крайней мере, вы, надеюсь, слышали? Но Юдифь была мещанка, обыкновенная еврейская мещаночка, как у нас на Васильковской или Житомирской, только хорошенькая: она заплатила своим телом за голову Олоферна. Она говорила потом своим, что этого не было, но это же лганье: ассириец был настоящий человек... Но тело — слишком дорогая цена, даже за кровь: дочь графа выбрала лучше. Когда она осталась одна с королем — брить! — она намылила ему щеки душистым мылом, и пальцы у нее были такие тонкие и ароматные, что король весь дрожал от желания.

Шурик сдержал свои руки: стыд! — или нет? — они дрожали тоже.

— Она приставила ему бритву к горлу, лезвием в упор. И прочла на ухо заупокойную молитву: не за него, а за отца и брата. Он понял, как только услышал имена, он понял, и глаза у него остановились, и на лбу выступил кровавый пот, но он не мог крикнуть, или пошевелиться, потому что бритва была у горла. Она кончила молитву: *in tuorum fede lactantium consti-*

tuas redemptorum... Я ведь католичка, вы знаете... как испанки!.. Per Dominum nostrum jesum Christum. Qui tecum... И, смеясь, провела бритвой от уха до уха.

— Ее казнили? — глухо спросил Шурик.

— Нет, — спокойно ответила Алина и выпрямилась. — Ее провозгласили королевой.

За окном серел мутный и дождливый сентябрьский рассвет. В комнате просветлело. Когда? Давно уже? Или только сейчас... и... сразу?

Алина посмотрела Шурику в глаза и улыбнулась, но улыбка была невеселая.

— Нельзя сказать, чтобы у вас был очень мудрый вид. Или это от освещения? Сказочная игра неверных теней, как сказал бы Владимир Македонский. Лика, ты заснула?

Нет. У Лики глаза открыты. Но она не ответила. Алина потянулась лениво и встала.

— Что же, пошли? Просвет в тучах, и дождь, наверное, уже разогнал воров.

Она сняла трубку телефона, сказала номер и выждала.

— Марья Степановна? Да, Алина. Мы идем. Параска поставит самовар, да? Мы проголодались. Николай Авксентьевич нас заморозил своим красноречием, и на улице, наверное, холодно: будет славно погреться.

30

Славно? Нет. Чай пили долго, хотя у Марии Степановны слипались глаза, и Лика все время молчала, устало и упорно. У Шурика было непонятно и мутно на сердце, но Алина ни за что не хотела пойти спать, медленно ела вишни без косточек, допрашивая Шурика, как варят варенье на фабрике: он же агент по закупке варенья, он должен знать. И Шурику приходилось вспоминать, нудно, заученные на случай, для конспирации, рецепты и рассказывать об ареометре.

А потом — пустая, огромная комната, с опущенными тяжелыми шторами; свечка — узеньким, надгробным огоньком; и — во сне — долго, до полудня, упорно стояли перед глазами: бритва, горло, надушенные тонкие пальцы, вишневое варенье без косточек.

Выйдя, Шурик застал, как всегда, Лику в столовой. И, здороваясь, увидел: чуть заметной насечкою — рубчик над правой бровью, два-три серебристых, серебряных волоса в прочерни косы у виска. Сказка — о ней? Вздор! Алина нарочно. С Ликой — никаких испанцев и бритв, никаких парикмахерских сказок. Он вспомнил курочку рябу и пожал руку Лике, как-то особенно тепло и растроганно, так что она даже подняла на него глаза неммым вопросом. Он пожал руку еще теплее и крепче. Мария Степановна кашлянула с порога: она несла кофе.

— Проспали? Не будет вам за это на службе чего?

Служба! В одиннадцать он обещал быть на явке. Пропустил время... Теперь придется отложить до трех: в три часа можно идти на Рейтарскую.

Он махнул беззаботно рукой.

— Ничего. Скажу, что был болен. Или что меня ночью ограбили, или что я женился вчера. Я сегодня вовсе не пойду в Центросоюз.

— Алина спит? — спросила Марья Степановна. Лика кивнула.

— Она велела себя разбудить к четырем. И то если не будет дождя.

Четыре — генерал-губернаторское время. Но явка — в три. Шурик поспеет с явки.

На Рейтарской, в кабинете хозяина, в «явочной комнате», Шурик застал Ивана Селяньского, организатора партизанских отрядов, с Уманыщины. Селяньский — еврей, но до того украинского и селяньского, взаправду, обличья, и такой у него чудесный характер — хохотун, острословец и выдумщик, что в деревнях его, прямо сказать, на руках носят. В партии говорят: Уманыщина — его вотчина. Там его знает каждый, и слушает каждый. Так что он может поднять любое село, на выбор, в любую минуту. Шурик любил Селяньского, но сегодня от вида коренастой и лохматой фигуры, от веселого посвиста (Селяньский стоял один, у окна, к двери спиной, и свистел) Шурику стало не по себе. Завидно почему-то? У Селяньского просто и твердо все, «дядьки», партизаны, работа ясная и легкая... а у него... Селяньский простучал пальцем по стеклу и пропел, чорт его знает, на какой мотив:

— Май-Май-Май-Маевский, Май-май-е-в-ский, — и обернулся.

— А, Шурик, здорово! Ми не хочемо чекати, доки те прекрасне майбутнє нам одвоюють наші батьки! Не хочемо чекати, бо ми самі божаємо брати участь у боротьбі за майбутнє! До зброї! Так, що ли? Ну, як... брыкаємся?

— Так, но о зброї что-то пока не слышно, — хмуро ответил Шурик. — А у тебя, как в вотчине?

Селяньский расхохотался.

— Добровольцы мобилизацию проводят.

— Нет!

— Честное слово. По селам получен приказ. Подписано: генерал... — он пропел опять, на тот же, очевидно, очень ему нравившийся мотив: — Май-Май-Май-Май-ев-ский.... Ма-Маевский. Надо же такую фамилию! Не просто Май, а еще Маевский в придачу. Так вот: приказ к такому-то числу новобранцев такого-то срока, туда-то. С параграфами и статьями, как полагается по ихним статутам.

Позвонили. Селяньский приостановился. Шурик прислушался. Шаги знакомые — никогда не ошибиться! Отец.

Селяньский стал сразу серьезным, когда вошел Ананьин. Теперь ясно, зачем Уманец здесь: приехал с отчетом. Или вызван...

Шурик хотел выйти: при деловых разговорах никого лишнего не должно быть. Но Данила задержал сына.

— Ничего. Послушай: поучись, как работают.

У Селяньского глаза вспыхнули от похвалы. И опять Шурику стало тоскливо. Похвала другому — не ему ли укор? И в самом деле, что он за все это время сделал?

Селяньский стал рассказывать. Уманыщину знали оба: и он, и Данила. Шли быстро названия сел и людей. Столько там и столько там. В подземных гаражах, в лесу, у деревни Витюнки, стоят, дожидаются дня, два броневика, захваченные еще в империалистическую войну, когда шли войска самотеком с фронта. Шоферы здесь же, по соседству, в деревне: обжились, женились. И немцев пересидели машины в подземных срубках, и Петлюру. Селяньский проверял только что, перед самым приездом: в исправности. Не пора ли выкатывать? Не век же им вековать, в подполье-то.

— Нет, еще подождать, пока ближе подтянется фронт.

— А если добровольцы пойдут на Уманыщину?

Ананьин качнул головой.

— Не пойдут: силенок не хватит. Им и так пришлось почти все, что есть здесь, в их «Бредланде», оттянуть на черниговское направление.

Селяньский подкашлянул немного смущенно.

— Признаться, мы их немного того... Спровоцировали.

Брови Данилы сдвинулись:

— Спровоцировали?

Селяньский стал объяснять:

— Они объявили мобилизацию. Мы собрали сейчас же по селениям сходы; агитации вести не пришлось: насчет деникинцев, я уже докладывал, крепко по всей округе: Уманьщина — за радянску владу, за советскую власть. Решили, конечно, без спору: солдат не давать. Я тогда написал от имени всех, как есть, селений в округе, с общего согласия и одобрения — смеху было, товарищ Данила! — этому самому генералу Май-Маевскому, за чьей подписью был приказ: «Снисходя, — написал, — к бессилию деникинской влады, к отсутствию денежных знаков и пр., и пр., — села Уманьщины постановили: новобранцев вам не посылать, поскольку ни прокормить, ни одеть, ни обучить вы их нам не сможете. Чего уж вам затрудняться, генерал Май-Маевский! Мы вам пришлем, — и не столько, сколько вы ждете, а в сорок раз больше, при чем обученных и вооруженных, с винтовками, с гарматами и кулеметами, с червонным прапором, — как только подступят к Киеву советские армии: они вас в морду, а мы по заливку. В чем, по доверию Уманьщины, расписался, один за всех, общим приговором, Иван Селяньский, член коммунистической партии Украины и председатель ревкома Уманьщины.

— Запорожцы зубастее писали, — улыбнулся Ананьин. — Ну, да нехай — сойдет и так. Но вы напрасно думаете, что они рискнут на карательную. У них в штабе в этом отношении не в голову биты: спецы. Что, они не понимают, что если двинутся на Уманьщину, — захлебнутся? Крупных сил им туда не выделить. А малые посылать — на убой.

— Не пойдут? — с беспокойством спросил Селяньский. — Не поверите, товарищ Ананьин, до чего хлопцы заждались.

— Подождут еще — теперь уж недолго, я думаю. Уманьщине надо еще подождать. А вот по другой вашей специальности — о Фастовцах: вот здесь кое-что предпринять надо незамедлительно.

И опять люди и цифры: о ремонтных мастерских, о мостах, о водокачках. Шурик слушает плохо: упорно и нудно думается о своем.

Он зашевелился только тогда, когда Селяньский стал уже прощаться с Ананьиним.

— Только помните накрепко, товарищ Селяньский, ни водокачек, ни мостов ни в коем случае не подрывать. Нам транспорт во как будет нужен!

— Все равно, — просительно говорит Селяньский и задерживает руку Ананьина в своей руке, — все равно белые взорвут при отступлении.

— Не успеют, — засмеялся Ананьин. — За это я вам ручаюсь.

Селяньский ушел. Ананьин поманил к себе Шурика.

— Как живешь, малек? От матери была весточка — ничего, живы. Только дачу чуть не разнесли наши снарядами, когда брали Ворзель: белые умудрились от самого нашего палисадника к полотну нарыть пулеметных окопов: по ним наши и били. Мать пишет, в столовую, сквозь крышу, два снаряда попало. Не разорвались, на счастье. Вообще, по письму, очень много наших снарядов не рвалось: надо будет в штабе поставить на вид.

— Теперь Ворзель за нашими крепко? Фронт по Ирпеню? Данила кивнул.

— Сегодня в ночь я перейду фронт. Мне, собственно, давно уже надо бы побывать лично в штабе. А сегодня — от здешней разведки очень важные сведения. Надо, чтобы они обязательно дошли. Одноногого я послал уже, своим чередом.

— Пошли меня, папа!

Ананьин зорко пригляделся к сыну и повернул его — лицом к окну.

— Так. Ну, рассказывай, что и как было? Отчего ты сразу же ко мне не зашел: ведь ты же мою новую явку знаешь.

Ежели бы Шурик мог хоть сколько-нибудь связно и понятно рассказать... Почему так случилось? До подполья — все было радостно и легко. Даже в Трипольи, когда его с гуртком Рахманьского взяли, изменой, зеленевцы. Ведь тогда, ночью, в сарае, под стражей, — все до одного думали: сейчас войдут, возьмут, расстреляют. Или еще хуже. И все-таки не было темно. И страшно не было. А сейчас бывает темно и нудно,

И даже страшно. Страшно по ночам: он только сейчас об этом подумал.

— Не денкинецов страшно, ты так не пойми, папа. Они — овчарки, они рычат и бросаются, но это не страшно, потому что я знаю очень хорошо и твердо, что наши разобьют их, очень скоро, и опять будет советская власть, и уже навсегда... Жуть и пустота от чего-то другого, и отчего — я понять не могу. Но мне не работается, как прежде, и даже люди кажутся другими. Не знаю.

Данила стал очень-очень серьезным и тяжелым.

— Жуть, если твоим словом сказать, может быть только от самого себя, Шурик! И это так, наверное, у тебя и есть. Подполье — тяжелый искус, именно потому, что в подполье человек обязательно остается один, сам с собой. В этом — особенность подпольной жизни: обязательно один. И потому, чтобы спокойно и ясно пройти сквозь подполье, нужно, чтобы в человеке была большая и крепкая правда: если чуть-чуть прокрадется неправда — конец.

Шурик вздрогнул.

— Ты не пойми меня неправильно как-нибудь, мальчик! Конец в том смысле, что не будет спокойствия; ведь только от сознания внутренней неправды может человек сам с собою быть беспокойным, и пожалуй, даже в чем-то бояться себя.

— Но какая же во мне неправда, папа? — тихо сказал Шурик и зажал руки коленями, крепко, как тогда, когда вспоминал на балу о Семушке: потому что на сердце сейчас стало еще глуше и жутче, чем было тогда. — Я не чувствую, что я хоть в чем-нибудь переменялся. И если я что-нибудь даже сделал не так, то, наверно, без мысли, случайно.

— Случайно ничего не бывает. Всякая, самая дикая случайность, вернее, то, что мы называем случайностью, обязательно имеет прочные корни, совсем не случайные: надо только внимательно посмотреть. Ты не ищи чего-нибудь важного, обязательно. Иногда заражение крови бывает от простой царапины, самой незаметной, мелкой.

— Ты думаешь, папа, у меня заражение крови? — спросил Шурик.

Отец усмехнулся.

— У тебя нервы, повидимому, совсем разгулялись. Так не годится. Смотри, на подполье это — последнее дело. Пошарь по своим мелочам. Нет ли чего в окружении?

Шурик рассказал. О Лике, об Алине. Только о сказках на балу не рассказалось. Должно быть, потому, что отец слушал не так, как надо: это Шурик ужасно ясно почувствовал... Ужасно ясно. Особенно, когда он кончил, и заговорил отец.

— Ну, если другого нет, — ерунда. Кавалер среди двух девиц. Блондинка, брюнетка. «Любит — не любит». Здесь как будто не на чем сбиться с прямой. Хотя под любовным, даже под самой легкой влюбленностью, есть корневое, от самой сущности человека. И когда о любви говорят, — говорят о другом, и совсем не любовном, Шурик. О той девице, с постоянным пропуском, ты уже сообщил, конечно, организации?

— Нет. Зачем? Я же еще ничего толком не знаю.

— А что ты собираешься знать? Подозрительна — этого совершенно довольно, чтоб остеречь от нее и самому остеречься. Предупредить — и итти дальше, своей дорогой.

— Но предупредить — клеймо. А может быть, она ни в чем не виновна.

Отец смотрел холодно, прищурясь. Он показался Шурику чужим, и у него от этого захолонуло сердце.

— Вайян — ты это имя помнишь? — сказал на своем процессе: «Я не знаю невиновных буржуа». Я не иду так далеко. И незачем. Того, что ты рассказал, достаточно, чтобы понять, кто это. Во всяком случае, не свой. Цацкаться, значит, нечего... История Андрия и прекрасной полячки? Не сердись — у меня этого и в мыслях нет, конечно же. Мы с того времени выросли. И я никогда, ни на секунду не допускаю, чтобы ты, от твоей жизни, — и в нашей семье, и в семье товарищей, — мог притти к женщине через тело, а не потому, что ты и она будете родными, внутренне родными — ты понимаешь? А тут какая же родня! Осадок у тебя, может быть, оттого, что ты не сразу нашелся, дал вокруг себя накрутить какой-то чужой женский клубок.

— Нет. Мне кажется, что это — не то, не в этом. — Шурик замкнулся, ему не хотелось больше говорить. — Но я ничего больше не могу припомнить, даже мелочей.

Помолчали.

— Тогда положимся на время, нечего делать, — медленно сказал отец. — Время покажет, почему ты сейчас внутренне в себе не уверен, почему у тебя нет ощущения полной правды в себе. Подполье свое дело сделало — ты совсем повзрослел уже, Шурик! А поэтому хорошенько присматривайся к себе,

я своей жизни. С компасом у тебя что-то еще не налажено. А революционеру, то-есть нормальному, настоящему человеку, без внутреннего компаса хорошо не прожить.

— Компаса? — переспросил Шурик.

— Да. Это — не мое: это — ленинское. Я тебе не рассказывал разве, никогда еще? Тогда запомни: в свое время об этом обязательно надо будет напечатать, в воспоминаниях моих или твоих. Слышал я это еще, когда во ВЦИК'е работал, до приезда сюда; было это после Брестского мира. Во фракции тогда отчаянные споры шли: за и против. О передышке. Тогда многие боялись, что передышка заведет нас далеко в сторону от революционного пути; в тупик. Так далеко, что назад, на верную дорогу, не вернемся: потеряется направление. Так вот, как-то в перерыве заседания (шел как раз такой фракционный спор) Ленин сказал про тех, про оппозиционеров: «Тупоглазие у них, им бы все по шоссе дороге; а ведь идти-то нам, пока что, по болоту. А по болоту, если прямо, угодишь в трясину, по самые уши, а то — еще хуже. Надо по кочкам. Кочка иной раз вон где, совсем в стороне. А им уже кажется, что с нее и дороги дальше ни за что не найти: придется назад идти. Взор какой! Без компаса в себе, потому и кажется».

Шурик ниже опустил голову. Он думал.

— Так вот, мальчик! В личном — то же, что в политике: потому что дорога у человека одна ведь — и для политики и для остального; вместе — жизнь. И не дорога, а тропа. Тропу потерять легче, чем проезжую дорогу. Но ведь по проезжей дороге кто ходит? Нужно быть очень цельным: чтобы компас был без девиации.

— Я, должно быть, не цельный, значит, — глухо сказал Шурик. — Вот Зайдель меня упрекал, что я...

— Зайдель? — Ананьин старший поморщился. — Ну, с философией Зайделя ты не очень считайся. Он не плохой работник, но закал у него — не наш. Изю всего старого быта — еврейский, местечковый, хедерный — самый тяжелый; от него трудно живым уйти — даже на волю.

— Но ведь и в самом же деле я, как только сошел с проезжей на тропу, так и запутался. И сам не знаю, в чем.

— Такие ли бывают плутанья, — улыбнулся Данила. — Это еще не страшно. Ты же все рассказал? Тут даже и случая нет, а случайность. Не случайная, конечно, но все-таки — случайность, не больше. Помни только: случайность тянет за собой

другую, если не выдернешь корня первой. В какую-то болотину тебя твои дамы завели: мне думается, это — факт. Тебе это неприятно: жмуришься. От этого и скверно. Но болотина — ерундовая. Шагни — и вышагнешь.

— Даже если шагать приходится по чьим-то пальцам?

— По пальчикам, — с ударением сказал Данила и взял шляпу. — Это разница. Сегодня же скажи о случайности своей Зайделю и — мимо. Я уверен: как рукой снимет. О твоей работе поговорим, когда я вернусь: надо тебе прибавить нагрузки. От досуга — большая романтика: нервы. Надо с полной нагрузкой, тогда и романтика будет здоровая. Молодежи без романтики нельзя. Вернусь, поговорим: я дорогой подумаю.

— Ты долго пробудешь в штабе?

— Я предполагаю еще и в Ворзеле побывать. Очень соскучился по маме и ребятишкам. Болезнь, обстрел... им там хуже нашего пришлось. Вернусь, — ты сходишь. Ладно?

31

Шурик не сразу ушел после отца: уходить не хотелось. Не хотелось уносить с собою недоброе, тягучее, осевшее на сердце после разговора с отцом. Опять, как в «Континентале», тогда, перед переходом в подполье, не смог Шурик принять отцовских слов: почувствовал — он не я. Закон, закон и еще закон. Как в катехизисе Филарета, где на каждый самый непонятный вопрос стоит рядом ответ, обязательный, который надо выучить и отвечать, не рассуждая. Разве в живой жизни так можно?

О внутренней правде — верно: о компасе. И, может быть, верно, что спутанность у него от Пушкинской, от сказанных и от... несказанных... сказок.

Но размотать по-отцовски клубок нельзя: «по пальчикам»! Именно потому, что здесь, как ни суди... корневое. В том, как он решит, вскрыется его, Шурика, сущность: самая важная, та, которая делает жизнь. В том, что отец говорит, есть жестокость. Что ж, что есть подозрение, и что же, что «пальчики»? Наступить равнодушно на человека и пройти? Такого закона в революции — в настоящей — не может быть. Закон революции, какой бы он ни был жестокий, должен состоять в том, чтобы никогда не наступать ногой на живого человека, какой бы он ни был. Убить — да: если надо. Но только не так: но-

гою — «по пальчикам», мимо. Это — не революция. И отец не сказал бы так, наверное, если б он, Шурик, сумел передать ему об Алине как следует, по-настоящему, так вот, как он сейчас думает. А он сказал, правда, ужасно по-обывательски. Действительно, можно было понять: какой-то бабий клубок, плохая какая-то «случайность».

Пора уходить: явочное время прошло. Кабинет, с пяти, нужен хозяину. И так, наверное, в соседней комнате здешние думают: почему он сидит так долго? Один.

Он вышел. Недалеко от подъезда стоял неподвижно и понуро кто-то, козлобородый и очкастый, в новеньком макинтоше в наброску. Когда стукнула за Шуриком дверь, он поспешно отвернул голову: какое ему дело, кто вышел? Ясное дело: шпик.

Шурик прошел мимо. Человек вздохнул и, шуриша встопорщенную клеенкой, оправил обеими руками капюшон, надвинутый на шляпу. Острые, под проношенными рукавами серого пиджака, локти заслонили лицо. Шпик. Было сыро и слякотно. Но домой идти нельзя с партийной явки, когда сзади идет шпик. Шурик не оглядывался, незачем было: идет наверное.

Так до самого Царского сада. Мимо Купеческого собрания, мимо детской площадки, к мосту с серыми перилами. И здесь сыро и слякотно. Деревья по скатам вниз, к реке, были неряшливы и нахохлены. Днепр серел сквозь прорывы прибрежных холмов, хмурый и дутый, перетянутый желто-грязными морщинами ряби. Некуда глаз девать. Сзади, от дальней скамейки, вздохнул макинтош. Шурик оперся грудью на сырые бруски перил. Он в пальто, ему тепло, он будет стоять долго. Пусть тот серый померзнет: клеенка не греет.

Думал Шурик о чем-нибудь, пока стоял так, у перил? Нет. В тяготе — нету мыслей. Даже когда идут образы и — ненаписанные, тусклые, — серым по серому скользящие слова.

Завечерело. У Шурика ноги застыли. Он пошел, разминаясь, далеким обходом, кривыми дорожками, быстро. Под ногами чавкала жадно глинистая набухшая грязь. Шпик шел сзади, совсем близко, должно быть, боясь упустить. Он часто сплевывал на ходу. Шурик не оборачивался: у человека в макинтоше свои мысли, у него — свои: по кругу.

Публичная библиотека, площадь, Крещатик. Человек не отставал. Шурика это не волновало; ему было сейчас совсем все равно, запишет шпик адрес: Пушкинская, тридцать два, или не

запишет, потому что думалось совсем о другом, и шпииковская запись была пустяком перед тем, о чем он думал: о главном. Или о мелочи? О царапине — вот той самой, от которой бывает заражение крови.

Он сошел вниз по Крещатику, поднялся по Фундуклеевской обычною дорогою к дому. У здания театра Бергонье — теперь там какой-то «Большой театр миниатюр» — над тротуаром нависли огромными, кривыми, точно пьяными литерами намалеванные плакаты-афиши.

«МОР ХИЖИНАМ — ГРАБЕЖ ДВОРЦАМ».

Злободневная политическая сатира в 3-х действ. с прологом.

П Р Е М Ь Е Р А !

Он остановился, читая перечень действующих лиц. За плечами сейчас же зашуршала клеенка.

— Гы-гы... «Мор»!

Шурику стало нестерпимо противно от шпиичьего глумливого восторга. И сейчас же перестало быть «все равно». Шпик и афиша: мелочи, что ж. Зажегся от мелочи. Но, вероятно, так и есть: мелочь к мелочи — тропа, жизнь. Случайности не бывают случайно. И сейчас же, оттого, что зажегся, — стало ясно: надо шагнуть через эту случайность... и... через ту. Компас у него, у Шурика, есть, только он дал чьим-то пальцам, — нет, пальчикам, это разница — придержать, прихотью, шалостью, стрелку. Оттого защемило. Ударить по пальцам, не наступить, а ударить! — да, да! — и сейчас же стрелка, свободная, покажет север точно-точно, никакой ошибки быть не может. И сейчас же все старое вернется. Это все от того наверное, что он старался быть не Шуриком, а Непениным.

Клеенка нетерпеливо ерзала за Шурикиной спиной.

Бросьте расчет! Ничего подобного: никакого адреса. Шурик вдвинулся плечом в вереницу людей — котелки, шляпки с лентами, — переволакивавших через порог, шаркая галошами, жидкую тропку грязи. У кассы, назойливая, голодными глазами ловившая глаза, девица насильно всунула в руку афишу: «Пять рублей». Шурик взял билет, снял пальто у длинного, грязного, как все в этой зашарпанной, загаженной прихожей, прилавка. По сторонам, толкаясь плечами, грудями и спинами,

качая в цепких пальцах гардеробные номерки, — к прилавку, от прилавка, — сустились зачем-то люди. Ужасно чужие и потому нестерпимо противные. Вот с такими легко, как отец: ногами давить без пощады, с одной брезгливостью на душе. Кишки и сердце, полый, поганный мешок, качающий кровь по сосудам, как насос на городском водопроводе качает — кому на потребу?

Зал был уже полон. «Премьера!» «Весь Киев», должно быть. Очень много погон, женских мудреных причесок. На вечере Македонского не такие, все-таки, были противные. Должно быть, при советской власти даже они, буржуа, больше похожи на людей. Где шпик? Дешевых билетов не было в кассе.

Рядом с Шуриком толстый, с одышкой, такой, как на советских плакатах рисуют капиталистов, едва повернув меж ручек кресла ожирелое тело, говорил соседу что-то об ОЗИФ'е и обращении Драгомирова к фабрикантам. Сосед тряс тройным от-весом синего бритого подборodka.

— Когда власть просит!

Он оглянулся на Шурика: должно быть, сосед показал глазом: слушает. Качнул ушастью, стриженной вокруг плечи большой головой.

— Вы не слушайте, молодой человек! Вам еще рано, вам надо на девиц смотреть.

Тот, собеседник, прошамкал:

— Вы правы, Василий Степанович! Когда власть просит, это последнее дело. Значит, у нее ни силы нет, ни кредита. Власть должна п р и к а з ы в а т ь . . .

С авансцены, перед опущенным занавесом, игривым приветом наклонил распомаженный пробор конферансье. В зале смолк говорок. Конферансье повел глазами по залу, проглатывая проступившую в уголках губ слюну (Шурик сидел близко: видно). Затем он развел руками — округлым недоумевающим жестом.

— Чудеса!.. — Он пригляделся опять, пристально, по рядам, — ряд за рядом. — Чудеса!.. Полный зал — и ни одного, — он оттопырил губы и протрубил: — пролетария!

— Буржуазия!

В зале сдержанно засмеялись. Конферансье закивал с радостной улыбкой.

— Буржуазия. Наконец-то! Enfin! Ну, покажитесь, покажитесь!.. Да, да... подкормились, господа, подправились... хоть куда,

Рука описала три полукруга, показывая, где именно «подправились»; в зале засмеялись громче.

— Значит — слава богу! У Ивана Ивановича опять собственный домик, у Моисея Соломоновича — опять «Брянские», у Марии Васильевны — опять алмазное кольцо... вижу, вижу... — Он прикрыл глаза рукой, словно защищаясь от нестерпимого бриллиантового блеска. — Все, все по-старому. А «достижения революции»?

Глаза — под лоб, руки, дрожа, спускаются мимо подогнувшихся колен, к ляжкам.

— Неужели... так-таки... ничего?

Шопот — трагический.

— Ничего! Но как же так? Ведь в этом самом зале, когда он был ком-залом, ком-иссары ком-врали ком-чванно о ком-мунальном. О достижениях. Неужели все это ком-фьют? Нет, не все: кое-что осталось.

Он отступил на шаг, взболтнув фалдами фрака, и, пропел, пристукивая ногой:

Осталось после Раковских
Много денег пятаковых.
Нехорошая монета:
Но годится для клоуз...

— Виноват, mesdames...

Но mesdames смеялись — на все готовым смехом. Кто-то даже захлопал. Конферансье поспешно наклонил пробор.

— Впрочем, окончательный итог мы будем иметь радость видеть в апофеозе сегодняшнего спектакля: патриотический восторг венчает победу трехцветного флага. До этого мы покажем вам, господа, с этой сцены весь зверинец.

Он махнул в воздухе афишкой.

— Действующие лица: Некто в красном, Статуя Карла Маркса, Раковский, Мирра, его секретарша, — пауза, конферансье подмигнул и проглотил слюну. — Гоценклоз, еврей... еврей без «Брянских», само собою разумеется, то-есть настоящий советский пархатый еврей, Коллонтай, Лацис, Петерс, Евгения Бош, Пятаков, Очкурняк... малоросс... виноват, с позволения сказать, «украинец», Синько, китаец. Приготовьтесь, господа! Я удаляюсь: художественный замысел моей болтовни уступает место жизненной правде. Мор хижинам — грабеж дворцам! Мы начинаем действие балом в Чека.

Занавес медленно ушел вверх. Открылся ободранный павильон: зал с белыми колоннами. Дирижер стукнул палочкой, смычки взвизгнули разухабистым канканным маршем, и из-за кулис по две в ряд, с выпиравшими из-под белых матросок толстыми, нарочито, до невероятия, подтянутыми бюстами, высоко вскидывая ноги в черных панталонах-клеш, парадом вышли хористки... под неприличный, гнусавый куплет мужчины, размалеванного под еврея:

Я — Лацис, Ла-цис,
Хор-ош, как нарцис.

Неужели они—эти вот, справа и слева—и это вытерпят? Шурик прикрыл глаза. Когда, после вступления добровольцев, они раскопали двор Чека, где в последнюю перед эвакуацией ночь зарыли последних расстрелянных, и по Виноградской стлался тяжелый смрад уже тронутых разложением трупов; когда эти трупы выставили они на публичное гниение в мертвецкой университета, созывая обывателей на паломничество — не каждый день посчастливится обывателю видеть морг! — город выл от бешеного страха, город бил со всех колоколен колоколами к заупокойным обедням. Добровольцы сумели весь город насытить трупным запахом, переправляя открытые гробы с мертвячею гнилью по улицам на далекие кладбища. Жертвы Чека! И вот от этих торжественных панихид прямой дорогой — к канкану! Смотреть на жирные трясущиеся груди и смеяться, как смеются они сейчас, жирным, трясущимся смехом. Погань, которая даже ненавидеть не умеет, которая способна забыть даже труп, в который ее ткнули лицом. Они озверели — на миг, но не стали людьми, даже от запаха смерти. Смеются громче. А что, если крикнуть? ..

Боевым кличем. Кличем Чека!.. Как бросятся они все врассыпную, ломая стулья и ноги, выбивая в безумном беге запасные пожарные двери. Потому что они побегут — от вскрика одного — все! и офицеры тоже... Овчарки!

Вальс в три темпа. Мирра — с Раковским, Лацис — с Евгением Бош. Уйти? Все заметят. И шпик где-нибудь здесь. Задержит на месте.

Наконец! Шурша и дергаясь, пополз вниз облупленный занавес с амурами и перекошенной, — как пролетка на баррикаде,

оглоблями вверх, — лирой. Шурик поспешно встал. Но кресло далеко от прохода, проход забит уже публикой. Занавес снова поднялся на вызовы. Шурик с трудом выбрался в коридор. Шпик (наверное, это он — пиджак серый: кто, кроме шпика, затешется между фраков в протертом на локтях пиджаке на «премьеру»?) стоял у двери налево. Шурик повернул в обратную сторону, к буфету, замешавшись опять в толпу. Его окликнули сзади.

— Николай Авксентьевич!

Алина шла под руку с высоким, черноволосым красивым офицером. Рядом с ней — другой, тоже высокий, тоже красивый, тоже офицер. Конечно: она должна здесь быть, как он сразу не догадался? От голоса, от пальцев, белевших на офицерском согнутом рукаве, — тонких и душистых: вчера он держал их, переплетая со своими, он знает их теперь, эти пальцы, — опять поволоклось кругом то, недавнее, тягучее. Он не ответил на поклон, он резко прошел мимо, посмотрев ей прямо и тяжело в удивлением раскрывшиеся глаза. Она окликнула еще раз. Не обернулся. Мужской голос, должно быть, того офицера, что держал ее под руку, сказал достаточно громко, потому что до Шурика дошло:

— Ого, он, кажется, заревновал, этот юноша.

И смех. Ее. Он не ошибся. Вернуться?

Не так надо было. Совсем не так. Опять! Шурик стиснул зубы. Без компаса. Да, да, наверное.

Шпик смотрел в сторону на толстую пудреную даму. Шурик прошел мимо. С людьми всегда так: смотрит, смотрит, не спуская глаз, а как раз то, что нужно, просмотрит. Затертый лоснящийся барьер. Нумерок гардеробный. В прихожей пусто. Кто уходит с премьеры в первом антракте? Служитель перебросил пальто через барьер. Подъезд. Ночь. Слякоть.

Ну, что ж? Все-таки — домой?

На перекрестке, огибая угол, Шурик в упор натолкнулся на Владека. Владек посторонился, кивнув глазами, и сказал совсем тихо, хотя кругом никого не было:

— Семушку в контр-разведке пытали.

В квартире было темно и тихо. Ни в одном окне не было огней. Шурик прошел двором — в тех комнатах, что выходят во двор, наверное, есть свет: люди там. А через подъезд, насуп-

ленный ржавой гнутою крышкой на узорных, временем подогнутых столбиках, сквозь тяжелую, ржаво скрипящую дверь противно было войти: склеп, конечно же: «Здесь покойся тело...»

Надворные окна светились сквозь белые и оранжевые занавески. Белые — в столовой; оранжевые — у Лики. Шурик отогнал имя. Никаких женщин. Решение — здесь. Разрубить, как запутанный узел. Ясно: на той борьбе, на какой они стоят... Шурик и Владек, и Семушка... и отец, — нельзя идти так, как он, не подумав, думал... (ведь думал же! только ни разу не сказал себе вслух: так, чтобы потом нельзя было отпереться); нельзя идти на два лица — сменой: удар — Шурик, и потом, отдыхом — женщина, поцелуй: Непенин. Стыд. Семушку пытаются... отец, должно быть, только что перешел Ирпень, обманув патрули, увернувшись от белых дозоров, головою риску. А он... с женщинами. О них.

Параска, на кухне, возилась еще, споласкивая в узорном, звонком тазу чашки. Окликнула: не хочет ли чаю? Шурик отказался. В столовой — никого; и никого — в угловой. Он плотно, плотнее, чем всегда, прикрыл дверь своей комнаты, повернул выключатель. В тусклом и желтом свете неполным накалом мигавших лампочек огромным и черным провалом выступил от белой стены камин: громоздкий, нелепый завитушками лепных колонок и выступов, чванный, как купеческое надгробье. Пустой стол, пустая, жалкая, затерянная в просторе зала кровать, огромный, как театральное, на пустоту обреченное ложе, диван. Еще какие-то вещи, тоже тяжелые, угрюмые. И за окном, за железом спущенных, как забрало шлемов, тупых и слепых жалюзи, непривычно молчалива, угрюмою молчью, улица. Шурик сел на диван, жестко и неудобно подогнув ноги. Где это он читал... или говорил кто-нибудь, что... никогда не надо оглядываться? Или это тоже из библии? У каждого из нас, вышедших из старого мира, из проклятого города, позади — Содом и Гоморра: кто оглянется, станет камнем, соляным столпом, при бездорожной дороге. Но ведь у него, у Шурика, позади солнце было, и синее небо, когда он шел из Ворзеля на подполье, и раньше — тоже: синее небо и солнце, солнце всегда. Или он не туда оглянулся, и в этом все дело? Оглянулся не на свое?.. Потому что было солнце, а сейчас — желтое, несветящее миганье полумертвых лампочек. Но если есть, если может быть такое миганье, — значит, солнца в мире, солнца в жизни нет, значит, его никогда не было, потому что с солнцем так не может быть: было и нет.

Когда оно уходит в ночь, оно все-таки остается. Ухода нет, когда знаешь, что оно есть. Но если оно ушло...

Семушку пытаются в контр-разведке.

Шурик попробовал себе яснее представить. О старых, прежних пытках он знает из книг (он же читал: Зайдель — о митингах на зло, нарочно)! Тогда было просто: были застенки и специальные инструменты, приспособленные к тому, чтобы мучить уверенно и быстро. Колесо. Дыба. Тиски. Тиски и теперь еще есть — в Турции; отцу рассказывал как-то товарищ, грек, что на площадях он сам видел: положат человека, нагого, в нарочито замешанную жидкую грязь, зажмут колени тисками, железными, с винтами, как на столярном верстаке, и начнут свинчивать, дробя суставы, до тех пор, пока не сойдутся до отказа железные брусья. Тогда бросят. Но это, собственно, не пытка, а казнь. На пытке не надо доводить до конца: обязательно приостановить на самом гребне боли. У боли есть гребень: если его перевалить, как в горах, на перевале, — боль, и чувство, и все пойдет вниз-вниз, так что ничем уже не поднять... И тогда человек ничего не скажет.

Была еще пытка — водой: голову выбреют и на голое темя каплю за каплей, по особой такой воронке, чтобы капли были тяжелые и ровные, и били в одно место, как молотком по всаженному гвоздю. Очень человечно — вода. Не яд, не огонь, не кровь: простая вода, самая обыкновенная... А люди сходили с ума...

Или еще: колышки под ногти. Это, наверное, было специально для женщин. В средние века пальцы у мужчин были, наверное, нечувствительные, с широкими и твердыми ногтями, как копыта: мужчины тогда не ласкали руками и носили стальные рукавицы. В Луге, на даче, когда он, Шурик, был маленьким и ловил рыбу в речушке, жил на мельнице мельник: у него были пальцы, как у рыцаря: ноготь на правой руке такой твердый, что он высекал им огонь из кремня. Невероятно. Если бы Шурик не видел сам, много раз, когда ездил с мельником этим ночью багрить рыбу, он бы ни за что не поверил. Что такому ногтю колышек?... А вот женские пальцы, тонкие и душистые... нет, он не об Алининых пальцах подумал... Сейчас, говорят, колышки такие употребляют в контр-разведке, потому что их сделать легко из подручного материала, а можно и вовсе не делать: просто подкалывать перочинным ножом, или даже пером, которым пищут протокол. И так даже, наверное, гораздо больнее, без техники,

При технике, палаческой, было, вероятно, легче: все приспособлено так, чтобы не было лишней неиспользованной боли. У теперешних, там, на Фундуклеевской, нет техники: каждый мучит, должно быть, по собственной фантазии и чем попало. И это, конечно, несравненно мучительнее, чем было в прежних застенках... Так вот они и Семушке... колышки... Семушка очень крепкий. Не телом: телом он тщедушенький, у него плечи сведены туберкулезом, и грудь запряталась под ключицы: никак не скажешь, что он агроном, полевой человек. Он — хилый. И заикается, когда говорит. Но в том, что он говорит, есть большая крепость. И что бы с ним ни делали, — он не выдаст.

На дыбе его... или проволокой? Проволокой — немцы придумали, лейтенанты, здесь, на Украине. Когда борьбисты, левые эсеры украинские, убили фельдмаршала, Эйхгорна, в Киеве и были арестованы: Борис Донской (который убил), Ира Каховская и еще один, — Шурик забыл, как имя, — их всех троих пытали, привертывая проволокой, в обкрут, к кровати: все ту же, ту же... Когда Донского вывели вешать, его не узнать было, так он затек весь, ноги не двигались. Может быть, и Семушку так? Нет: это сложно. И откуда в контр-разведке — кровать. На дыбе, наверное: веревка через крюк, на ноги — груз кирпичей: это просто. Или — колышки: у Семушки руки, как у девушки.

Дверь чуть приоткрылась, без стука. Лица.

— Под дверью свет; значит, не спите. Алина вернулась из театра, сказала, что видела вас, и что вы не в себе. Случилось что-нибудь? Отчего вы чай пить не захотели?

Шурик не ответил. Она улыбнулась ему, с порога, ласковой и тихой улыбкой. Шурик смотрел на две косы, ровно и тяжело спускавшиеся от прямого пробора, большие, серые, простые и ясные глаза, полную и белую руку, придерживавшую у горла широкую, пестрыми букетами по черному полю затканную, шаль. Желтое миганье лампочек, полунакалом, было теперь, когда она вошла, совершенно непереносно фальшивым. Он закрыл глаза, чтоб не видеть, и сказал быстро, не успев подумать:

— Потушите свет

Она подождала... Ему надо еще сказать что-то? Но он ничего не говорил. Выключатель щелкнул. Векам сразу стало легко. Ставни опущены, плотно, железо не пропускает даже ночного света: в комнате темно, совсем...

— Что с вами, Николай Авксентьевич?

Голос совсем близко, совсем над лицом. Лика знает свою залу, ей не надо света, она подошла. Подошла уверенной и твердой походкой, — тоже, наверное, потому, что она здесь — у себя, дома, не так, как он, — человек чужого паспорта, маскированной жизни.

Пружины дивана дрогнули и прогудели старым, усталым гудом. Шурик почувствовал рядом, близко, совсем близко от него опустившееся тело. У самой щеки пахнуло теплом сдержанного, но спокойного дыхания. Шурик протянул руку — в темь; пальцы скользнули по тугой плетени косы и коснулись сквозь шаль, сквозь тонкий капотик под шалью, ровно и высоко дышавшей груди. Он остановил руку, и тотчас же мягкие и ласковые пальцы легли на его пальцы и отвели их, легким и дружеским, страшно родным и нежным пожатием вниз, от теплой и живой девичьей кожи на холодную кожу дивана: сжали пожатием и задержали так. У Шурика дрогнули веки, томительно и радостно, как в детстве, когда ласкала его, в задумчивую минуту, мать. Он протянул вторую руку, уже ищуще, уже смело, откидывая путавшую пальцы бахромистую шаль; рука легла как раз под самым сердцем: оно билось горячими, сильными, медленными, радостными ударами. Глаза Лики были видны во тьме, Шурик не мог ошибиться: он страшно ясно, яснее, чем в самый солнечный день, видел их перед собой, под чуть-чуть опущенными длинными, шелковистыми ресницами. Он нагнул свою голову, так, чтобы видеть, зрачок в зрачок, и, уверенно и нежно, как будто между ними все было уже давно сказано, и они давнотак давно уже вместе, — прижал губы к губам. Сердце дрогнуло под рукой. И потом, уже в полудреме, в истомном бездумьи — ближе, ближе, теснее, так, чтобы от самой малой реснички до ноготка ноги — все свое, все близко: одно.

33

Шурик проснулся поздно, веселый и крепкий. Под окном, за опущенной гофрировкой ставней, настойчивым и бодрящим стуком грохотали телеги. Шурик вспомнил. Это давно уже началось — грохотанье за окнами. Еще в середине ночи, еще когда Лика была. Лика! Имя ударило лучом, заиграло радужным зайчиком по стене, против зеркала. Луч. Лика. И на улице, с тамошнего неба, тоже, наверное, зайчиками — по хмурым, заплаванным дождями стенам — лучи.

Не одеваясь, Шурик подбежал к окну и дернул толстый шнур. Створки, подбираясь, ворчливо поползли вверх. Так и есть: солнце. Небо над дурацким, подкрашенным под фисташковое мороженое семиэтажным домом насупротив, — яркое, синее, холодной осеннею синью. По улице — грязь. Да, да, он тоже помнит: ночью шел дождь, трусил с неба маленькой, жиденькой, слабосильной трусцой. Грязь. На грязи — телеги долгой, взлохмаченной вереницей: обозы.

Шурик вспомнил: ночью, когда очень стали стучать, ему на маленькую-маленькую секунду тоже подумалось так: обозы? зачем бы? Но тогда мысль сразу утонула... в том, о чем не надо ни думать, ни помнить. Шурик засмеялся, по-ребячьи совсем, светло, выпрямил грудь и почувствовал, что грудь стала почему-то милая. Ужасно странно! Все время, всю жизнь была просто грудь: кожа с пушком кое-где, под нею — мышцы, под ними — упруго-крепкий каркас: кости. Самая обыкновенная, анатомическая. А сейчас — милая.

Телеги, двойным затором стоявшие против окна, тронулись вдруг, сразу, с гремучим грохотом. В обгон их, к Бибииковскому бульвару, вскачь почти, по самому тротуару, промчался, пригнувшись к шее лошади, офицер в забрызганной до плеч грязью шинели; мелькнул перед глазами Шурика горбатый — под клювом нависшим козырьком фуражки — нос, закушенный небритой губой тоненький ус...

Быть не может!

Прижавшись лицом к стеклу, Шурик глядел: да, да, телега за телегой, полупустые, спешные... Вон в той всего десяток гранат, роя носами солому, перекатываются в тележной, досчатой люльке, набросанные наспех, без счета... Не задерживай, пошел! И на этой — снаряды вперемешку с какой-то рванью, с боченками, с сумками: скарб.

В дверь стукнули.

— Лика... ты? Нельзя, я не одет.

Она ответила из-за двери... Шурик так ясно видел ее! Держится рукой за косяк, глаза милые и усталые...

— Добровольцы уходят.

Он совсем отошел от окна — к платью, но бросил, придвинулся к двери, как был.

— Я не одет. Просунь руку!

Дверь чуть-чуть приоткрылась узенькой, зажмуренной щелкой. В расщеп раздвинувшихся створок продвинулась рука —

ребром, боком, в самую узь: не для поцелуя, для пожатья. Милая! Шурик крепко пожал руку. Пальцы вырвались, поднялись над его раскрытой рукой, помахали, в перебор. Он поймал губами, поцелуем палец, потом горячее, радостнее, смелее — в сгиб, один раз, другой. Рука повернулась ладонью, погладила лицо от подбородка вверх по щекам, отдернулась. Дверь притворилась.

— Одевайся. Пора. Уже поздно.

Шурик оделся в минуту. Ополоснул лицо и руки. Мысли бежали, быстро и бурно, как облака по ясному небу... Небо у Шурика ясное-ясное... На явку прежде всего. Нет, прежде всего — оружие.

Опять стукнули в дверь.

— Готов ты, наконец? Кофе пить!

— Кофе? Нет, я не буду.

— То-есть как не будешь? Это еще почему?

Дверь открывается, дверь открылась, она вошла — Лика, Лика! Жена.

— Не глупи, пожалуйста: поспеешь.

Глаза смотрят в глаза. Глаза у нее новые — теперь всегда будут такие: не вчерашние, вечерние, а сегодняшние: ночь — день. Какая это огромная радость, когда не надо рассказывать и не надо догадываться, когда можно так, просто, из глаза в глаз! Когда есть — жена.

Руки — на черные, на мягкие волосы, губы — к глазам: потихонечку, осторожно: к одному, к другому. У, ресницы противные, длиннющие!.. Щекочут.

— Идем кофе пить. Все равно сейчас ничего не разобрать; что можно было, Параска все на базаре узнала... — Лика смеется. — Самая достоверная информация.

Надо бы бежать сейчас же, собственно. Но, с другой стороны, пожалуй, действительно разумнее узнать раньше, что говорят: базар — лучше всякой редакции. А это ведь не какой-нибудь базар — Бессарабка. К ней все концы сходятся: и с Демиевки, и с Лукьяновки, и с Подола. Там все с прилыгом, ну, а в редакциях как? Зато из первых рук. Послушать Параску-редактора. И надо же так: первый день — первое солнце, добровольцы уходят.

В столовой нет никого. От пустого прибора, на той стороне, через стол, кольнуло на секунду липкой и противной иглой. Алина. С нею еще... Кольнуло и сейчас же прошло, ни оско-

лочка не осталось от старого. Теперь просто все, совсем: стрелка — на север. Теперь ничего быть не может. Если она сейчас выйдет из комнаты, в пеньюаре своем, открытом, плечи, до самых подмышек, совсем на виду, за корсажем — письмо от офицера, любовное, от начальника контр-разведки, может быть, — все может быть: она ведь чужая, — это нисколько не тронет, нисколько не будет обидно. Он будет даже очень приветлив. С чужой легко быть приветливым. Но она не выйдет сейчас, Алина, нет: случайностей в жизни никогда не бывает. Отец? Да... успел найти штаб? Может быть, он уже опять в городе? Надо скорей.

— Пей же! А еще говорил, что торопиться!

— Не могу. Кофе жгёт. — Он нарочно так сказал: жгёт — по-ребячи, как в детстве, когда было ему пять лет; мама запрещала, говорила, что так нельзя сказать, неправильно. — Жгёт.

— Налей на блюдечко. Точно маленький.

Вот-вот! Теперь — она! Так он и знал! Надо побольше расплестись на скатерть.

Лика рассказывает — с рассказа Параски.

Красные в Святошине: ночью прорвали фронт. Вышли на железную дорогу, Ирпенский мост заняли и все переправы. Китайцы идут, мадьяры, немцы и наши — русские. Почему неожиданно? По слуху, где-то перепились заставы: красные об этом узнали; а другие говорят: навалились сразу такой силой, что никак нельзя было сдержать. К полудню весь город будет за ними. На Бессарабке донских уже не берут... Впрочем, не берут и советских: керенские идут и царские.

К полудню! На часах, на стенных, маятных, стрелка бежит как бешеная: минута в секунду. Кажется, только что сели за стол, Лика ломтика хлеба не успела намазать: нож как был в руке так и есть, а стрелка обежала уже полукруга, вот-вот подойдет к главной, самой загороженной цифрами черте, зацепится, тукнет, загудит внутри и пойдет отщелкивать, укоризненно:

— Один, два, три... десять...

Через два часа! Нет, невозможно!

— Не буду я ничего есть, Лика!.. Право же, совершенно необходимо.

.....

Прежде всего — маузер. Маузер — под полом, пятая паркетина от камина, от засечки на чугунной решетке. Приподнять

стамескою тонкую дубовую планку — дело минутное. Шурик вошел в комнату об руку с Ликой. Стамеска в ящике с разною разностью в углу под кроватью. Шурик отпустил Ликину руку, нагнулся, пошарил, достал. У Лики брови чуть дрогнули, сдвинулись, собрали на лбу смешную-смешную, серьезную такую морщинку. Отошла к двери, закинула руки назад, за спину, взялась двумя руками за дверную ручку, ведет глазами за Шуриком, от кровати к камину, от камина прямо через комнату... Один, два... пять.

Шурик считал, постукивая сталью по дубу, посмеиваясь губами и глазами. Один, два... пять. Пропустил стамеску в забитую мастикой и сором щелочку, выбросил планку, засунул руку и вынул... Большой, запеленут в сукно, перекручен бечевкой. Шурик взглянул на Лику. Глаза строгие, но такие, словно она знала. Ведь знала же, Лика?

Она кивнула, и глаза заулыбались опять.

— Ну, конечно же! Разве можно было не узнать?... Как только назвался: Николай... — Она потрясла головой, захлебнувшись смехом. — Николай!.. Ну, какой же ты... Николай? Сразу слышно: чужое. И потом это тоже: варенье. Хотя бы какое-нибудь другое занятие, не такое... сладкое. А мама все говорит: какой он странный, Николай Авксентьевич! Такой душевный, а хотя бы когда-нибудь баночку варенья занес. Ведь у них, на складе там, этого варенья, должно быть, вот как много!

Шурик стукнул затвором. Лика опять стала серьезной.

— Ты осторожнее все-таки. Дома — особенно. Ведь в конце концов мы еще ничего толком не знаем. А если прорыв — случайный, и наши...

Так и сказала: наши. Звонко и крепко. Шурик задвинул обойму мягким, привычным нажимом.

— Случайный? Забудь раз навсегда это слово. И если наши ворвались...

— Будь осторожен, — повторила, покачивая косами, Лика: — Будь осторожен... — Она улыбнулась и подняла брови. — Ну, как?

— Шурик.

— Шурик! — рассмеялась Лика и протянула руки. — Вот это — настоящее, совсем настоящее... Шу-рик!.. Пусти, глупый!

Маузер — под пальто, запасные обоймы — в россыпь по карманам. Шляпу — на брови. Дверь за собой — крепким стуком, и — бегом, вприпрыжку, через лужи, рябящие радугой. Солнце.

По Пушкинской обозы прошли. Но на перекрестке Пушкинская — Бибиковский, через бульвар, по ту сторону — затор: повозки, дышло в задок, длинной цепью, почти до самой гимназии. Этот обоз — войсковой, не на реквизированных, не на случайных. Конские ноги и брюхо, ободья тележные густо зашваркованы грязью, липкой лесною глиной: гнали издалека. Солдаты в траншейных шлемах тарелочками, коричневых, крашенных под грязь. На тележных настилах и здесь скарб, снаряды, укутанные кое-как, наспех, от дождя пулеметы. Отступали, должно быть, без боя. И не отступали даже — бежали. Оттого и в грязи по пояс.

На тротуаре прохожие кучками обступили солдат. Шурик остановился, прислушать.

— Прорвали, говоришь?

— И откуда их чорт насыпал! — смеется белозубый солдат, здоровенный, пулеметные ленты через плечо, крест-накрест, как у балтийского революционного матроса, с «Авроры». От этого веселого смеха у Шурика мысль: переодетый наш. Ведь в самом же деле может быть наш. Наши — всюду. Вот сейчас вывернет пулемет из-под рогожи, с телеги, раскаракатит у тумбы и а-ах-нет! Гор-рохом, по обывательщине, вот этой самой. Ее в самую первую очередь надо бы бить... ядовитая плесень, самосудники. Партийцы, старшие, этого не говорят; это противоречит, наверное, государственной политике, но ему, Шурику, или вот этому, матросу переодетому, можно: они еще не ответственные, им можно, как чувствуют.

Шурик с выжиданием смотрит на своего матроса. Но солдат не тащит пулемета из-под рогожи; он сморкается в руку протяжно, в пролет меж обступивших его обывательских ног и начинает рассказывать дальше.

— В ночь — тихо, спокойно. А брезжить стало... ребята смотрют... что за притча такая: по лесу... цепями...

— Прозевали?

— Чего зевать, ежели, я говорю, во всю ночь его не было: вернулся нивесть откуда. И сразу, этто, я тебе скажу, ка-ак на-

валится: ордой. Цепь, а за ею цепь, и еще; еле, я тебе скажу, погрузиться успели. Благо, обоз близко.

— Очень хорошо! — язвит некто, котелок на затылке. — Вместо того, чтобы драться...

— Драться? — солдат засмеялся и оглянулся на товарищей: те тоже, точно по команде, показали зубы. — Куды ж драться, ежели, я те говорю, они безо всякого порядку! Ходом, прямо на пулемет, а не то, чтобы, как по уставу, перебежками.

— У них и устава нет, — отозвались в толпе. — Красноармейщина!

— То-то и есть! — кивнул солдат. — Я ж говорю: еле ноги унесли.

— Вы-то унесли, а мы как? — желчно выкрикнул рядом с Шуриком пожилой господин, выкатывая из-за облезлого бархатного воротника кадык. — Нас — на раззор? На пропятие, а? Придет Чека, — спуску не даст, небось! По одному переберут!

— Не переберут, — неуверенно сказал солдат, отвернувшись, насутился и принял сейчас же строевой и служебный вид. — Матвеев, огляни-ка там, по спуску: чего их заело, ходу не дают?

— Ходу не дают! — крикнул пожилой, окончательно входя в азарт. — Теперь «ходу не дают», а когда Киев брали...

— Именно! — подхватил другой, губастый, в пенсне, и налег сзади плечом на пожилого. — Незачем было брать, если удержать не можете! Провокация... Заставили чествовать... все обнаружили, а теперь...

— Войны!..

— Вместо бою — пятками чешут... спасители!

— Ты, однако... — начал солдат. Но телеги в этот момент с грохотом стронулись: Матвеев махнул рукою с угла, через квартал, от Крещатика. За обозом вдоль по бульвару зажелтели шеренги: сомкнутым строем, неторопко шла какая-то воинская часть. Говор на тротуаре сразу смолк. Шурик пошел дальше.

У особняка Ярошинского, сахарозаводчика (там сейчас квартира генерала Флуга, штабного), гудели нетерпеливым гудом две застопоренные машины. Несколько солдат торопливо выволакивали чемоданы сквозь широко распахнутую желтую лакированную дверь. У подъезда, в кучке офицеров, сам генерал, в сером и глянцевитом, словно накрахмаленном пальто, с желтыми отворотами, и с красным, — не под цвет отворотам, — опухшим лицом, говорил медленным и хриповатым басом:

— Как же было не предупредить его преосвященство? Неужели обо всем обязательно надо мне самому думать? Митрополит Антоний в соборе, и ежели он...

— Я приказал задержать на случай поезд, — доложил высокий и седоватый генштабист. — Но это уже риск.

— Китайцы на Еврейском базаре, ваше превосходительство!

Генерал оглянулся на адъютанта и встопорщил усы по-кошачьи.

— Вздор!

Взжыг-та-трах!

Над крышею дома, насупротив, грохнуло и раскатилось дробью по железным листам. Прозвенело, осыпаясь, на тротуар стекло. Шоферы, раскорячив ноги, захолопотали около машин.

— Езжайте с богом, от греха... ваше превосходительство! Близо.

Генерал занес ногу на подножку, но приостановился в раздумье.

— А все-таки, может быть, лучше послать за митрополитом машину.

Генштабист крикнул уже с сиденья второго автомобиля.

— Машины все угнаны, ваше превосходительство! Только ваши и остались.

— А запасные? Я же распорядился: резерв.

— Резерв угнали раньше всех прочих: контр-разведка. Особо спешно. Грузовики еще... циркулируют, но поскольку было бы удобно... его святейшество... на грузовик?

Снова ударила, высоким и далеким разрывом, над крышами, шрапнель.

Генерал вздохнул и сел. Пошарил руками по сиденью и крикнул испуганным голосом, напружа шею:

— Портфель?!

— Здесь, здесь, ваше превосходительство, у меня!

Адъютант ловко перелез через противоположный борт, не открывая дверцы.

— Ходу, Михаила!

Машина рванула. Генерал дернул корпусом назад, потом вперед... из-под шин широкими лентами брызнула грязь.

— И вы, господа, не задерживайтесь...

У подъезда осталось трое. Собственно, если бы потесниться... на двух машинах можно бы поднять еще троих...

Ближайший к Шурику, в шпорах, с веселым лицом, фыркнул смешливо и сказал:

— Это, что называется: «А ну вас . . . к митрополиту!» Что ж, господа, пойдем!

— Пешим по-конному? Слуга покорный!

— Извозчиков все равно не найти. А вам, в сущности, что здесь угодно, молодой человек?

Капитан, спросивший, был толстоносый и добродушный: Шурик нисколько не смутился. Он ответил вполголоса:

— Очень важно. Я, видите ли, слышал, что город эвакуируют. И так как здесь уезжали . . . я хотел убедиться.

Кавалерист рассмеялся и дрыгнул шпорой.

— Пойдите на этот месте полчаса . . . А еще лучше зайдите в генеральскую квартиру . . . Заходите, заходите, пожалуйста, не стесняйтесь: видите, двери нараспашку. Радущие, молодой человек, есть основной признак истинно-русского. Флуг, Эдуард Эдмундович, что может быть более русское, не правда ли? Пойдите на диванчике. Подойдут которые некоторые . . .

— Брось, Вревский, — нахмурился, сказал толстоносый. — Пошли на Подол. Дроздовцы отходят туда: Подол будем держать крепко, — стало быть, мы сможем проследовать за Днепр не спеша . . .

Дроздовцы. Подол будет держать крепко.

Шурик согнул, для конспирации, плечи и быстро пошел. Он слышал шаги офицеров, прерывистое позванивание шпор. Впереди из-за перекрестка выскочил, бегом, оглядываясь, офицер с винтовкой.

Голос из-за спины Шурика окликнул:

— Господин поручик, куда мчитесь? . .

Офицер дернул головой и остановился.

— Из третьей охранной роты, — проговорил он, слегка заикаясь. — На Столыпинской мы попали под обстрел . . . из домов . . . в перекрест пулеметы . . . рота уничтожена.

Офицеры, чиркая каблуками по панели, обогнали Шурика. Капитан взял бежавшего поручика за плечо и потряс:

— Вы что . . . спятили? В охранной роте . . . четыреста . . .

Поручик кивал в такт капитанской руки. Губа у него отвисла из-под усов, открыв желтые, под налетом, нечищенные зубы.

— Я ж говорю . . . перекрестный . . . ста не оста-лось.

Капитан сжал плечо.

— Где это было? Номер какой, я спрашиваю?

— Дом номер девяностый. — Он оглянулся назад и вырвал плечо. — Идут! . . Скорее!.

Он отбросил винтовку к середине улицы и побежал, подбирая полы шинели. За ним кавалерист, сбив фуражку на глаза, в обгон с адъютантом. Прохожие на той стороне улицы, оставившиеся в ожидании, рванулись, стадом, по спуску улицы. Капитан, пожевав губами, вынул револьвер.

— Стой!

Он поднял дуло в угон адъютантской спине, помахал им в воздухе, но не выстрелил. Шурик стоял, зажав под пальто рукоятку маузера. Выстрелить? Нет? Но капитан был толстоносый и добродушный. Раньше, чем Шурик решил, он оглянул его серьезным и очень человеческим взглядом.

— Так-то, молодой человек! Не берите примера: не похвально.

Он скосил глаза вверх, по пустой улице, поджал губы, опустил револьвер в кобуру и пошел, вправо, вслед за убежавшими, неспешной и валькой походкой.

35

На Столыпинской? из домов? Стрелять могли только наши — подпольщики. Но пулеметов в подполье нет. Ни у большевиков, ни у борбистов, ни у боротьбистов: Шурик знает наверное. Откуда же взялся «перекрест»?

До Столыпинской недалеко: Шурик добежал духом. Прохожие — редкие — оглядывались. Он бежал не в ту сторону, в которую шли все.

— Забыл дома что, малый? Эй, берегись!.. Китайцы на Еврейском базаре!

Из четырехсот вычсть сто — триста. Триста трупов или раненых... Есть чем покрыть мостовую во весь перегон от фонаря до фонаря. Но по Столыпинской пусто. Не только у номера девяностого, — в номере мог, с перепугу, и вовсе ошибиться офицер, — нет по всей улице, начисто. Не только что крови, — нет ни следа и тревоги.

Глупо: зря побежал. В сущности, сразу можно было определить: паника. Ведь оттуда, с угла, были бы слышны пулеметы, если бы роту действительно... А все-таки: куда же она девалась, если тот, беглый, из третьей охранной?.. Неразбериха. Надо скорей на Рейтарскую, на явку. И больше нигде не задерживаться: все равно не ориентируешься. Дроздовцы держат Подол: это вот важно.

• • • • •

Шурик, с разгону, даже не посмотрел на окно: есть сигнал или нет. Вспомнил только на лестнице, на самом верху. Впрочем, это не важно: добровольцы ушли. Контр-разведка первой удрала за город: он же сам слышал.

Позвонил в два приема, условным звонком: короткий и длинный-длинный. Дверь сейчас же открыли. Девушка, быстроглазая, незнакомая, и смеется, как Шурик: хоть без пароля входи!

— К Петру Васильевичу, — сказал все же Шурик, скороговоркой. И двинулся через порог, не дожидаясь ответа. Девушка прикрыла за ним дверь и ответила, тоже скороговоркой.

— Никого нет... все ушли... Вы от кого?

— От Василия Петровича (пароль такой — по второму кругу).

Она кивнула.

— Василий писал. (Так полагается по второму кругу отвечать на пароль). Вы не товарищ «Младший»?

— Да, Младший. А что?

Девушка оглянулась в пустой коридор, засмеялась и оправила косу.

— Не могу привыкнуть еще, что можно говорить сейчас совсем громко: белых нет. Конечно! Зайдель поручил передать, чтобы вы прошли в типографию, на Караваевскую: ну, где мы печатались. Предупредить метранпажа, что завтра с утра газета выходит. Пусть приготовит смену на ночь, к вечеру будет доставлен материал для набора. А оттуда ступайте на сборный пункт.

Вот это — славно! Ужасно не терпится опять увидеть всех — не вразброд, украдкой, по кофейням, а всех вместе, всем «гуртком», как уютно говорят украинцы. Увидать среди бела дня.

— А где сборный?

— В Маринском парке. Оружие у вас есть?

— Есть.

— А то Владек оставил для вас, на случай. Не надо?

Шурик поколебался секунду. Может быть, лучше в два дула? Нет, будет мешать. Обойм хватит. Не надо.

.....

Дверь в типографию, грязная, как была, так и осталась не заперта. Шурик вошел уверенно: сколько раз приходилось бывать — и в дневной, и в ночной редакции.

— Василий Федотыч здесь?

Рабочий, в синей блузе и фартуке, оглянул его подозрительно.

— В наборной. Здесь обождите. Я позову.

— Зачем? В наборной? Я знаю.

Через контору, потом — переплетную. Десять женщин что-то фальцуют, быстрыми пальцами (да неужели печатня работает?) Мимо бумажных кип, мимо недвижных машин. В наборной, метранпаж Василий Федотыч, плешистый, в очках, замотанных нитками по переносью и над ушами, стоял в раздумье над талером. Кругом, без дела, наборщики. Шурик крикнул с порога, звонко:

— Ну, добрый день, товарищи!

Все, как один, вздрогнули. Федотыч глянул из-под стальных очков, по-бычьему наклонив плешатую голову. Нет... не опознал. Шурик совсем рассмеялся.

— Что же это вы, совсем позабыли? Скоренько! Я — Ананьин младший.

Никто не ответил. Все стоят, как стояли. Радость Шурика спала.

Он поглядел на талер. На талере, в раме, уложенной к верстке, жирными толстыми литерами, на блестящем недавнем клише:

КНЕВЫННИ

А ниже, под линейкой, бисерными столбиками, пачечки свежеслитых столбцов.

— Это... что же такое?

Наборщики отошли к окну. Федотыч ответил глухо:

— Предполагалось — экстренный выпуск. Что же, госпо... товарищ Ананьин?... Разве в самом деле... вернулись?

Шурик стукнул рукой по талеру.

— А вам, скажите, пожалуйста, не стыдно такую черносотенную дрянь набирать?

Федотыч пожал плечом.

— Мы разве вникаем? Профессия.

От окна веснущатый наборщик откликнулся:

— Литера терпит — и мы терпим. Гарт, во что ни сплавь, выдержит.

— Есть-то надо?

— Не за погромный же счет! — вспыхнул Шурик. — И когда мы уходили, всем за два месяца вперед было уплачено, это ж я знаю. Могли подождать.

— А контр-разведка? — Это опять тот, веснучатый, и глаза у него испуганные и злые: нет злобы злобнее, чем от испуга. — Моисеенку, тискальщика, изволите, может быть, помнить? Не политический был человек, так себе, попросту, если сказать, немудрящий, притом еще пьяница. Так он не то, чтобы что, а только обмолвился, когда офицеры на обыске здесь в типографии, были. Вместо «господин» ляпнул «товарищ». Только и всего. Мигнуть не успел, — забрали. За оговорку и то... А вы... не печатать!

— Ежели бы по-вашему, — поддержал веснучатого другой, — во всем Киеве ни одной типографии бы не осталось. Шутка сказать: девять смен власти-то! Одних — при одной, других — при другой.

— Третьей и то стало бы бить некого.

Кругом засмеялись: холодно и враждебно. Шурик тряхнул головой.

— Ладно! Очищай талер.

Федотыч кашлянул.

— Разрешите согласовать, товарищ Ананьин! У нас из типографии только-только объявления на расклейку взяли — на трех машинах печатали. Матюш, дай-ка им объявление.

Плакат белый, огромнейшими буквами, за две улицы увидишь, прочтешь:

«По приказу главноначальствующего, киевский губернатор оповещает население, что инцидент на фронте исчерпан и основания для тревоги нет.

Киев, 1 октября, 10 часов 30 минут».

Метранпаж следил глазами за Шуриком, пока тот читал. И добавил совсем уже тихо:

— А сейчас, по телефону, распоряжение было: печатать в десяти тысячах анонс — через час пришлют для расклейки: извещение от штаба:

«Войска Добрармии перешли в наступление и гонят неприятеля».

— Это вздор и провокация! — решительно сказал Шурик. — Никто через час у вас этих анонсов не возьмет. Я сам видел, собственными глазами, таки тикал Флуг. Город за нами. Добровольцы ушли.

Федотыч развел руками.

— Мы и то... от набора воздержались... Но вы, товарищ Ананьин, не обижайтесь по молодости. Впредь до выяснения, по нынешним временам... голова-то одна... нельзя без осторожности.

— Осторожных-то в первую очередь и бьют! — Шурик вспомнил отцовское выражение и засмеялся. — Нет, это вы, Василий Федотыч, бросьте! К ночи сегодня — полную смену, с завтрашнего дня наша газета снова выходит. Материал для набора я доставляю к вечеру. А эту мерзость, — он кивнул на талер, — в переплав.

Помолчали, потом Федотыч спросил:

— Заголовок тот же будет?

— У нас заголовок всегда и всюду один! — с ударением сказал Шурик. — Вы это запомните на всякий случай, Федотыч! Ну, я пошел! — Он пожал руку метранпажу и двинулся было к двери, но вспомнил: — Бумага есть, конечно?

— Бумага? Есть.

— Так конечно, значит? И натвердо, не правда ли? Смену на ночь, и всякие сомнения бросьте. Мы вернулись.

И, точно в подтверждение, сразу же, с улицы, донесся по камню, по грязи, ближе и ближе, топот стучащих бегом шагов, переклик голосов, гуденье спешащих моторов... Наборщики бросились к окнам. Федотыч, роняя линейки, сорвал с талера «Киевлянина».

— Разбирай шрифт, живо!

Шурик пробежал машинное, переплетную. Фальцовщицы тоже сбились к окну. За окном топот и крики. Полдень.

36

С подъезда, в первый огляд, Шурик ничего не понял. Не красноармейцы, нет. И не добровольцы. Старушки с какими-то свертками, гимназисты в распахнутых серых пальто, мужчины с кокардами и без кокард, с плетенками, пледами, женщины, дети — в наряде, в перегон... Хлеба белыми туфлями по шоколадной грязи, бежала хрупкая, бледная, лишь по губам промазанная красным девица: рядом с нею трусил, колыхая справа налево обвислым животом, почтенного вида мужчина, в котелке и с подбритыми бачками. Священник, осанистый, с окладистой бородой, оступаясь на мостовой, окунал

в лужи вишневые полы шелковой рясы. И еще, и еще девицы с пакетами, с зонтиками — впереди, позади задыхающихся от астмы полнотелых, толстошеих мамаш... Без конца!.. По той стороне, за бульварчиком, гудом сирен расчищая дорогу, промчались грузовики... Три... четыре, вещи и дети, чемоданы, узлы, баба в платке, дама в шляпке, офицеры с винтовками — ходу! ходу! — за угол влево, к Крещатику.

Киев сдернулся с места. Киев бежит. Вот когда пошло... настоящее...

Шурик спрыгнул со ступенек в толпу. Криком кричал рядом, в дебелых руках, с головой запеленутый горластый ребенок. Причитала, отставая, старуха. Толпа катилась к Крещатику. По Крещатику еще тарахтели телеги, мчались пролетки. С окрестных улиц, нестройными горами, сбрасывались новые и новые толпы беженцев. Исход! Что сейчас думает Зайдель?..

Шурик бежал, подсвистывая и толкаясь, обгоняя девиц и старух: до Мариинского им по дороге. Против Пассажа, свернув с мостовой на панель, он набежал на двух оторопело стоявших делового вида мужчин. Один из них, моргнув нырявшими по бегущим глазами, вдруг опустил челюсть и крикнул:

— Куда, Пантелеймон Сергеевич?

— В Бро-ва-ры, — с одышкой отозвался, не убавляя ходу, толстяк. — А вы... что же?

— Я? — Деловой поднял бровь над сразу застеклевшим зрачком. — Я? Нет... Мне зачем? Меня-то не тронут... Зачем им меня трогать?

Шурик остановился у витрины — передохнуть от быстрого бега.

Деловой перевел глаза на него и поморгал, явно соображая. Потом повернулся к спутнику, старательно, но без успеха раскуривавшему папироску.

— Матвей Петрович, будь друг, зайти к жене, скажи, чтобы не беспокоилась. Скажи: ушел в Бровары.

И, решительным жестом отогнув к ушам воротник пальто, повернулся и побежал, с прискоком, вдогонку Пантелеймону Сергеевичу.

— Обождите... Вместе пойдем...

Но шапка Пантелеймона Сергеевича мелькала далеко уже впереди, в рябивших пестрою мутью перекатах человеческих волн: она кивала, в полуоборот, полным согласием, но ходу не убавляла.

Шурик тронулся дальше. С углов, с магазинных витрин, белели плакаты — те самые, из типографии:

«По распоряжению главначальствующего... нет никаких оснований».

— Нет оснований? Так ладно же!

Шурик набрал как можно больше воздуха в легкие и крикнул во весь голос, перекрывая гулкое чавканье по грязи торопливых ног:

— Ки-тай-цы!

Ряды с визгом рванулись в россыпь. Кто-то, прижимая шляпу, ударил, с раската, Шурика в спину лбом. Под ногами крутилась большая, на красной подкладке, калоша. Шурик чуть не упал, однако управился, вывернулся из накатившейся сзади лавины бегущих и — боковой улицей, взгорьем, вверх — к Липкам: там можно легче и быстрее срезать путь и выйти... нет, выбежать к парку, на переймы этому бараньему стаду.

37

Переждав, пока протянулась мимо долгая вереница фур с наваленными мешками, с солдатами, перепачканными грязью и мукой, Шурик быстро перешел улицу к калитке парка. Калитка была приоткрыта, но вдоль чугунной решетки и дальше вглубь, между деревьями, никого не было видно. По улице, вслед за обозом, успокоенным ходом миновавших опасность подымались лошади и люди. Шурику особо заметилось: никто не оглядывался назад.

Он вошел в парк. На мягкую, вспухшую от дождя глину дорожек раздумчивым и покорным лётom падали желтые и красные листья. Аллея вывела к обрыву, на Днепр. Туман закрывал мосты; река тянулась такой же мутной, серо-желтой дорожкой, как эта вот, парковая, аллея. Она была пуста; только на самой середине, сбившись носами, как овцы в буран, маячили пять-шесть сиротливых, оброшенных барок.

Шурик оправил маузер под пальто и вернулся к решетке.

За рядом чугунных копий, по ту сторону гранитного цоколя, непрерывным, беспорядочным строем все еще двигались беженцы. Они шли теперь совсем тихо, и все-таки казалось, что они бегут. Шурик сейчас только понял: почему таких называют «беженцами»: что бы они ни делали, как бы ни двигались, — все равно: бегут.

Старуха-беженка остановилась у цоколя, прямо насупротив Шурика, прислонила узелок к камню, пожевала губами.

— Ты чего ж это, сынок, в сад забился?

Шурик чуть было не сказал: «Чтобы удобнее было стрелять». Но лицо у старушки — печеным яблоком, церковно-приходское и очень старое, а в глазах такой антихристов испуг, что Шурику не сказалось. Он промолчал бы совсем, но в этот момент о старушку запнулась девица. Девица была в очень кокетливой шляпке, с перышком, губки подкрашены, и даже под запавшими глазками подрисовано было черненьким. Она улынулась Шурику и сказала:

— Всамдель. Идемте с нами. Убьют вас тут... кавалер! Хотите в компании?

Улыбка была липкая. Шурик крепче зажал пальцами чугунное холодное копьё, за которое держался, и ответил как можно вежливее:

— Не пойду. Именно потому, что не хочу, чтобы меня убили.

На это слово остановились все, до кого только дошел голос Шурика: у решетки сразу вырос затор.

— Убили? Кого убили? Где? В чем дело? Итти нельзя? Почему?

— Мосты минированы, — звонко сказал Шурик. — Большевики заложили мины и ждут. Как только на мосты наберется народу достаточно, они — по бикфордову шнуру — топ! огонь! — и все к дьяволам.

Старушка закрестилась. По затору прошел гул. Буравя толпу, к решетке протискался плотный и крепкий, круглоглазый мужчина; руки сжаты в кулак.

— Вы... что... панику? Панику распространять? Провокация? Кто вы такой?

— Всамдель, откуда он знает? — поддержала, тряся шляпкой, девица. — Сам мину клал, что ли? Большевики ему, что ли, сказали?

— Взять его!

Не понять: то ли мужской, то ли женский голос — визгом. И опять по всему затору — гул.

Нисколько не страшно, даже смешно. Шурик за решеткой, как в клетке: через копыя — не перелезть. Здесь — не достанут. Калитка — далеко. Отец шел — без ограды, сквозь строй — мимо таких вот, и то не посмели тронуть.

На случай он все-таки расстегнул пальто. Нет, толкуются на месте...

— Артиллерия!

Круглоглазый, обернувшись влево по Александровской вниз, радостно замахал рукою. Шурик оглянулся по взмаху: действительно, серединою улицы медленно, грёмом тяжелых колес раздвигая затор, шла батарея. Качались в такт переставу конских плеч ездовые в зеленых английских шинелях, брезгливо фыркали тонкие ноздри породистых — тоже английских — австралийских мулов над плечами сторонившихся пешеходов. Тот, крикун, взобрался на цоколь, держась за решетку.

— Господа офицеры! Здесь сейчас — вот этот... Очевидно, большевистский агент..

Он обернул лицо назад, к Шурику... и вдруг, осекшись разом, на полужвуке, сбросился с цоколя. Шурик не понял: он ведь даже рукой не пошевелил. Но старушка крикнула дико, толпа шарахнулась, мулы рванули уносы, зашатав ездовых на стременах, взвизгнули плети по сытым, лоснящимся бокам, и знакомый и милый голос радостно и громко прокричал за плечом Шурика:

— Беглый огонь! По лошадям, товарищи! Не давай увозить! Тау! Тау!

Улица сразу расчистилась — от первого выстрела. Бегом, ползом... орудия на виду. Но три запряжки проскочили карьером. В четвертую стреляли все сразу, кто попал — не узнать: свалился серый, с подстриженной черною гривой мул. Ездовой, подогнув ногу, точно собравшись слезать и отдумав, ударился головой о тротуарный настил. Второй соскочил. Задний.

— Руби уносы!

Офицер, конный, блестя шашкой и белыми зубами, вертелся между решеткой и пушкой. На мостовой, у лафета, у рвавшихся мулов, солдаты, сбившись кучкой, выставили револьверные дула... По копытам, по зубьям трещало и цокало... Шурик сменял уже третью обойму... У края дорожки кто-то, из наших, Ксава или Володя, ходил быстрым и жутким шагом вокруг дерева, держа обеими руками голову, и сквозь пальцы проступало красное... Очень тихо... Шурик только это и успел запомнить: по окрику Владека он, с остальными, в перегон, побежал по дорожке, к калитке... Владек кричал:

— Хоть одну!

Когда выбежали на улицу, офицера уже не было видно, не было видно и солдат. Два мула, без седоков, рвались скачками, тяжело волоча за собою труп третьего и опрокинутую крутым ударом о стену — камень в щепы! — пушку.

— Изломают! Держи!

Мулы стали, как только их подхватили под уздцы. У четвертого уносы были обрублены — ускакал. Куда девались солдаты? По тротуару ползут прочь, быстро, сороконожкой, подбитые трое. А другие?..

— Осторожней, товарищи... как бы они...

Гурток весь в сборе. Раненых нет, кроме Володи. Тот под деревом. Он уже не ходит: лег. Перевязочных материалов нет ни у кого, а в аптеку сейчас, или в больницу нельзя: надо ждать, пока свои подойдут. Пока — перетянуть чем-нибудь...

— Глиной закрыть: она кровь остановит.

— Нет, только не глиной! — Зайдель слышал: от земли, если попадет в рану, делается столбняк. — Перетяни чем-нибудь, Володя! Мы сейчас, только с пушкой управимся.

Орудие подняли. Оказалось оно совсем не такое тяжелое, не надо было так напрягаться, как все напряглись: чуть не перебросили на другой бок. Шурик похлопал рукой по хоботу, просунутому в грязно-зеленый защитный щит.

— Как ты думаешь, Владек: она заряжена?

— Не думаю, чтобы их так возили, с снарядом: вдруг ударится, вот как сейчас.

— Смотри. От Крещатика — люди.

Быстро и уже сноровисто сняли пушку с передка, стали кучкою около щита, и Владек, торопясь и радуясь, широко махнул по воздуху красною тканью, вынутой из-за пазухи. Ага, заматались! Назад!

Владек крикнул сколько было силы:

— Первая пушка! Стрелять — готовься!

Шурик одернул его поспешно.

— Что ты!.. Разве так командуют?

Владек оглянулся, через плечо.

— А не все равно, как? Почему надо по-царскому? И откуда ты знаешь команду?

Володя позвал из-под дерева. Надо к нему. Ведь боя нет больше, и никого не видно по улице: ни вверх, ни вниз. Может быть, сразу надо было. На сердце засосало больно-больно,

как только подумалось: все веселые, а у него — кровь. Замолчал, и плечи так нехорошо, торчком, поднимаются под пальто. И лег — лицом в землю.

Владек наклонился, нахмурился.

— Володя!

Не отозвался. Кровь над бровью спеклась и больше не идет. Володя!

Оставленные около пушки товарищи обернулись на голос, глянули по улице и торопливо пошли к калитке. Все встали вокруг, сняв шляпы и кепки.

Вот и нет его, солнца! Да и было ли? Шурик вспомнил, какой был Днепр, когда он пришел в парк: мутный-мутный, грязный и желтый. И кора на деревьях была липкая и холодная. Разве так бывает, когда на небе солнце? Нет, самый обыкновенный осенний, пасмурный, хмурый, ненастный день...

Одним меньше стало...

Владек — старший: он первый накрылся и сказал что-то о революции и долге. Шурику стало неприятно-холодно. Не надо говорить никогда, когда смерть. Ну, да, смерть — для всех: сегодня или завтра все умрут. И это всегда тяжело: и заговаривать эту тяжесть, пробовать заговорить ее не надо. От слов всегда фальшивое что-то, даже сейчас, здесь вот, под деревом, хотя здесь никого нет чужих — все свои, товарищи, и все — одинаково — могли так вот, как Володя... Ведь по всей ограде цокали такие точно пули, как у него в виске. Шурик вспомнил, как Володя ходил вокруг дерева, держась за голову, и ему стало ужасно страшно: ведь он видел, как Володя ходил, наверное видел, а Володя был уже в это время мертвый. Это гораздо страшнее, чем так вот: ничком под деревом, и кровь не течет: спеклась.

Парк стал весь жуткий и тихий. И Днепра не слышно, и ветра нет, и по улице никто не идет и не едет. Пушка, как памятник, посреди пустой мостовой. И с Подола...

— Подол! — Шурик сжал руки. — Офицер говорил: Подол будут держать крепко, и еще — о дроздовцах, Владек!

Владек обернулся, не глядя. Он, видимо, все еще думал о Володе.

— Владек! Белые — на Подоле и будут там защищаться. Надо сейчас же кого-нибудь послать, разыскать наших и предупредить.

— На Подоле? Откуда ты знаешь?

Зайдель — недоверчивый: он всегда и всех спрашивает так. А сейчас спрашивает очень резко, потому, конечно, что ему жалко Володю. Шурик поторопился ответить:

— От офицеров самого генерала Флуга.

Зайдель хотел что-то сказать, но Владек перебил:

— Это очень важно, конечно, но, может быть, сейчас уже другое что-нибудь. Диспозиции всегда меняются в зависимости от обстановки. Когда говорили тогда, — многого, может быть, не знали: разве, например, они могли знать, что мы возьмем пушку? Я не хочу сказать, будто это очень важно, что мы взяли ее, но это только пример: может быть что-нибудь гораздо важнее. Вот, Янов и Кружатый, наши железнодорожники, побежали на станцию, когда узнали — прорыв. Они пустят поезд в тупик и разобьют его вдребезги. Кто знает, кто будет в поезде?

— Я знаю, — улыбнулся Шурик. — Антоний, митрополит.

— Он знает все, — язвительно сказал Зайдель, — как будто он сам служит в их штабе. Но Владек прав: когда на фронте — надо быть очень осмотрительным в сообщениях, чтобы не навести на неверное. Что, если мы скажем — на Подол, и наши все приготовят, диспозируются, как военные говорят, и пойдут на Подол, а неприятель будет где-нибудь в другом месте и начнет их бить, откуда они не ждут.

— Это верно, — раздумчиво сказал Владек, — надо, во всяком случае, проверить. Вышлем разведку.

— На Подол?

— И на Подол и туда, — Владек мотнул головой в ту сторону, куда убежали все, куда ускакала четвертая лошадь, та, с обрубленными постромками.

— За Днепр?

— Обязательно, — уже твердо сказал Владек. — Конечно, это очень опасно. Если опознают, это будет хуже, чем бывало на самосудах в первые дни. Но только там можно наверное узнать, что они затевают. И мы должны узнать: разве не для этого нас оставляли на подполье?

Шурик чувствовал на себе черный, пристальный глаз Зайделя. Он подернул плечом и сказал:

— Я пойду.

Владек кивнул одобрительно.

— Конечно, ты пойдешь. Ты — самый лучший наш разведчик, это мы давно знаем. Но одного мало. Надо по крайней

мере двоих. — Он оглянул окружающих. — Вася, ты, может быть?

Вася переглянулся с Шуриком.

— Ладно.

— А Буравца — на Подол. Ты точнее не слышал, где именно они собираются? ..

— Нет. Он сказал только: на Подоле наши будут держаться крепко.

— Надо обдумать тогда: Подол велик. А вы — идите!

— Раньше бы надо, — протяжно сказал Вася. — Когда беженцы были. В толпе удобно, а теперь очень приметно, в одиночку, тем более, что мы и по платью...

— Не переодеваться же... Чем позднее, тем больше надо торопиться. Ходу! Оружие оставьте: там оно вам все равно ни к чему: влипнете только.

Шурик отдал Владеку маузер, обшарил карманы, выгрузил обоймы и какие-то записочки.

— Документы на случай у тебя с собой, Вася?

— С собой, конечно. Приходить сюда же?

Владек кивнул.

— А если здесь никого не застанете, гоните на Рейтарскую.

Шурик и Вася пошли. Владек крикнул вдогонку:

— Сначала один кто-нибудь, с первыми вестями, как только узнаете что-нибудь существенное... А второй потом, когда все выяснится. Только не опоздайте, смотрите, чтобы не вышла горчица после ужина. Наши, наверное, уже в городе. Ждали к полудню — сейчас уже три часа почти.

Володя лежал под деревом, попрежнему сгорбив плечи под складками стянувшегося к шее пальто.

Шурик стукнул чугунной калиткой. На мостовой он подобрал оброненный старушкой узелок. Ему показалось, что он пахнет ладаном. Он поднял узелок к лицу и понюхал. Действительно, пахло ладаном.

Прямо итти, по улице, вверх, от парка к арсеналу и дальше было бы совсем неразумно: нельзя итти по перехваченному большевиками пути, будет подозрительно, почему пропустили. Шурик и Вася свернули боковушкой в улочку, из улочки — в проулок, на дальний обход — и, конечно же, повезло: попали в струйку беженцев: уже не рекой, не потоком — дряблєю, мел-

кою струйкой сливались остатки буржуазии за Днепр. О том, что Мариинский парк занят мадьярами, латышами и персами — бьют огнеметами! — знал уже весь город, и кто не успел пробежать, крался теперь в обход. В струйке были почти что одни женщины: увидев двух молодых мужчин, они ахнули от неожиданности, — скорее приятной, не подозрительной, — и приняли с полным радушием. Дальше разведчики шли уже под щебетанье соседа.

Позади, за домами, редкие, гулкие пушечные удары: очень далеко, — странно далеко еще. И еще реже — отзвуки ружейных залпов. Но все это было настолько далеко, что даже барышни не прибавляли шагу, переступая через лужицы, как на пикник, на флирт, ножками в туго натянутых шелковых ажурных чулочках. Девушка, с Шуриком рядом, уже шла к флирту полным ходом: уже перегрузила на Шурика кокетливо весь багаж: какую-то шаль, окутавшую какие-то свертки, распиравшие тонкую бечевочную перевязку; уже спросила об имени, отчестве, и Шурик потемнел, произнося отброшенное было на цоколе парка, но снова поневоле, с противностью подобранное имя: Николай Авксентьевич.

— Авксентьевич? Ах, это забавно! Авксентьевич! В этом есть что-то румяное, не правда ли, Эйнерлей? Чего вы нахохлились? ..

Эйн... да, безусловно, тот самый — с эстрады купеческого собрания. То же лицо, да. Но похудевшее внезапно (с людьми так бывает: сразу!), и под глазами — тени. Зрачки — в упор, в спину спотыкающегося перед ним старичка: не отлепишь. Полосатые брючки подвернуты, забрызганы грязью, как чернильными пятнами клякс-папир. Поэт — на исходе. Он не поднял ресниц на девичий фамильярный окрик: осторожно обошел, вслед за старичком, очередную лужу, сутуля плечи под полинялым пальто с шелковой подкладкой.

Замутнел с поворота улицы Днепр. Девушка привстала на цыпочки.

— А если Цепной в самом деле минирован, как говорят?

— А говорят? — с самоудовлетворенностью спросил Шурик. Спросил и сейчас же раскаялся. Девушка повела пренебрежительно плечиком.

— Болтают. Какой-то дурак сказал, а другие дураки повторяют... Из тех, кто с нами был, двое даже вернулись: говорят, лучше уж от штыка, чем сгореть в воздухе. Идиоты, ла-

базники! Если большевики свернут им шею — будут души. Спуск! Фу, как скользко! Предложите же руку!.. Вас даже этому надо учить!

Бечевка треснула, наконец, сверточки рассыпались по грязи всером. Бросились подбирать. Инцидент произошел очень кстати, как по заказу: у самых ног офицерской заставы. Тридцать один штык — Шурик успел сосчитать. Офицеры, смеясь, перемешали защитные свои фуражки с женскими шляпками: надо же им помочь! Девица бросила Шурика. Она спрашивала офицера, жадно притрагиваясь к его рукаву:

— Вы... с нами пойдете, не правда ли, да? Они не догонят?

Офицер прикрыл — жестом застыдившейся бабы — небритый, рыжей порослью поросший подбородок.

— Будьте спокойны: Печерск занят, и занят нашими крепко. Две батареи, не считая пехоты. Как только они подойдут... Печерск? Не Подол?

Граната ударила ближе, чем надо было. В сущности, совсем уже близко.

Командный голос крикнул:

— Господа офицеры! По местам!

С Печерска только эхо отозвалось на гранатный разрыв. Есть ли там на самом деле пушки, или офицер врет, как очередной штабной бюллетень:

«Оснований для тревоги нет»?

Мост перешли молча.

39

За мостом сразу — осенние лужайки. Трава. Мох. Во все стороны разбежались дорожки, сквозь прореженные опавшей листвой желтокрасные прибережные перелески. Шоссе разтревожено вконец: выворочены тяжелым, бешеным бегом грузовиков булыжники, растаскана далеко по обочьям шоколадная — тертая-перетертая ногами — грязь. По траве вдоль окаймных канав — густые, жирные, галошные мазки. Путь исхода — путь тяжкий. Но почему кое-где белеют в траве белые конфетные бумажки и пупырятся красно-желтые мандаринные корки?

Еще далеко до Дарницы — табор беженческий: сквозь березняк, у дымных, трескучих костров — кучками люди; очень тихий, очень сдержанный гомон. Чем дальше, тем больше лю-

дей и тем тише. У дач, стараясь не стукнуть, совсем воровски, ломают заборы неумелые пухлые руки; толчея на террасах.

Караван, с которым шел Шурик, стал расползаться: в одиночку и парами — в калитки распахнутых дач, к попутным кострам, на удачу. Войск не видно нигде: сплошь обывательщина. Шурик сказал Василию, дав пройти остальным:

— Держись на шоссе, около станции. Я попытаюсь пройти на самую станцию. Оттуда, наверное, легче ориентироваться. А так мы ничего не узнаем.

— Смотри, не влипни!

— На! А в Нежине как же: там отец прошел в самый штаб. Документы со мной, — что может случиться?

Он свернул влево, просекой, и мимо дач вышел на железнодорожную линию. На запасных путях, тесно, ящик к ящику, упершись друг в друга круглыми лбами буферов, стояли цепи вагонов. Здесь было шумно. С платформ, из классных окон, с площадок, из распахнутых теплушечных жерл шел говор вперебивку со смехом. Визгливо и тонко, избалованным лаем лаяла в вагоне болонка. В соседнем тихими переборами струн звенела гитара, и сильный «цыганский» голос — контральто — пел любовную, кафешантанами затасканную песню. Куда ни взгляни — офицеры, очень много офицеров, но все без оружия, — очевидно, на беженческом положении. «Рядовых» не видно и здесь... Ах, вот!.. Наконец...

У одного из вагонов, классного, синего, стояла кучка солдат в шинелях, ружья с штыками. Не в строю. Просто гурьбой — у подножья площадки. На площадке офицер в генштабистской фуражке: бархатный околыш, красный кант. Шурик, подходя, услышал:

— Долг добармии...

— Господин полковник, я же вам докладую: больные и раненые. Как выволокли из госпиталей, так и бросили... на траве, без покрывки. А в вагонах, простите, мамзели с собачками. Прикажите очистить, хоть раненых скласть.

— Долг добармии... — строго повторил офицер. (Шурик видит теперь отчетливо в сумерках: сумеречно-белое, штабное лицо, усы — колокольчиками, нос — птичьим изгибом). — Долг добармии — прежде всего обеспечить благополучие мирному населению. Во имя благополучия населения, взятого нами под защиту, мы должны итти на всякие жертвы. Солдаты, закаленные походной жизнью...

— Ваше высочордие, я ж докладаю: больные...

— Довольно! Я сказал, — оборвал полковник.

Но солдаты продолжали стоять. Офицер достал полевую книжку из кармана шинели.

— Так-с! Вы какого полка, ефрейтор?

— Шестой роты Якутского полка, ефрейтор Малышев, — в солдатском голосе Шурику радостно послышалась зажатая уставом, но острая, но яркая злоба.

— Якутского? — прищурился полковник. — Так-с. Полк — на Черниговском фронте, а вы... здесь изволите... в тылу...

— Оставлен с командой, — начал солдат. В голосе было уже другое, неприятное Шурику: опять серошинельное, козыряющее. Полковник не дал докончить:

— Да, да, все понятно. — Он черкнул карандашом в книжке и закрыл ее. — Можете итти, ефрейтор!

Солдаты качнули штыками и пошли.

Шурик, обогнув штабной состав, поднялся к станционной платформе.

На платформе штатских не видно. Только офицеры и солдаты. Часовые — цепью по краю. Ближайший, перекинув винтовку, махнул Шурику: стой! Но в тот же миг справа, от Днепровского — далекого — моста донесся торопливый гул, железный перестук колес. Поезд. У Шурика чуть ёкнуло сердце. Наши? По горячему следу?.. И, точно в ответ на догадку, сердито ударил столб черного дыма над бронепоездом, стоявшим на главном пути. В латы закованный паровоз, задышав злобным и прерывистым дыхом, налег грудью на броневые платформы, накатывая их — тихим ходом — навстречу. По перрону забегали. За зданием станции кто-то скомандовал, отрывистым и хриплым вскриком:

— Эскадрон! Садись!

Затопали кони. Но поезд, тот, подходивший, дал долгий и радостный гудок. Бронепоезд посторонился, свернув на соседний путь, свистнул сигнально и резко, коротким взлаем и, гремя чешуею, драконом пополз к мосту. Облегченно вздыхая автоматами тормозов, звякая спасительными цепями сцепок, еще один, долготелый, суставчатый и грязный беженец заstopорился, не доходя до платформы. Человек в красной фуражке с тройным галуном крикнул:

— На третий запасный!

На стрелке проиграл рожок. Рычаги тяжело и нехотя повернули колеса назад, обратным ходом, застукали переключкой по цепи — первый, второй, первый, второй — буфера.

Шурик подошел к часовому.

— Мне к коменданту. Я — командированный.

Часовой оглядел с головы и до ног. Однако мотнул головой к станционному зданию.

— Там спросишь.

Шурик не дошел. У самого домика, у окна, за которым трещал аппарат телеграфный, его остановил офицер. На рукаве — треугольник, трехцветный, как на башнях бронепоезда: выше — бархатный черный щит, белый череп над скрещенными костями: Корниловец.

— Вы здесь зачем?

Шурик — по-отцовски, по-нежински. Повторять всегда очень спокойно. Задача всегда легка, когда решение известно. Здесь как и там: офицеры — все одинаковые, как пуговицы с штампованным орлом: орел — бесклювый; овчарка — в наморднике: он от Центросоюза, агент, Непенин — укусить нельзя. Нисколько не страшно.

Шурик докладывает очень спокойно и связно. От Центросоюза, организовать продовольствие: сколько надо войскам по их численности? Сколько, приблизительно, бежавшего населения? И так как офицер молчит, Шурик добавляет еще смелей и увереннее:

— И как войска расквартированы? Где ставить питательные пункты и куда направлять припасы для довольствия войск?

Добавлять не надо было. У офицера глаза стали сразу охранные, он оборвал резко:

— Ваши документы.

Шурик вынул пачечкой.

В пачке, между удостоверениями, есть бумажка за штемпелем Бредовского штаба, за подписью самого генерала, о том, что агент Центросоюза, такой-то, командирован по продовольственным делам: бумажка осталась еще от первых дней, от первой еще Воронинской выдачи. Место назначения не проставлено, стало быть, не на срок. Это ничего, что командировка помечена давним числом. Шурик нисколько не волнуется.

Офицер отошел в свет фонаря, насупясь, разбирает бумаги. Из окна аппаратной Шурик слышит отчетливо: чей-то голос

диктует телеграфисту. Прямой провод, должно быть, — аппарат отбивает паузы человеческого голоса:

— Волчанский отряд выступил на Жуляны. К посту Волинскому, с фастовского направления двинуты части: гвардейские стрелки — из Боярки, бронепоезд «Витязь»...

Шурик слушает напряженно: не спутать бы... Офицер под фонарем все еще ерошит бумажную пачку. Если бы подольше... Нет, свернул последнюю.

— Что они там, в Центросоюзе, у вас, окончательно спятили?

— Что вы хотите сказать?

Шурик не понял, искренно.

— Посылают на фронт!.. Что они, интендантством заделались? И старше хотя бы у них не нашлось?

— Я ведь только для предварительных... — поспешил сказать Шурик. — У нас склады в Борисполе. И там должен быть наш заведующий.

— Фамилия? — строго спросил офицер. Шурик сказал без запинки: на таком его не поймаешь. Офицер кивнул. Шурик добавил (в окно замолчали, стучит аппарат, — должно быть, принимают ответ: значит, опять будет голос; надо бы еще постоять):

— А насчет интендантства, вы, господин офицер, напрасно. При эвакуации могли произойти затруднения. И, кроме того, ведь имеется же и гражданское население. И вы едва ли будете...

— Эту калечь кормить? — офицер презрительно сощурил глаза. — Не собираемся. К тому же их тут тысяч десять. Что же мы их — по-евангельски? Семь хлебов и две рыбы?.. Этот номер сейчас не пройдет: не те времена-с! Пожалуйста.

Он показал Шурику на край платформы и крикнул:

— Пропустить! Идите, но рекомендую: в другой раз воздержитесь от инициативы такого сорта. По-военному военини можно и в контр-разведку попасть, хотя у вас документы в порядке. А Центросоюзу вашему мы поставим на вид — по возвращении. Честь имею!

По возвращении? Шурик, посмеиваясь, прошел по перрону, соскочил на рельсы, к шлагбауму, за шлагбаум — по шоссе. У ближайшей просеки, прижавшись к забору, пожимаясь от наползавшей ночной сырости, ждал Вася. Итти назад, конечно, же, ему, Васе. Шурик будет разведывать дальше. Если бы он вернулся первым, — наверное, все бы удивились.

Он качнул головой, проходя, и Вася, выждав, — пять, шесть, десять шагов, больше нельзя отпустить: потеряешь, темно уже, — пошел за ним следом. В проулке, за дачами, неподалеку от поляны, на которой дымно и знойно горели сырые костры, Шурик передал Васе: обход на Жуляны—Волчанцы и гвардейские стрелки; Якутский полк на Черниговском фронте. Броне-поезда: один у моста, другой, «Витязь», на фастовском направлении, но его затребовали к Посту Воыньскому. В Киеве добровольцы держат не Подол, а Печерск. Прежнее сведение было неверное, и это надо как можно скорее исповить. Впрочем, они и сами, наверное, установили: ведь Владек выслал разведку. Наши в городе тоже, наверное, нащупали уже, где неприятель.

Вася для верности повторил, раз и другой, всю диспозицию, пожал Шурику руку, и ушел, торопясь, в ночь. Шурик перепрыгнул через канаву: лугом, к кострам.

40

Костров было меньше, чем казалось издали, с дороги: или поляна была больше, чем виделась? Она шла от костра к костру — полосами: свет и ночь; и так как трава, люди, самое небо, видимое в потемки, невидимое над огнем, то возникали, то пропадали из глаз, Шурику казалось, что не он идет, а земля плывет, зыбко и плескуче, мимо, обтекая его, и ноги надо ставить особенно осторожно и крепко, чтобы не смыло. Кругом костров были люди, тесными и широкими кругами, стоя и сидя. И потому, что они не оборачивались на Шурикины шаги, хотя он шел очень осторожно и крадучись, можно было сказать с уверенностью, что никто из них не посторонится, не подвинется ни на чуточку, чтобы дать ему место у огня или позволить хотя бы даже издали протянуть к огню ладони. Было не холодно, было только свежо, обыкновенной, сентябрьской еще, не очень поздней (октябрю сегодня только первый день) ночною свежестью, но ладони у Шурика были холодные.

Он все-таки подошел к дальнему, на самой закраине поляны костру. Не потому, чтобы ему обязательно хотелось греться, а потому, что неподалеку от костра он увидел потушенными стеклами пятившиеся в ночь автомобильные фонари, а у калитки дачи, выходившей окнами как раз на самый костер, — часового в шинели, с винтовкой. Если здесь что-то охраняют — развед-

чику всегда найдется дело. Он подошел, обогнул круг сидевших людей, стал для конспирации сначала спиной к окнам и часовому и вытянул руки, делая вид, будто греется. Снизу, с земли, кто-то старенький, накрытый клетчатым пледом, приподнял к нему, крутым вывертом, сморщенное обезьянье личико.

Костер горел очень ярко, Шурик от лица до колен чувствовал жар. И было почему-то приятно от того, что кругом все сидят, сгорбившиеся и унылые, и один он стоит, весь освещенный, прямой и, наверное, далеко-далеко видный в окрестной потемн.

На даче стукнула дверь. Скрипнула ступень, и почти тотчас же Шурик почувствовал у себя на плече руку.

— Я очень извиняюсь: приказано вас привести.

Сказал это офицер во френче, перепоясанном кортиком, немецким, с роговой рукояткой. Конечно, надо было спросить сейчас же, кто приказал и в чем вообще дело, а может быть, и просто ответить сейчас же, резко, отказом. Но глаза у офицера были очень простые и ласковые, и вообще он показался Шурику очень славным, совсем не чужим, хотя у него — кокарда, «царский плевок», английский френч и немецкий кортик. Он ничего не ответил. Приказано привести? Значит, что-то ждет. Но если что-то ждет, надо идти навстречу. Тем более, что у дачи — часовая. Он же сам хотел разведывать. Но мысль о разведке ушла, когда он вошел в калитку. Ужасно странная какая-то усталость: сразу.

В комнате (офицер вошел первым, Шурик — за ним) было человек шесть: одна женщина, один штатский — седой, в очках, очень важного вида. (Шурик почему-то в первый момент только его и увидел). Остальные были офицеры. Женщина сидела на диване, ободранном, лоскутья обивки висели линючими языками. На столе — бутылки, недопитые стаканы, лампа и какая-то еда на тарелках. Лица женщины не было видно. Она сидела, откинувшись, и лампа была далеко.

— Привел! — сказал весело офицер. — Честь имею представить.

— Снимите пальто! — сказал женский голос. — Станьте к свету! Ближе! Скажите мне, где я вас видела?

— Я не вижу вас, — пробормотал Шурик. Все смотрели на него, и он чувствовал себя очень неловко. Женщина рассмеялась.

— Подойдите ближе: я не кусаюсь.

Шурик не тронулся, однако, с места. Женщина встала и пересела на подоконник: она стала сразу видна под двойным светом — отблеска костра из-за распахнутого окна и лампы, которую офицер, приведший Шурика, сдвинул на самый край стола. Она была в синем, очень низко вырезанном платье, лицо было припудренное, с подведенными, усталыми глазами, ничем не примечательное: совсем-совсем незнакомое лицо. Шурик облегченно вздохнул. Но женщина продолжала смотреть, очень пристально.

— Вы смотрите так, Елена Ивановна, что он пережарится... ваш *plat du jour*, — резким и неприятным голосом сказал один из офицеров. Шурик не понимал по-французски, но по голосу, по звуку — офицер, должно быть, сказал, что-нибудь неприличное. Он обернулся. У офицера на бритых губах улыбка — вызовом. Овчарка.

— Ревность воспрещена уставом, Коивский! — равнодушно отозвалась женщина с подоконника. — Этого юношу я уже видела. Он произвел на меня впечатление: это я очень ясно помню. Но не могу вспомнить, в какой это было обстановке, и почему мы не познакомились.

За окном, по траве, прошуршали шаги; в комнате опять тихо, и ночь слышна недалеко. И из-за подоконника — голос в нос, с хрипотой и растяжкой, взметом блестящих крепящихся крутящимся блеском, шарик за шариком, слов:

Пролетели ниже пчел
Три летучих мыши.
Коломбина, я пришел,
Коломбина, слышишь?

Женщина чуть дрогнула бледным, пудренным лицом:

— Вот! Теперь я вспомнила: Белый мальчик.

41

Белый мальчик? Нет! Та была безбровая. Но она повторила, попрежнему, очень серьезно, глядя усталыми, синевой подведенными глазами, нараспев, тихо-тихо:

Мальчик белый, мальчик белый,
Если жить не надоело...

— Македонский! Гоп! — крикнул офицер, тот, с ласковыми глазами.

— Разыскал все-таки? Заходи!

Брови четкие, слишком четкие, начерченные. Теперь и он вспомнил. Пудра, духи. Жаркое-жаркое, противное дыхание. Кепка. Кобур. Разве можно не дать дороги большевику?

Пролязгали шпоры. Македонский, в гусарской форме, золотой позумент по ранту синих, раструбом, рейтуз, черные усики кольчиком вверх, к широким скулам, вошел, небрежно переставляя длинные мускулистые ноги. Он наклонил сухие, тонкие губы к руке женщины.

— Здравствуйте, Македонский! Абакаев, дайте ему вина: он, наверно, продрог... И... юноше тоже. Куда вы задевались? Вы же хотели вместе с нами на машине?

Македонский улыбнулся одними губами.

— Мне пришла идея — маленькой поэмы.

— Как всегда — ямбом?

— Преимущественно — ямбом, — кивнул Македонский. — Это мое любимое оружие. Итак, поэма. Но творчество требует уединения.

— Не всякое, — рассмеялся кто-то из офицеров, в темном углу. — Например: творчество детей.

— Я выгоню вас, если вы будете говорить пошлости, — сдвинув начерченные брови, сказала женщина. — Дальше, Македонский!

— Я пошел один, и пешком, но было грязно, и кругом бежало... это... Панургово стало. Так — нельзя. Проходила батарея, они взяли меня с собой — на лафет. Я успел кое-что набросать: у колес орудия, на походе, свой особый, совершенно изумительный ритм.

— Алкеева строфа: комбинация ямбов и дактилей, — усмехнулся седой и поправил очки. — Вы нам прочтете, что вы записали, Македонский!

— Ваше здоровье, профессор! — Македонский приподнял стакан. — Но записей нет: я бросил их, обнажив оружие, потому что нам пришлось отходить с боем.

— Не лгите, Македонский! — сказала Елена Ивановна. — Полчаса назад у меня был Петр Иванович: он говорил, что город, повидимому, до сих пор еще не занят красными; эвакуация прошла без всяких инцидентов. Отчего вы не пьете?.. Простите, ваше имя и отчество?

— Николай Авксентьевич, — ответил Шурик и взял стакан. Македонский, в полуобороте, оглянулся.

— Но даю вам слово, честное слово офицера, Елена Ивановна, нам пришлось выдержать схватку у Марииинского парка. Когда батарея проходила, — это была восьмая батарея, можете справиться, хотя бы у того же Петра Ивановича — какие-то бандиты открыли огонь из-за решетки.

— И дальше?

— Дальше — ну, обыкновенное. Мы остановились и стали отвечать. От первых же наших выстрелов, жидки, запрятавшиеся в парке, разбежались, оставив с десятка падали... Но построение было сорвано: нет капризнее женщины, чем мужа.

Елена Ивановна опять смотрела на Шурика.

— Сядьте сюда. Не вы: я говорю Николаю Авксентьевичу. А вы — почитайте. Из Пьеро-убийцы. То, что вы читали в Купеческом, перед тем, как ушли большевики... Террор... У меня и сейчас стоит в памяти, с того вечера: молодой, белый... убийца... Как живой. Читайте! Мне хочется... тогдашнего настроения. И дайте мне вина.

Опять противно и тягуче пахло духами. Близко-близко напудренная щека, подрисованная черным, ну, конечно, же, подрисованная по заморышам-волосам бровь.

— Читайте, Македонский! Я хочу!

Македонский сделал страшные глаза, и вытянул вперед костлявые скрюченные пальцы:

Ха, ха, ха, скажем все, скажем вслух:
Спихватилась старуха разрух,
Увидала, что плохи дела,
Оседлала стрелу помела.

— Вы — на зло? — глухо сказал Елена Ивановна. — Читайте лунную серенаду.

— Лунную? — Македонский поморгал глазами, точно не мог припомнить. — Это?

Будит бубен бури,
Пыль пустых дорог,
Бес на лунном туре
Точит рог о рог.

— Вы несносны! — Елена Ивановна встала. — Вы хотите мне испортить вечер?

— Ночь... — скривил рот усмешкой опять тот, черный, что сказал про Шурика по-французски. — Ничего не поделаешь, Елена Ивановна: нашествие гуннов, бивак. Вам придется от-

ложить... решение вопроса. Как это говорится у Ростана: «La nuit de nocce est encore lointaine». В такой обширной компании... Кстати, еще кто-то идет. — Он привстал и крикнул в окно: — Gare à vous, sentinelles!

— Не французьте, Кривский! — пожала плечами женщина. — Это дурной тон. До чего поход портит людей! Вы все очень изменились, господа, по сравнению с тем, как были в Петербурге, и изменились, увы... не к лучшему.

Дверь открылась опять. Еще офицер, в наплечных ремнях поверх шинели.

— Свирский! Из штаба? Какие новости?

— Мы выступаем сейчас, — сказал офицер и, сняв фуражку, торопливо приложился к руке Елены Ивановны. — Вы не будете на меня в претензии, если я их всех заберу с собой?

— Включая профессора?

— Включая профессора, — кивнул офицер. — Всеобщая мобилизация.

— Что за вздор! Говори толком.

— Толком мудрено, когда кругом бестолочь. Существо дела: в Киеве, оказывается, всего каких-то два полчишка красноармейщины. Таращанцы и китаёзы: сброд, прачки. Надо вышибить их к дьяволам, — я извиняюсь, Елена Ивановна, — пока к ним не подошли подкрепления. Генерал Штакельберг спешно формирует четыре ударных колонны из способных носить оружие. Все, кто не при своих частях, отпускным и прочее, приказано немедленно явиться к генералу. Господа офицеры, пожалуйста бритесь!..

— Вот чорт его... — протянул Абакаев. — Два полка — неужели регулярными не управиться? Еще специальные формирования. Ерунда!

— Регулярные двинуты в обход: надо захлопнуть мышеловку. За эту случайность господам красным придется дорого заплатить. Труби поход, Абакаев!

Македонский, шевеля черными усиками, встал. Поднялись и другие.

Шурик, радуясь случаю, встал тоже.

— Куда? — Елена Ивановна положила ему руку на рукав. — Приказ вас не касается. Вы останетесь со мной.

— Но ведь требуют всех боеспособных, — сказал Шурик, отводя глаза.

Офицеры ждали, стоя. Черный рассмеялся.

— Елена Ивановна, не пытайтесь угасить его патристический порыв. Взгляните на это полное решимости лицо. Нет! Вы не удержите его, даже обещанием рая: этот молодой герой хочет биться.

Он оглянулся на остальных, поднял жестом дирижера обе руки, и остальные сказали, хором:

— Он хочет биться!

Елена Ивановна рассмеялась, полузакрыв глаза.

— Он никуда не пойдет, хотя вы и правы: это — молодой герой. Широкие, крепкие плечи. Кобура на поясе, боевой наряд — чудесно. Но я знаю слово, которое заставит его остаться.

Опять — «белый»? Вздор! Где доказательства? «Четыре ударных роты». Через полчаса он будет знать все.

— Я очень извиняюсь, — сказал Шурик очень твердо. — Но господа офицеры правы: я хочу биться.

— Это стоит сонета, — сказал Македонский. — Любовь и долг! Страсть и долг! Слово против слова, Елена Ивановна!

— Вы ищете не в том лексиконе, Македонский, — холодно сказала Елена Ивановна. — Садитесь, Николай Авксентьевич! И передайте мой стакан, вот тот... с красным.

Шурик перекинул пальто через руку и взял шляпу.

— Простите, но я не могу... право...

— Ах, так! — медленно сказала Елена Ивановна и тряхнула головой. — Ну, что ж: я не привыкла звать дважды... Ступайте! *Tu l'as voulu, George Dandin!* Пеняйте на себя: я дала вам выбор.

— Это, что называется, со святыми упокой, — деланным басом сказал Кривский. — Вы жестоки, божественная... даже более жестоки, чем хотела бы моя ревность.

Елена Ивановна обвела глазами офицеров:

— Оболенский, дайте мне стакан и садитесь!

Оболенский — офицер с ласковыми глазами, с белым черепом и костями на щегольском френче — подошел, посмеиваясь. Абакаев присвистнул.

— Это... дезертирство.

— Пусть трижды три раза дезертирство, — хладнокровно ответил Оболенский и сел на диван. — Можешь доложить Штапельбергу: князь Оболенский не пожелал мариать руки о китайцев. Я с наслаждением перестреляю тех, кто окажется завтра

в плену, но биться как с равными... слуга покорный! Во мне не та кровь!

— Завтра? — улыбнулась пренебрежительно Елена Ивановна и посмотрела на Шурика. — Завтра уже стало сегодня. — Она кивнула. — Вы теряете время, господа! Генерал Штакельберг будет на меня в претензии.

— И я тоже, — помахал ладонью с дивана Оболенский. — Жму вашу благородную руку, Николай Авксентьевич! Я недаром с первого взгляда почувствовал к вам живейшую симпатию. Будем знакомы, не правда ли? Когда эта суматоха уляжется, милости просим: собрание Корниловского полка, князь Оболенский — ваш всегдашний покорнейший слуга.

Македонский взял Шурика под руку. Елена Ивановна могла еще сказать... они еще не вышли. Но она уже не смотрела на Шурика. Она обернулась к Оболенскому и чокнулась с ним полным стаканом, опершись коленом, у самого его плеча, на высокий валик дивана.

42

Ночь охватила сразу, здесь же, в двух шагах от дачи. Костры на поляне потухли. Моросил дождик, чахлый, но упрямый, как чахоточные. Абакаев оправил кобур на пояс и спросил, где сборный.

— На вокзале. Но первая колонна уже ушла. Ей дальше всех идти: назначена на Подол.

— Подол неприятелем занят?

— Ни черта. Я тебе говорю: у них ничего там нет. Просто налет случайный. А если бы там и были... в колонне — дроздовцы и броневики.

— Броневики? Откуда он взялся?

— «Якутец». Прибыл с Черниговского. Якутский полк должен подойти — тоже, как говорится, с часу на час: он идет следом.

— На Киев тоже?

— Да. Он и Волынский. Пока с фронта не снимали других частей. Драгомиров надеется управиться наличными.

— Ну и управлялся бы! — процедил сквозь зубы Абакаев. — А мы при чем? Проклятое ремесло: лезь в мокроту, когда можно было бы так уютно у Леночки под грудями...

Македонский круто остановился. Голос у него был сухой и строгий.

— Я порекомендовал бы вам, поручик, быть осторожнее в вашей тематике и лексике. Хотя мы и на походе...

— Заткнись... преимущественно ямбом! — хладнокровно отозвался Абакаев. — А то я еще и не такую загну... тематику. Мы верно идем, корнет?

Но сквозь заставу деревьев уже блеснули дорожные огни. Рельсы, стрелки, тропка вдоль полотна, заслеженная, сдвинутые буфер в буфер составы, перрон, люди кучками. Шурик поднялся на платформу следом за Македонским. Абакаев окликнул.

— Трухачев!

Офицер, проходивший, остановился, присматриваясь:

— Наконец! Где ты пропадал? Пустой вопрос, а? В пристанище? Впрочем, не ты один...

— Туго? — засмеялся Абакаев. — В смысле спасения отечества...

Трухачев качнул головой.

— И не говори!! Не вытасишь! Из составов особенно. Тут этого бабья нагнало из Киева, — не хочешь — разговеешься: загуляли господа офицеры.

— Ч-орт! — сказал Македонский, морщась. — А если красные переправятся? Заслоны надежные, ты уверен?

— Я вполне уверен, что все обойдется. Контр-разведка работает хорошо. Сведения свежие. В городе только Интернациональный, Богунский и Таращанский, да на Софийской какая-то артиллерия: легкая. Всего-навсего. Наши идут дальним обходом, на Пост Волынский, — с фронта прижмем хоть чуть-чуть ударными, чтобы не выпустить раньше срока. Капканчик первый сорт. А где Оболенский?

— В объятиях, — засмеялся Абакаев. — Но он прислал заместителя. Боец — прямо на приз.

Трухачев оглянул Шурика.

— Вы... стрелять-то умеете?

— Нет, не умею, — сказал Шурик. В мыслях билось: контр-разведка работает хорошо. А у них? Если Вася дошел — опять не точно: и якутцы здесь, и волынцы, обход уже вышел, четыре ударных колонны, капкан: надо сейчас же, сейчас же дать знать, пока не успели там по неверному... лучше бы Васю убили! Патруль может убить: ему проходить придется заставой. Или он вплавь? Вплавь — лучше. Он, Шурик, навер-

ное, поплывет. Доберется до берега, сейчас же, как только здесь вывернется, и — вплавь.

Черная, под сеткой дождя, густая и упорная вода, быстрый напор струй, широкие и упрямые водовороты у затонов. Он плыл уже с Владеком, когда бежали из Триполья, он знает. Нет, он совсем не умеет стрелять.

Трухачев оттопырил губу.

— Ну, штука не сложная: обучитесь на ходу. Вы какой район лучше знаете? В уличных боях это важно. Две роты ушли уже, осталась третья и четвертая. Одна — на Собачью тропу, другая — к арсеналу.

— К арсеналу, конечно! — закивал Шурик обрадованно. — Я как раз из этого района. Я там все знаю.

— Значит, в четвертую.

Трухачев показал рукой к краю платформы. Там, у стола, под дамским зонтом (голубым, ужасно смешно!) сидел кто-то в шинели; к столу шла очередь, сзади — солдаты, винтовки, мешки.

— Фельдфебель Пастухов! Запишите их в четвертую роту.

От стола, приподнявшись, глянуло усатое и щетинистое лицо.

— Слушаюсь, господин капитан!

— Доброй дороги!

Офицеры взяли под козырек, прощаясь, и Шурик отошел к столу, в цепь, в хвост.

С ротой лучше, чем вплавь. Свободно — до самого арсенала, а оттуда до парка — рукой подать. Можно добежать в две минуты. Хоть под огнем.

Вереница шла быстро. Фельдфебель записывал на листке, солдат рядом давал записанному винтовку из сваленной сзади груды.

— Фамилия? — спросил фельдфебель, не глядя, когда Шурик дошел.

— Ананьин! — громко сказал Шурик. Слово сказалось: теперь не вернуть. Но фельдфебель не удивился. Он записал старательно, водя пером и усам. И в очереди никто не отозвался.

— Имя?

— Александр.

Надо так, если сказал: Ананьин. А если сейчас — документы: Непенин? Скажет, что нет документов. Он пришел

с офицерами: стало быть, есть свидетели. Но фельдфебель не спросил документов.

Шурик сжал холодную и сырую сталь винтовки.

— Патроны примите.

— Две обоймы всего?

Солдат моргнул усом.

— Не из пулемета стрелять.

Шурик отступил на шаг, давая место следующему, по очереди. Кто-то хлопнул его по плечу.

— А, господин Непенин. И вы воевать собрались. В Борисполь раздумали?

Тот, первый, корниловец, что поверял документы. Наверное, контр-разведчик «Непенин». Но никто — ни фельдфебель, ни прочие — не удивился, не поднял глаз. Почему Непенин, когда только что, — громко, все слышали, — сам он сказал: Ананьин, Александр?

Нет, запись идет своим, прежним, порядком. Фельдфебель пишет: фамилия, имя, винтовка, две обоймы. Следующий.

— Прогуляйтесь, прогуляйтесь, — кивал контр-разведчик. — *Dulce et decorum est pro patria mori*. Я ведь классик, не как-нибудь. В которую роту?

— В четвертую.

— Вам везет! Четвертой дальше всего идти: на арсенал — самая дальняя. Дальше едешь, тише будешь. Вы знаете, где ваши... «воители на Гельголанде»? Во-он! — палец протянулся к черной толпе, шевелившей, как амеба, псевдоподиями, в темноте у водокачки. — Командует колонной полковник Багичев. Явитесь ему лично, передайте от меня кис-ми-квик. Как? Передайте, не беспокойтесь. Это сладенькое. От поручика Храповицкого. Фамилия заметная, не забудете?

И, не дожидаясь ответа, поручик пошел к распахнутым станционным дверям, вздрагивая шпорами над широко разлившимися по асфальту платформы лужами.

43

Старый, в каких-то полосатых погонах, и с сизым носом, полагающимся, по старому штату, отставным штаб-офицерам, полковник махал руками перед толпой, когда Шурик, с винтовкой на плече, свесив ее штыком за спину и наискось (как делали это, он видел, таращанцы на Ирпене), «прибыл к месту своего

назначения». Что говорил полковник, — было не разобрать, так как он стоял спиной к Шурику, и шепелявый старческий рот явственно давал звуку ход только по прямому направлению, в прощеп между оставшимися клыками. Толпа была очень пестрая: штатские пальто разных колеров, вперемежку с солдатскими, офицерскими шинелями; много было серых гимназических пальтишек. У штатских на рукавах были белые повязки (говоря попросту — носовые платки).

Шурик выждал, пока полковник кончил и обернулся. В толпе жидко и разноголосо прокричали ура. Шурик доложил браво: — От поручика Храповицкого!

Иностранное слово он забыл. Да если бы и помнил, все равно, не сказал бы.

Полковник посмотрел с восхищением.

— Весьма рад. Мне как раз эдакого... правофлангового надо.

Подошедший от толпы офицер, горбоносый, хрипло засмеялся и хлопнул полковника по отвислому животу.

— На кой тебе чорт правофланговый, дед? Службист тоже! С этой, — он мотнул головой назад, не снижая голоса, — селянкой сборной перед китайцами парадировать?..

— Ты, однако, легче!.. выгарашил белесые глаза старик и крикнул командно: — Строиться! По шесть в ряд, кому с кем удобнее. В первый ряд — пять: шестой — у меня.

Он вдвинул Шурика в шеренгу, и Шурик с тоскою подумал, что опять складывается все, кажется, не так, как надо, — дальше едешь, тише будешь, — а эта колонна, должно быть, и совсем тихо пойдет, когда дойдет — неизвестно, а к реке пробраться будет сейчас очень трудно, потому что он на правом фланге, на противоположном от реки, да еще в самомпереди, на виду у всех: скрыться совсем невозможно. Тем более, что рядом с ним уже стали — и полковник, и горбоносый.

— Шагом марш! С левой, с левой, господа!

Горбоносый лихо притопнул и оглянулся.

— Штык выше! Морды подколете.

Улочкой — мимо дарнинских домиков, мимо просеки, мимо полянки. Шурик поискал глазами дачу Елены Ивановны, но огней нигде не было видно, и в темени не пучились стеклышками автомобильные фонари. Вышли на шоссе, итти стало неприятнее, по грязному, жесткому камню. Рядом, у левого плеча, соседом по шеренге, тяжело и нудно сопел пожилой и округлый по всем

измерениям человек, в ушастой зимней шапке, в крылатке и желтых тупорылых ботинках. Шурик долго не мог вспомнить, где он это лицо видел; а видел — наверное. Не мог, пока человек не поднял вверх подбородка и не повел — по-лисьи — носом и тоненькой пастью, словно принюхиваясь. От лисы вспомнилось сразу: Таврический, в Питере, в ночь, когда провозглашали правительство, говорил вот такой, вот этот самый, наверное: министр Милюков. Тоже носом и тонкогубою пастью над толпою, по-лисьи. Наверное, это он. Ведь после Октября он девался куда-то. Скрылся. К Деникину, значит. И сейчас — в пример всем: как же иначе, министр! — здесь в шеренге, против китайцев. Дальше едешь — тише будешь.

Колонна шла уже лесом, далеко от Дарницы. Темно и мокро, но все же видно: канавы вдоль шоссе; развороченные камни; нахохленный под дождем молодой березняк. Шурик шагает нарочно широко, Милюков сопит, шеренга отгибается левым флангом: малорослые отстают.

Горбоносый, на два шага впереди, внезапно остановился и повел ноздрями, как гончая. Полковник поспешно поднял руку. Шеренга остановилась, задние навалились с раската и стали тоже.

Всмотрелись. Действительно: люди стоят на дороге. Большевики? Сняли заставы? Перешли мост? Шурик ждал, нетерпеливо, команды: в цепь, огонь! Тогда все станет сразу в порядок: сперва горбоносого (полковника, старикана не за что: он смешной, он никчемный), потом — Милюкова, на случай — может быть, это и вправду Таврический, а ежели нет, — ничего, пусть пострадает за царя и отечество.

Но люди спокойно и шумно зашаркали ногами к колонне. Сквозь ночь стало видно: офицерские шинели. Полковник заковылял навстречу. Сошлись. Поговорили. Офицеры пошли назад, полковник вернулся к отряду.

Он пошептался с горбоносым, отступил назад, на линию десятой, а может быть, и дальше, шеренги (в отряде было человек до двухсот, вероятно) и скомандовал:

— Смирно, господа! Я говорил сейчас с представителями ударной роты дроздовцев. Мы, четвертая рота, так сказать, их резерв: первой ударной колонны. Но господам офицерам пришла счастливая мысль. Счастливая для нас, господа! Она исполняет нас гордостью. Господа дроздовцы решили: уступить честь первого удара на насильников, дерзким налетом за-

хвативших стольный Киев, мать городов русских, вам, доблестным представителям гражданского населения, ставшим в ряды, чтобы сражаться, так сказать, против. Итак, господа, вперед! Во славу родины! Господа, отечество зовет... Не кричите ура: могут услышать. С богом, под покровом пресвятыя матери, к победе!

Он снял фуражку и перекрестился.

Колонна стронулась. Справа, в лесу, светлячками светились огоньки папирос. Господа дроздовцы курят. Бивак. Когда проходили мимо, до Шурика дошел от задних шеренг громкий шопот:

— Берегут свою шкуру. Нас — на убой... чтобы потом на готовое. Гвардия!

— Гвардия всегда так, — откликнулся, уже не шопотом, голос. — Даже Наполеон, свою — знаменитую — водил всегда на готовое.

— Левой! — крикнул полковник. И крякнул неодобрительно. — Кроме того, в строю, покорнейше прошу, не разговаривать.

У моста остановились. Застава, зазябшая и замокшая, пожимая плечами, удостоверила: с той стороны ничего не слышать. стрельбы давно нет. И никто не пытался итти — ни с той стороны, ни с этой.

Вася — вплавь?

Ворча цепями передач, на мостовой настил всполз, ошестинившись пулеметными дулами, броневик: для верности решили продвинуть вперед «Якутца».

Выждали. Шум мотора затих на той стороне. Ни сигналов, ни выстрелов: тихо. Полковник пустил цепь по мосту, за нею — вторую. Приказ за мостом остановиться и ждать, пока подтянутся все. Шурик с первыми перешел. Броневик стоял у моста. Улица впереди пустая и черная. Нигде ни огня. Подошла, топоча осторожно, остальная колонна.

Полковник растерянно переминался.

— Тут какой-нибудь подвох. В чем дело? Как угодно, — это не спроста.

— Какой там подвох! — отозвался горбоносый. — Сказано тебе: людей у них мало. К тому же... китайцы, мадьяры. какой там еще чорт... Где им в городе разобраться — в ночь, в темь?.. Закрепились, где кого застало.

Полковник покачал головой.

— Нет, ты так не говори. По-моему: засада. Китайцы, они на это способные, а большевики всегда с подвохом: слава богу, навидался. Надо разведку выслать.

Горбоносый сплюнул.

— Заматаешь людей, только и всего: разве по такой погоде разберешься? Смотри: в трех шагах ни пса не видно.

Полковник подумал и внезапно решил.

— Увидят. Глаз привыкает, знаете: например, кошка. Нельзя же нам так стоять, у мостышка: срам перед отечеством. Господа, кто из вас этот район знает? Охотников на разведку!

— Я! — весело откликнулся Шурик. Полковник почесал нос.

— Правифланговый... не вполне, в сущности, удобно. Впрочем, для пользы... Идите. Еще кто?

Вызвалось еще двое: длинный и прыщавый доброволец в солдатской шинели, но без погон почему-то, и кадетик — совсем еще мальченок, лет, должно быть, пятнадцати. Полковник отдал приказ: осветить местность до арсенала, никак не дальше; на полпути, приблизительно, вернуть одного с докладом; от арсенала — второго; третьему дожидаться у арсенала в секрете, так сказать. В случае обнаружения чего-либо подозрительного — сейчас же подать сигнал выстрелом и отходить к мосту, с боем.

Шурик не дослушал инструкции. Он кивнул кадетику, снял с рукава носовой платок и быстрым шагом прошел мимо броневика, в ночь, покачивая винтовкой.

44

Полковник, в сущности, верно сказал о кошке: глаза освоились быстро. Может быть, впрочем, и просто стало светать: времени ведь никто не считал. Сколько шли, сколько стояли — перед мостом, за мостом... Вдоль пустой ночной улицы стали видны не только одни фонари, не зажженные, но даже плитняк тротуара, чистенький, омытый дождем. Кадетик оглядывался беспрестанно на глухие, ставнями припертые или просто глазевшие черными застекленными впадинами окна. Приостановился, наконец, доверчиво наклонился к Шурику и сказал почти громко:

— В общем — здорово! Я, знаете, всегда, всю жизнь Эмаром увлекался и еще этим, как его... — вот странно, любимый, а фамилию забыл! — тоже американец: об индейцах. Но такого интереса, как сейчас...

— Молчите! — оборвал Шурик. — Мы на разведке, на разведке нельзя разговаривать.

Они были уже почти что у арсенала. Не может быть, чтобы арсенал не был нашими занят. Это же — ключ. Шурик потопился отослать назад длинного, в шинели, с докладом, что до арсенала, — Шурик спохватился и сейчас же поправился, — в арсенале неприятеля не обнаружено. Одну секунду Шурик подумал, что длинный не пойдет, потому что он самый старший из всех, и в военной шинели: с какой стати Шурик ему приказывает? Да и кроме того, ему будет неловко оставить двух младших в ночи, далеко от отряда, в неизвестности, а самому безопасно уйти. Но он ушел, и даже очень проворно. Шурик выждал, пока не стало слышно даже легкого шороха его осторожных шагов, затем неторопливо взял из рук кадета винтовку. Кадет посмотрел на него удивленно из-под бескозырки и спросил с любопытством:

— Что?

Шурик ответил, очень спокойно, голосом старшего начальника:

— Вы арестованы.

Кадет дрогнул шеей и плечами (Шурик только сейчас заметил: на плечах у кадета погончики, белые, с какими-то облупившимися буквами) и пискнул совсем по-птичьи:

— Как?

Шурик, морща брови, чтобы не рассмеяться, качнул головою вперед:

— Марш! — сам отступил на шаг и перевел винтовку на боевой взвод.

Глаза кадета, неотрывно глядевшие на Шурика, заискрились:

— Вы... большевик? — Он втянул воздух, захлебываясь, и добавил, с неожиданным для Шурика восторгом: — В... вот здорово!

— Идите! — повторил Шурик. — Времени терять нечего.

Они пошли, уже не скрываясь: улица сразу стала гулкой. На самом деле светало: дома и камни быстро, на глазах, белели.

На перекрестке, сквозь дымчатый туман предрассветья, ясно совсем обозначились людские фигуры. Шурик остановился и крикнул звонко:

— Не стреляй, товарищи! Свои! Разведка из Дарницы.

— Молодцы, ребята! — донеслось с перекрестка. — Гуляй ходом, жаждались!

Радуюсь и волнуясь встрече, — концу дарницкой хмары, — Шурик вскинул, на левое плечо, обе винтовки, подхватил под руку кадета и потащил его, почти бегом, вперед. Кадет, мелко перебирая ногами, улыбался тоже. Люди жались на месте: они стояли цепью, во всю ширину улицы, совсем не по-военному как-то, хотя были в шинелях. Шурик видел на бегу, над мостовой, серые свисавшие полы, опущенные с рук, влево и вниз, штыки; не у всех — иные стояли спиной к нему, лицом на ту сторону. Он был совсем близко, когда поднял голову, и тотчас они, перекрестные, как по команде, повернулись боком, и на плечах — Шурик обознаться не мог... — блеснули погоны, золотые и тусклые. Шурик откинулся назад, таким резким броском, что с кадета слетела, блином в грязь, бескозырка. Тот же голос, что и раньше, но по-иному — злобным смертным окликом крикнул:

— Ни с места! Руки вверх, собачья команда!

45

Блеснули стволы. Не соображая, Шурик бросил винтовки и двумя руками, что было силы, толкнул кадета вперед, к тем, перед собою. Винтовки взгремели ударом звонких дул о мостовую. И отзвуком ударили выстрелы с перекрестка. Кадет клюнул стриженной белобрывенькой головой и, подгребая руками, упал на мостовую ничком. Шурик, пригнувшись, бросился к развороченному забору, протиснулся в шершавый расщеп, перебежал двор, раскрытой калиткой — в какую-то улочку, подался по ней назад, на квартал, свернул влево, до следующей улицы, и опять свернул, назад, вниз. Совсем инстинктивно, без мысли, зачем и куда он бежит. Ни голосов, ни выстрелов он больше не слышал. Только кровь гудела в висках, торопя бег. С улицы в улицу. Было совсем светло. Он остановился только тогда, когда кривой переулок крутым изгибом выбросил его прямо в упор к решетке. За решеткою — деревья и дорожки: парк. Здесь было еще тише, чем на улице. Но за чугунным копейным строем, за деревьями, Шурик сразу увидел черные дула и желтые, скуластые, с закрытыми, казалось, глазами лица. Он поднял руки и крикнул опасливо, хотя китайцы могли быть только советские:

— Свой, свой! Где комиссар?

Комиссар оказался очень длинным и жилистым, очень нескладным, но в чем-то все-таки очень похожим на отца. И оттого, что, спрашивая, он обнял рукою Шурика и в глазах у него был спокойный и уверенный смехок, — Шурик еще больше вспомнил отца и поторопился сказать, что он сын комиссара Ананьина, хотя, быть может, называться не следовало, так как кругом стояли посторонние: из гуртка уже никого не было — ушли в город, как только Интернационалисты заняли парк. Да и на комиссара это произвело почему-то не то впечатление, какого ожидал Шурик. Он кивнул очень холодно, хотя сказал, сейчас же, что он знает, и даже, что он и Ананьин — товарищи. Может быть, они в ссоре?

Комиссар приказал Шурику отправиться в штаб, — штаб в Политехническом, — доложить обо всем, что ему известно. Четыре колонны: это очень существенно. Хотя, пока он дойдет (ведь трамвайного движения нет, и едва ли найдется извозчик) ... — колонны войдут уже, весьма вероятно, в боевое соприкосновение с нашими.

Шурик заторопился итти и уже пожал комиссару руку, но в это время с Александровской, с дальнего края, хлопнул выстрел, другой, и сейчас же чечоткою застрекотал пулемет.

— С Артиллерийского переулка, — сказал комиссар, прислушиваясь. — У нас там фланговый заслон. — Стоявший рядом китаец, должно быть, из комсостава, крикнул, обернувшись к парку, какое-то слово, и из-под деревьев, со всех сторон, к узорной решетке заскользили быстрые, словно китайские тени — высокие люди в рваных обмотках, кругом худых и жилистых щиколоток. Перестрелка шла злее и злее; сквозь шлепанье гулких — в утреннем холодке — выстрелов прогремел по мостовой пулеметами и панцирем «Якутец».

Шурик тронул комиссара за рукав.

— Разрешите остаться. Ведь все равно: соприкосновение... Прикажите мне винтовку дать: я хорошо стреляю. А в штаб... я по телефону попробую, из комитета. Ведь можно?

Комиссар улыбнулся — той, прежней, самой первой улыбкой.

— Разведчику нельзя ввязываться в боевые действия: у него свои задачи.

— Но атака уже началась, — просительно сказал Шурик. — Ну дайте, хотя бы пока наши возьмут броневик.

Комиссар рассмеялся.

— Думаешь, возьмут? Борисенко, дай ему винтовку на время. Только уговор лучше денег, Ананьин-младший: не подставляться. Сделают дырочку на целом месте, — я отвечать перед отцом не буду.

«Якутец» стоял посреди дороги, почти у того места, где валялся убитый вчера днем, на отступлении белых, мул, остервенело вздрагивая панцырным задом при каждом выстреле толчками крутившейся пулеметной башенки. Китайцы, за цоколем, выставляя напоказ голые груди под распахнутыми, разношенными ватными кофтами, стреляли, с колена, сквозь кольцо, не торопясь, упорным прицельным огнем. Шурик запал за деревом, заслонившись стволом, выбирая место в цепи: цепь была негустая, но легла на решетку таким убористым и четким узором, что, куда ни глянь, — ляжешь лишним. И надо ли? Пулей не сделаешь; пуля обобьется о панцырь. Штыком! Сердце перестало биться, на секунду, от мысли, что он, Шурик, сейчас вот крикнет, подымет цепь и бросится прямо под пулемет; добровольческие броневики надо брать так.

Шурик крепче сжал в руках винтовку, готовясь крикнуть. Но тут произошло неожиданное. Броневик дернул жалом пулемета и смолк. Китайцы, все разом, поднялись и, подсаживая друг друга, полезли через решетку. Кричать стало незачем. Шурик побежал к калитке, сквозь которую выбегали уже на улицу те, что были поближе.

«Якутец» загудел мотором и черепахой пополз, пятясь назад, вверх по улице.

— Уйдет! — крикнул Шурик и сам не узнал своего голоса. Китайцы бежали к броневику. В россыпь, высоко подгибая худые ноги. Навстречу от арсенала показалась бегущая, тоже в россыпь, цепь. В шинелях и погонах. Дроздовцы. Ха, селянку сборную оставили все-таки — поняли, с кем идет дело!

Китайцы остановились. Вверх, во всю ширину улицы, хлеснули пули. Офицерская цепь мотнулась, выбросила троих головами на мостовую, и ощерилась нацелью стволов.

— Под укрытия! — надрываясь, крикнул с цоколя комиссар. Это было смешно, потому что укрытий никаких не было, улица лежала гладким взгорбом, как согнутое колено, и пули по ней летели свободно и прямо сквозь любое место, должно быть, до Публичной библиотеки и даже дальше. Шурик стрелял, целясь в шину: зверя надо бить по самому убойному ме-

сту, иначе уйдет. Впереди и сзади стреляли тоже. Но броневик, хрипя и гремя, пытался все быстрее и быстрее, офицерские фигуры становились выше и толще, из-за поворота выволоклись на треногах легкие пулеметы, опять хлеснуло пулевым градом по мостовой, четыре китайца разом осели на камни — два застыли, а двое, сосредоточенно и странно-уверенно, словно внутри их работала машина, поползли к цоколю. Снова где-то сбоку, за домами, в тылу добровольцев, прощел пулемет... крепче, крепче... Шеренга дрогнула, свернулась, судорогой, в кольца, как змея от удара палкой, и оттянулась назад, за перекресток, бросив на мостовой серо-желтые комья трупов. Китайцы рванулись было вперед, но по гортанному китайскому оклику остановились и, собираясь в кучки, пошли к калитке назад, на ходу сменяя обоймы.

Комиссар подтянул поясной ремень и сказал Шурику:

— Давайте винтовку и ступайте. Видите, здесь дело в отяжку пошло. Там скажете, значит, что на нашем участке наступление отбито, броневик выведен из боя. Нет, нет, вы не спорьте: оставаться вам решительно незачем.

Но Шурик и не спорил, ему и самому расхотелось оставаться: ему было досадно, что броневик, хотя и подбитый, ушел, и он не успел крикнуть, и самая схватка... вышла чем-то похожей на обыкновенный футбол... может быть, потому, что китайцы на бегу подволакивали ногами, точно толкали мяч, как хавбеки у гола. И еще вспомнилось, что он стоял под тем самым деревом, где умер Володя, и о Володе у него не было мысли, и это стыдно, потому что Володю убили, а он, Шурик, жив, здоров, и только что вышел целым из-под выстрелов, хотя стреляли в него близким, частым огнем. Ему стал неприятен и парк, и вся эта улица, с дохлым мулом и свинцом, рассыпанным по булыжнику. Он поторопился уйти и пошел — не по Александровской, а первой же боковой улочкой, которая, хотя и обходом, должна была вывести его на Крещатик.

46

Время было уже рыночное. Из подъездов, оглядываясь, выходили женщины с корзинками: значит, Бессарабка торгует. Бессарабка торгует всегда, что бы ни случилось: рынок. Солнце быстро-быстро подымалось из-за крыш, тополя стряхивали с листьев набравшуюся за ночь дождевую воду. У фонаря

стояла тесным кругом куча прохожих. Шурик, проходя, заглянул. Бабы поспешно, с почитительностью, посторонились. Под фонарем у тротуара лежал, на боку, неловко и жалостливо откинув волосатую руку — пять пальцев горсточкой, черноватый человек с давно не бритым лицом, в рубаше и офицерских, с красным кантом, рейтузах, заправленных на одной ноге в высокий лакированный сапог, а на другой — в чулок, распяченный толстой и неумелой перевязкой. Бойкая старушонка, у самой его головы, оправляя оползавший на лоб платок, вытирая сморщенной рукой сочившуюся из беззубого рта слюну, рассказывала, торопясь и захлебываясь, наверно, не в первый раз, потому что рассказ шел с начала, и шел, как заученный.

— Из лазарета, что на Левашовской, номер второй, не иначе... вот грех-то! Как уходить стали, лазаретных то ли забыли, то ли на волю господню: до хворых ли? Здоровым бы ноги унести... от хворого-то какой, прости господи, по ратному делу толк?

— «По ратному делу»! Туда же суждение имеет, полководец! — сплюнув, сказал, с краю круга, по виду приказчик. — Ты дело рассказывай, ежели очевидица, а не домысел.

— Дело и говорю, — огрызнулась старуха, — одно к одному. Лазаретных, говорю, бросили. Однако, как дознались, — город за красными, китайцы идут, детей, жен-матерей режут, страсти господни, — из лазарета все, да кто как мог: кто на костылях, кто, мать пречистая, ползом!.. Я как по улице глянула — обмерла... владыко живота, страдалицы наши, да как дойдут, до своих-то... Да за Днепр!.. Протянулись, однако, молитвами святых отец наших... А пальба — уже по улицам: то здесь брякотнет, то тамотко... вошли, стало быть... и уже, стало быть, близко. И вдруг — энтот. Как это он в опоздание вошел... то ли заспал, то ли как... Нога-то немощная — скоком бежит, да где же при такой ноге далеко уйтить? Он и к этой двери, и к той, по всей как есть улице. Стучит, болезный, просится: «Пустите, говорит, Христа ради, укройте, говорит, как я, говорит, офицер, и по непримиримости нашей они меня обязаны убить». Ну, конечно ж, разве отпереть можно? По эдакому делу, за укрывательство, да ежели найдут... была кому охота! Так с улицы и не ушел: все стучится, от двери к двери. А как китайцы по улице пошли — побег. Тут они его — пулей. Да сразу, скажи на милость, как заказанная! И прибрать-то некому, милиции-то пока что нет.

Шурик двинул плечом. Прохожие снова раступились. Он отошел до угла и бегом почти спустился к Крещатику. На Крещатике былолюдно. Там и сям, между прохожими, красноармейцы, в одиночку и кучками. Винтовки за плечами, руки в карманах, на мирном положении. Против витрины книжного магазина, залепленной портретами добровольческих генералов, собралась целая солдатская толпа. Смотрели добродушно, сплевывая подсолнечную кожуру.

— Эна звезд на нем, что на елке.

Как же они так! А четыре ударные роты?

Шурик стал строгим и спросил ближайшего красноармейца:

— Ты что же так? Твоя часть где, товарищ?

Красноармеец оглянулся, лицо его тоже стало строгим. Он ответил, слегка ощерив зубы угрозою:

— А тебе что? Катись колбасой!

За десяток шагов кучка штатских, совсем беженского, дарницкого, вида, глазела на красноармейцев.

— А ведь верно, Моисей Павлович! Какие-то они в самом деле не-большевистские.

— Да я же вам говорю! — закивал Моисей Павлович. — Я же вам говорю. Из самых достоверных источников. Прямо, что называется, из самых первых рук. Это не большевистские, а левоэсеровские войска. Большевики отказались от Украины, передали ее левым эсерам: междупартийное соглашение. У левых эсеров был здесь, в подполье, нелегальный совет народных комиссаров: так сказать, наготове. Ждали войск. Я уже троих красноармейцев спрашивал — все трое говорят: за советскую власть, но без коммуны и без чрезвычайной комиссии. Явная левоэсеровщина.

Сзади, от Фундуклеевской, напряженно и гулко накатился шум мотора, и мимо Шурика полным ходом промчался, вжимая тугие рубчатые шины в густую грязь, весь забрызганный взмызгами глины, дорожный тяжелый автомобиль. Шестеро в фуражках с красными звездами, винтовки без штыков, дулами вверх. Мелькнуло лицо отца.

— Папа! — крикнул Шурик и побежал за автомобилем. Но машина уходила, как от стоячего, и, не убавляя ходу, крутым виражем свернула к Бессарабке. Шурик, толкая прохожих, бегом добрался до скверика. С угла было видно: лари, палатки, — густая толпа с корзинками и вязанками. Автомобиля не было. Шурик приостановился. Машина, наверно, объездом, она

только пройдет Бессарабкой, не задержится, надо бежать к Житомирской, на переймы, может быть, там удастся, если она не ушла уже дальше. Может быть, это нехорошо — для взрослого, может быть, стыдно, но ему хотелось сейчас одного только: отца, темных глаз, строгих, под фуражкой с красноармейской пятиконечной звездой... Не догнать, нет!

Дикий крик взрывом ударил на Бессарабке. От ларей, от палаток волнами плеснулись люди, и тотчас Шурик услышал четкий и смешливый, пустым мертвым смехом, стук пулеметов. Мимо, с воем, теряя кульки и корзинки, бежали... Шурику показалось, что все — в платках, все — с обтрепанными подолами. Платки и подола. И сразу, перед глазами, — откуда! — опять он, автомобиль, мимо, обратно, бешеным ходом, без гудков, одним шипом шин и взвоном передач, разбрызнув толпу как грязь и через борт — свесившаяся, без фуражки, седым бобриком голова. Папа! Да нет же! Кровь! Нет, не видел, не успел увидеть... но она взматывалась от взметов колес над бортом, о борт, голова... Видел. Было.

Автомобиль свернул влево к Караваевской. Шурик, зажимая слезы, подступившие, он и сам не знал как, к горлу, побежал опять. Сзади — с Собачьей тропы... она же выходит на Бессарабку! он же знал, он же знал давно, что она идет, третья колонна... вот пришла! — стучали выстрелы, и было уже — вокруг этих выстрелов — тихо. Навстречу Шурику, от бульвара, быстро, пригнувшись и по-особому как-то переступая ногами, точно люди шли не по мостовой, а валежником, надвигалась красноармейская цепь. От нее махали: сворачивай! Винтовки смотрелись уже дулами по Крещатику, на изготовку. Шурик упрямо бежал, не сторонясь, прямо на цепь; он знал уже — не догонит, но бежать было надо, потому что из памяти и сознания ушло все, была одна только седая, бьющаяся о закраину автомобильного борта любимая, родная, голова. Умер? Или он, Шурик, умер? Но кто-то из двух не жив. Оттого так саднит нестерпимо сердце.

Красноармейцы не выстрелили. Нет. Случайных выстрелов не бывает. Это люди так придумали в свое утешение, что бывают случаи. Это ложь. Это большая ложь. Между винтовками, нацеленными, были интервалы. И потом, красноармейцы посторонились. Шурик пробежал легко, и справа его даже окликнул кто-то ласково, как родного, так что слезы пошли свободно и не стыдясь. Цепь пропустила и сейчас же ударила то-

ропчивым залпом, и оттуда, с той стороны, тоже застонало и заухало пулями по камням, в угон Шурику. Случаев не бывает. Он пошел шагом, потому что не мог больше бежать. Шагом дошел до Караваевской. Стрельба шла уже не только сзади, по Крещатику и Житомирской, но и слева и спереди: должно быть, все четыре колонны дошли, согнали тех, что смотрели на генеральские портреты в витрине, и теперь торопятся по всем улицам, к Политехническому, к штабу.

А волчанцы — в обход: на Пост Воынский. Шурик все это знает, но теперь это никуда, никому не нужно: теперь все уже по-новому: добровольцы спустились с Собачьей тропы, и китайцев, наверное, уже нет в Мариинском парке, и все вообще прошло сном и кровью: было солнце — теперь опять темь. Темь.

Но все-таки надо в штаб. Может быть, хоть на что-нибудь пригодится, зачем он ходил в Дарницу. И потом — об отце: автомобиль штабной был, наверное.

Стрельба гулким ковром опоясывала город, дальше и дальше закидывая концы. Шурик дошел до университета. Улицы опять стали пустые и тихие. Кто хочет жить, попрятались. Нет, в штаб, конечно же, поздно. Уходят. Наверное, даже ушли. Ведь нельзя оставаться: в капкане. Итти теперь незачем. Уходить с ними? Нет. У него своя работа, своя обязанность, свой пост. Маленький, слабый, и работает он не так, должно быть, как надо: вот как все выходит — не похорошему. А случайно ничего не бывает. Все равно, пусть. Как может. Надо итти назад. Теперь уже ничего не изменишь. Опять подполье, затаиться, переждать, и опять прежней работой: пока не свалим. Наши вернутся. Не могут не вернуться. Потому что никто и никогда не может победить революцию. И все-таки: тоски с сердца — нет, не согнать.

Он постоял на конце Бибиковского, совсем один, потому что людей не было видно ни по аллее, ни по Владимирской. Стало жутко. Тогда он пошел домой, к Лике. Первый раз за эти долгие сутки он подумал, он вспомнил: Лика. До тех пор не вспоминал. Лика. Жена. Сейчас будет лучше, сейчас будет совсем хорошо. Тихая комната. Тихая и радостная Лика. Будет? Нет. Не будет. Но все равно — надо скорее итти. Он прибавил шагу.

Мерный марш заставил его поднять голову. Было это уже на Пушкинской, почти у подъезда дома, под окнами, закрытым

створчатой, гофрированной ставней. Взвод шел в сомкнутом строю: черепа и скрещенные белые кости на черных нарукавных щитках. Глаза встретились с глазами. Тот самый корниловец, ласковый, у Елены Ивановны, князь Оболенский. «Будем знакомы» — так ведь? Револьвер в руке, шаг пьяный, как после боя или перед расстрелом. Глаза узнали сразу: это никогда не проходит даром — посмотреть друг другу в глаза. Корниловец скривил губы, остановился, отставив ногу, и бросил через плечо в переднюю шеренгу:

— Взять!

47

Надо было, конечно, сказать сейчас же, удивленно подняв брови: — Меня? Здесь какое-то недоразумение. В чем дело? И какие могут быть основания? — Потому что в самом деле: какие? Но Шурик ничего не сказал. Было все равно. Совсем все равно. Взяли? Пусть. У самого дома: если бы минуткой раньше, — открыл спокойно дверь, ключ при себе, вошел. И ничего бы не случилось. А, может быть, случилось именно потому, что было все равно. Ведь люди так только и умирают: оттого, что им становится все равно. Пусть хоть на одну маленькую минуту... А потом думай, сколько можешь: все равно не вернешь.

Обыскивавший Шурика быстрыми, почему-то очень ловкими пальцами вольноопределяющийся протянул корниловцу выбренные из карманов: бумажник, паспорт, другие документы. блокнот: пачечкой.

Офицер брезгливо отвел пальцы:

— Отдадите в контр-разведке. Ротмистру Батурину. Оружия, наверное, нет?

— Никак нет, господин капитан!

— Доложите ротмистру: большевик, опознан был Еленой Ивановной Корничиной, в Дарнице, куда, очевидно, ходил на разведку. Дополнительные сведения я дам сам... если понадобятся: я осведомлен. Запомнили? Впрочем, нет, погодите. Я лучше запишу.

— Слушаюсь, господин капитан!

Оболенский вынул полевую книжку, с орлом двуглавым на на холщевом переплете; орел был двуклювый, клювы были четкие и черные.

— Кстати, фамилия ваша как?

Теперь все равно. Шурик хотел сказать: Ананьин. Но сказалось: Непенин. Он не стал поправляться. Зачем?

Вольноопределяющийся взял его за плечо и толкнул не сильно вперед: — Шагай!

В окно, близко, из угловой, смотрело лицо. И совсем рядом — другое. Жена. Пусть! Что ж что жена?

Он не кивнул и не оглянулся. Было очень спокойно, и мыслей не было никаких. Когда человека безоружного и обобранного ведут два других человека с винтовками на изготовку, мыслей никаких не бывает: ни у него, ни у них. Писатель может, конечно, написать, о чем они думали, трое: Гюго целую книгу написал о последней ночи осужденного, — еще недавно читали, в угловой, с Алиной и Ликой. Но это все ложь. Последнюю ночь не думают. И даже раньше, как только в сознание войдет: «смерть» и станет все равно. Так и теперь. Мысль? Доведут до контр-разведки или здесь же кончат, только за угол заведут, чтобы не видали из окна, они, две: Лика и Алина.

На углу, у бульвара, важничая и суетясь, наваливали зачем-то баррикаду из скамеек штатские люди и гимназистки, с белыми повязками. Шурик издали узнал: ушастая шапка, крылатка, лисья мордочка: Милюков. «Селянка сборная»: дошло смешливо, но не стало смешно.

Его опознали тоже. Правофланговый! Бросили скамейки и собрались кучкой, остановив конвоиров. Вольноопределяющийся, презрительно оглядывая «вольных», тыкавших прикладами в камень, в грязь, разъяснил. Ополченцы гудели. Милюков, выставив из-под крылатки толстую трясучую ногу, закричал:

— Предатель!.. Ставь его к стенке... своими руками... — И стал искать на винтовке затвор. Но вольноопределяющийся отвел его рукой. И сказал совершенно спокойно:

— Велено доставить. Займитесь!

Трое пошли дальше по Пушкинской, мимо особняка Ярошинского. Особняк пустой еще. Нет у подъезда автомобилей: Флуг не вернулся: генералам еще рано назад. По Фундуклеевской вверх. Под насупленным, огромным гостиничным навесом подъезда контр-разведки стояли уже часовые, парные, винтовки у ноги; чмокали губами, отъезжая, два извозчика, и в широкую, как ворота, дверь волоком втаскивали какую-то женщину, с закутанной белым, — простынею, должно быть, — головой и в разорванном пальто. Шурика ввели следом.

В вестибюле (здесь раньше гостиница была), просторном и грязном, было много вооруженных. Офицер, с кобурой на поясе, во френче, затасканном и шикарном, окликнул вольноопределяющегося, уже державшего пачечкой: бумажник, паспорт, документы, блокнот, записку. Вольноопределяющийся взял под козырек и отрапортовал. Офицер читал записку. На молодом лице были глубокие и неподвижные морщины, и лицо поэтому казалось каменным. Дочитав, он молча поднял руку и тяжело ударил Шурика кулаком в глаз. Иглами отдалось в виски и затылок. И сейчас же — тупая боль от обрушившегося на темя приклада.

48

Шурик очнулся сам. На паркете в большой зале. Окна заборы были нестроганными досками, так что зала походила на загон. Мебели не было, да она только мешала бы, потому что в загоне было очень много людей. Большинство лежали, но вдоль стенок сидели. Лица у всех были черные. Шурик не понял сначала: он подумал даже, что ему это мерещится от ушибов. Но когда он присмотрелся еще раз, — оказалось самое обыкновенное и понятное: евреи. Рядом, у самого лица Шурика, огнебородый, с сумасшедшими глазами, очень красивый еврей, приподнявшись на локтях, скалил зубы из-за рассеченных и почерневших губ. Заметив, что Шурик очнулся, он подтянул, на локтях, длинное и неподвижное туловище и спросил чистым русским говором, без акцента:

— Я уже думал, они вас насмерть забили. Ночь уже. Вы — большевик?

Шурик потрогал руками лицо и голову. На виске волосы слиплись, и над бровью больно, не дотронуться, но глаза, оба, видят ясно, и на коже не прощупать ни ссадин, ни крови. Только грудь, спина, плечи ноют, надсадно и глухо. И от ощущения этого и оскала открытых, как в черепе, белых зубов, — здесь, у лица, рядом — сознание вернулось совсем. И вернулось радостно: жизнью.

Контр-разведка. Добровольцы заняли Киев. Взят.

— Вы большевик? — еще раз спросил еврей.

У еврея сумасшедшие глаза: значит, не провокатор. Провокаторы не бывают сумасшедшие. Шурик кивнул и подтвердил:

— Да. Большевик.

Еврей плюнул. Шурик не успел отвести лица. Поднявшись, броском, на колени, он согнул к нападению руки, на случай, если тот бросится: он — бешеный. За что?

Еврей действительно напряг плечи, но тело, огромное и неподвижное, не слушалось. Он закрыл глаза и повернулся щекой, худой и бледной.

— Бить хочешь? Бей. И будь проклят!

— Зачем вы... так? — тихо спросил Шурик.

— Я здесь или нет? — хрипло засмеялся сумасшедший. Но смех был жалкий и плачущий. — Не твоей ли рукой? Твоей или твоих, ибо вас одна рать, филистимляне!

— Я арестован, как и вы, — покачал головою Шурик. — Мы должны не оскорблять, а помогать друг другу.

Еврей открыл глаза. Наверное, так: он сумасшедший. И Шурик сейчас же почувствовал, до чего горит болью это огромное, параличом растянутое тело. Он наклонился и спросил так мягко, как только смог.

— Вас очень били?

Еврей посмотрел на Шурика, прищурясь, и удобнее опер огненную и бледную голову на локти.

— Я из Василькова. Я в Василькове живу, васильковский еврей. Каждый раз, когда сменялась на Украине власть, нас били. Били, когда входили в Васильков, били, когда уходили из Василькова. Я нарочно так говорю: Васильков, Васильков, чтобы вы запомнили. Когда вас повесят, и душа пойдет... куда пойдет большевистская душа?... этого вам Маркс не придумал, а?... У всех есть своя дорога, а у большевистской души — нет. Как она ее найдет? Так вот: когда душа будет в сумраках, скажите первому, кто встретится, «Васильков», и он уже проводит вас к евреям. Они уже простят вас, когда вас повесят.

— Меня не за что прощать, — твердо сказал Шурик. — У большевиков нет вины перед вами.

— Евреи простят, — не отвечая, продолжал еврей, — потому что это самый добрый народ: поэтому его и громят. Последний раз нас, васильковских, погромили добровольцы и сломали мне обе ноги, так что в Василькове не нашлось доктора, который мог бы что-нибудь сделать с этим. И меня, и еще таких, как я, сорок человек, — это же немного на целый Васильков, что? — отправили в Киев. У евреев здесь есть своя больница, где все евреи, и где деньги тоже еврейские, так что можно лечиться, и никто не будет попрекать: жид.

— Разве в больницах попрекали когда-нибудь?

— Мы лежали в больнице, — еврей глядел перед собою прямо, точно Шурика не было. И он рассказывал не ему, а себе, и рассказывал не в первый раз: было так, будто он все время рассказывает не тем, кто его слушает, а именно себе самому. — Мы лежали в большой палате, где много света, на чистых кроватях...

Он прищелкнул языком и зажмурился от удовольствия.

— Да. Но когда доктора и сиделки, все, кто был здоровый в больнице, стали вдруг ходить на цыпочках, — мы уже поняли себе: перемена власти! И мы лежали на кроватях под чистыми простынями и ждали. И когда сегодня двери во всем доме захлопали, и на лестнице стал крик, — мы думали только: «Кто?» Потому что в Киеве были уже все, и если бы это были советские, то крику бы... не было...

— Вот! — сказал Шурик и улыбнулся. — Вот вы и сам признаете...

Но еврей не слушал: теперь это было совсем ясно.

— Потому что кричали — мы знали: это не большевики. Но тогда кто? Петлюра? Нет. И атаманы — нет, и не Махно, потому что разве он мог бы притти на тачанках в Киев? Или Маруся?.. И когда в дверях пошли офицеры с винтовками, как будто они брали город, никто не понял, зачем они бегут, когда они давно уже пришли.

— Вы не знали, что они уходили в Дарницу?

— Температура! — значительно сказал рыжебородый и подмигнул одним глазом, очень страшно. — Больным нельзя говорить такое, потому что им меряют температуру: но если сказать так, чтобы она поднялась, — зачем мерить? Нам не сказали. И мы поняли только тогда, когда они начали бить нас прикладами по головам.

— Больных?

— Больной лежит так же спокойно, как и здоровый, когда его бьют. — Глаза еврея явно издевались над Шуриком. — Но когда человек столько видел, как бьют, сколько видели мы, васильковские, бить — это уже ничего для него не значит. И каждый ждет даже очень поспешно, когда наконец будет очередь ему.

Он помолчал и почесал нос о кисть руки, у самого пола.

— Так бы все и было. Но докторша сделала то, что случилось по-другому.

— Какая докторша? — спросил Шурик.

От голоса еврея и пристальных глаз было непереносно тоскливо, и все-таки он не мог встать и уйти, и должен был говорить что-то обязательно.

— Откуда докторша?

— Из нашей палаты. Она побежала, сколько у нее было силы, а у нее было много силы, потому что она была молодая и красивая, и волосы у нее на голове были как черный пух — такой птицы, которая бывает только в еврейском раю.

Шурик хотел сказать, что это не так, но вспомнил волосы Лики — две черных косы от прямого пробора, и очень много молодости и очень много силы — и не стал спорить о черной птице, хотя чувство у него было такое, что обязательно надо спорить и сказать, что ничего этого не было, потому что нет ни еврейского рая, ни женщин с такими волосами... бред какой: пух! — Но еврей уже говорил дальше:

— Она хваталась за ружья и кричала, что увечных и больных нельзя. И тогда они взяли ее и сбросили меня, потому что я лежал близко, с койки на пол, положили ее и потом — один за одним... Я смотрел так долго, что у меня заболели глаза...

— Замолчите! — сказал Шурик. — Вы больны, у вас мозг больной, и я не хочу слушать, как вы бредите.

— Дай бог, чтобы вы так бредили! — оскалил зубы еврей и сжал локти, отчего голова его подбросилась вверх, точно палач поднял ее, отрубленную, из корзины. — Вы не хотите слушать? Вы лжете, потому что у вас — дрожь желания. Вы тоже хотите насиловать, потому что это самое приятное, что может испытать человек. Тело...

— Если вы не замолчите сейчас же, я уйду от вас, — сказал Шурик и приподнялся. — Вы не смеете так говорить о женщинах.

— Но я же видел... — протяжно сказал больной и прикрыл глаза большими красными веками.

Уйти? Но кругом — близко — все слушали еврея, очень спокойно, точно все в этом зале знали, как знал и Шурик, что он будет сейчас говорить. И Шурику казалось, что если он перейдет на другое место, там опять, сейчас же, окажется такой же вот точно еврей с огненной бородой и переломанными ногами, и будет опять рассказывать о том же, и опять кругом такие же равнодушные лица будут смотреть, тупо и покорно,

в пол и слушать, как будто так оно и должно было быть. Он прилег на пол и закрыл глаза: пусть и с ним, как со всеми.

— Они убили всех в палате, кроме меня и Мовши. Мовшу не знаю почему оставили, а меня спросили: «Видел?» Я сказал: «Видел». — «Будешь всем рассказывать?» Я засмеялся, потому что разве человек может не рассказывать, когда он видел такое, и сказал: «Буду, ну да, буду». И тогда старший сказал: «Тащи его в разведку, чтобы ему было еще что рассказывать».

Он оглянулся опять.

— Это сказал капитан: я хорошо знаю русские чины, я не ошибусь никогда. Капитан. Он был лысый, и глаза у него были очень веселые, черные, и усы большие, тоже черные. Тар-ра-кан. Он сказал еще: «Я этому жиду придумаю штучку!» Ты не знаешь, что он придумает, когда придет за мной?

По залу прошла волна: дверь отпирали. Еврей отнял руки от подбородка и тяжело ударился головой о пол.

— Вот!

Дверь открылась. Показалось несколько солдат, и голос, насмешливый и громкий, выкрикнул над наклоненными, прячущимися головами:

— Непенин Николай!

49

На допросах не надо отвечать. Отец никогда не отвечал на допросах, и ни один настоящий революционер никогда не давал показаний. Оправдываться, вывертываться — гадко; подтверждать, признаваться — глупо. Просто молчать. Ни единого слова. Шурика свели вниз, по заплеванной лестнице. Впереди шел солдат, сзади — другой, постукивая Шурика по плечу, для памяти, дулом нагана. С нижней площадки влево, сквозь людные, застланные табачным дымом комнаты вошли в пустую и темную. Здесь остановились. Передний солдат, приподнявшись зачем-то на широкие и тупые носки, расщелил дверь в глубине и протиснулся в нее боком. Тот, который был с наганом, остался при арестованном.

— Веди!

Стриженная, квадратом, голова высунулась в дверь и спряталась опять. Солдат подтолкнул Шурика и сказал добродушно:

— Шагай. Небось, хуже смерти не будет.

Белый шар, под потолком, горел нестерпимо ярко — может быть, потому что стены были свежее беленные и высокие, а комната пустая и огромная. У завешенного белым занавесом, совсем бесконечным, окна стоял стол, стол был тоже огромный и тяжелый, и на нем горела зачем-то лампа, хотя в комнате и так было светло, как днем, как в полдень, как в тот день, когда уходили добровольцы, и он, Шурик, доставал из-под паркета маузер, которым так ничего и не сделал... Или он все-таки кого-нибудь убил?

За столом сидел офицер, лысый во всю голову и с черными усами; на погонах была одна полоска и не было звездочек. Может быть, это и значит: капитан? Но рыжебородый не сказал, что у офицера усы приклеены; потому что, если по-настоящему, не может быть таких черных усов и черепа голого, как у восьмидесятилетнего паралитика.

Офицер жевал булку с вдвинутым в нее ломтем ветчины: и булка, и ломоть были, как все в этой комнате, огромные. Шурику вдруг отчаянно захотелось есть. Офицер поднял на него глаза — они были черные и веселые: наверное, это тот самый, докторский. Он засмеялся догадливо.

— Кушать хочется? Сейчас сервируем. Потерпите. Я, извольте видеть, тоже с вашими делами отошел.

На столе, пере ним, с бумагами рядом, лежала отобранная у Шурика пачечка: бумажник, блокнот и прочее. Офицер потыкал их пальцем, многозначительно. Но Шурик не взволновался нисколько. Ничего нелегального нет. Ни адресов, ничего. Но есть в блокноте записи сортов варенья и справка, как пользоваться ареометром, при определении качества повидла и варенья: конспирация! И дома, если был обыск: Зудерман и библия.

Офицер перестал жевать булку.

— Ну-с! Будем беседовать? — Он взял из пачки паспорт Шурика в темном, мягком переплетике и удостоверение Центросоюза. — Это все — кобыле под хвост: кондитерское изделие. Говорите начистоту: кто вы такой?

Шурик стиснул зубы, стараясь не думать о ветчине (и почему это: на допросе, а так хочется есть?), и не ответил.

— У вас меланхолический темперамент, я вижу, — сказал, скорбно покачав головой, капитан. — У вас нет этой... юношеской общительности. Ничего, молодой человек, отмякнете. Мы вас, с вашего разрешения, подвесим — за причинное место.

Шурик приподнял брови: он не понял.

Офицер захохотал.

— Институтского воспитания, моншер? Коренных естественных слов российских не понимаешь? — Он привстал и сделал циничный жест. — Понял?

Краска бросилась в лицо Шурику. Капитан захохотал пуще.

— Сконфузился! А ей же богу сконфузился! Пошарь-ка его, Загул: может, он и в самом деле девица. Что? Шевельнись — запорю!..

Зубы блеснули оскалом. Он отодвинул торопливо кресло, вставая. Солдатские руки сжали Шурику плечи клещами.

Офицер отдулся и сел опять.

— Освободить его от излишнего. Или... предпочитаете высказаться?

— Я ничего не скажу, — глухо, сквозь зубы, произнес Шурик.

— Скажешь! — уверенно и хладнокровно мотнул головой капитан. — Видали покрепче: трех минут не пройдет — замякаешь. Способ к искренности совершенно абсолютный: к дружеским излиянием влечет неодолимо.

Дверь отворилась. Вошел высокий, с худым и примечательным лицом, офицер. Он был гораздо моложе капитана, но капитан торопливо и почтительно встал. Вошедший кивнул, но руки не подал.

— Как у вас?

— Налаживаемся, — уклончиво сказал капитан и чуть мигнул, краем глаза, солдатам. Шурик почувствовал, что клещи у него на плечах разжались. — А в городе что?

— Наши уже за еврейским кладбищем. Только Лукьяновские казармы и держатся.

— Держатся? — насторожился капитан.

— Выбьем. Но, бог мой, до чего я замотался! — Он повел глазами по комнате. — Это что у вас на этажерке? В бутылке? Водка?

— Водка! — оскалился капитан. — Ну, и сволочь же, я вам доложу, красные! При эвакуации я бутылку эту вот на этом самом месте забыл.

Высокий скривил бритые губы.

— Забыли? Быть не может!

— Невероятно, но факт. Правда, эвакуировались с большой поспешностью, как вам известно.

— Как же: даже архива не вывезли. Этим еще придется заниматься... Нет, ничего, досказывайте ваш анекдот.

— Вернулись... — В голосе капитана не было уже прежней веселости. — Мать пресвятая богородица! Все вверх дном, разворочено, бумаги изодраны... по листику, прямо сказать. А бутылка, смотрю, глазам не верю — как стояла, так и стоит, полнехонькая! Мы все так в лоск и легли. Трезвенники, чорт их дери! Сейчас же я пробочку гевек, как немцы говорят, да из горлышка как садану, в полный заряд... Тьфу, проклятые! Вода! Водку вылакали, дьяволы, и, для провокации, воды...

Офицер, не дослушав, скользнул взглядом по Шурику.

— Это кто? Я его где-то видел.

Капитан кивнул.

— Весьма возможно. Оболенский его тоже знает: по его записке он и арестован. Его Елена Ивановна опознала.

— Елена Ивановна? — Высокий поморщился брезгливо. — Как его фамилия?

— А чорт его знает! По бумагам — Непенин.

Капитан пододвинул пачку. Высокий раскрыл паспорт и стал читать, сощурившись.

— Непенин, Николай... Потомственный дворянин... Я знал генерала Непенина. Вы... не родственник?

Шурик не ответил. Офицер еще раз внимательно осмотрел его с головы до ног. Глаза были пустые и холодные.

— Вы... в самом деле потомственный дворянин?

Шурику стало зло и смешно. Он почти крикнул:

— А вы, господин офицер, сами отличить не сумеете?

— Отличим, — сказал, потирая руки, капитан. — Вот подвесим — сразу все уяснится, что к чему.

Высокий тронул рукою висок.

— Подвесить? Нет... Подождите, Бравич! Я думаю, это действительно дворянин.

— Тем хуже! Курицыным детям сам бог велел: в большевики. Но чтобы дворянин... Позор!

— Позор! — холодно подтвердил высокий. — Но закон остается законом, Бравич! Казнь, да. Но дворянин, по закону, не может быть подвергнут телесному наказанию, а дворянства, что бы он ни сделал, лишить его может только конфирмованный государем императором приговор суда.

Капитан спрятал глаза.

— Но... его императорское величество... гм!.. Эти господа вывели в расход всю царскую фамилию. И при подавлении бунта нельзя же соблюдать законы!

— Закон закону рознь. — Высокий поднял руку. — Во имя чего мы вгоняем взбунтовавшееся быдло опять под ярмо? Во имя чьей крови? Не для господ же Милюковых, Керенских и прочих... пресловутого «третьего сословия». Мразь! Вот кого я буду драть плетьюми, как мои предки драли на конюшние проворовавшихся дворовых... если нам суждено победить.

— Это все-таки, простите, ваше сиятельство, романтика, — упрямо сказал капитан. — Мы действуем на основе...

— Нарушайте законы сколько угодно и какие угодно. Но закон о дворянстве — единственный, который я никогда не позволю нарушить. Отставить, Бравич! Это категорический приказ.

Бравич пошевелил усами.

— Но в данном случае дворянство его не доказано: паспорт, несомненно, подложный.

Высокий усмехнулся.

— Он был прав: мне не надо паспорта — по телу, по посадке головы видно. В нем есть кровь.

— Но если он отказывается говорить, — пробормотал капитан. Он скосил глаза, и усы теперь топорщились жалко и растрепанно.

— Расстреляйте в молчанку! — пожал плечами высокий. — Но дворянина, я сказал уже, нельзя... — Он круто остановился и опять оглядел Шурика. — Вас не били?..

Шурик промолчал. Высокий улыбнулся.

— Вот и еще доказательство. Плебей давно бы растекся в жалобах. Вы говорите: Оболенский удостоверяет, что он большевик. Пусть так. Наряд на утро. Но до утра — пальцем не тронуть. Я сам буду при расстреле, и если окажется...

— Никак нет, — торопливо сказал, отряхиваясь, капитан. — Загул, отведи господина арестованного. И чтобы... тихо. Скажи там... понял?

По камере прошел гул, когда Шурик переступил порог обратно: если в большой толпе все хотя бы вздохнут только, очень тихо, так, чтобы никто-никто не слышал, но в одно и

то же время, — получится: гул; во множестве — всегда: если не сила, то хотя бы это вот... Гул.

Солдаты приперли дверь. И тотчас весь зал зашевелился закачавшимися головами. Многие стали вставать. Шурик разыскал глазами своего еврея. Он лежал попрежнему, уперев локти в пол, голову — в руки.

Кто-то спросил Шурика, шопотом:

— Допрашивали?

И сейчас же, из-за спины, второй:

— Били?

— Нет! — ответил Шурик, очень громко. И в ту же секунду холодком, жутким и быстрым, прошла мысль, что так говорить не надо было; надо, чтобы думали: обязательно будут бить. И надо, чтобы думали, что его, Шурика, тоже били... подвешивали даже... Тогда им легче будет ждать; ждать — легче, когда знаешь: наверное; когда не надо думать: будет или нет. И легче ждать, когда вызовут. Но слово сказалось, и шелест по камере стал громче:

— Не били?

Из угла, от дальней стены, поднялась женщина. Шурик все еще стоял, как вошел, у порога. Он узнал ее сразу. Марина. Мара. Невольно сейчас же поискал глазами Зайделя. Но Зайделя не было.

Мара подошла осторожно, обходя сидевших и лежавших. Поздороваться или нет? Сказать: «Мара»? Будет легче обоим. Или по конспирации нельзя?

Мара не поздоровалась. Она смотрела, как незнакомая, страшно строго: так, чтобы и он не мог узнать.

— Можно спросить вас?

Шурик наклонил голову, очень почтительно:

— Конечно, пожалуйста!

— О допросе...

Она говорила нараспев, и голос был грудной и глубокий, очень женский, совсем не такой, как был на воле: Мара ведь некрасивая была и неприятная, с очень мужским складом. А сейчас и глаза другие: лучистые, большие, чудесно красивые и тоже женские-женские. Шурику обожгло ресницы: как он раньше не видал этого в ней?

— Тогда пойдемте.

Она кивнула туда, в угол, откуда встала. Шурик пошел за ней, старательно подымая ноги, чтобы не наступить случайно на

раскинувшихся по полу, неподвижных людей. Неужели всех били при аресте? Нет, у Мары не видно никаких следов ни на лице, ни в движениях: она идет легко и... красиво.

В углу, у стены, было тесно. Но Мара сказала соседям, ровным и тихим голосом, как говорят самые обыкновенные вещи:

— Меня, наверное, убьют сегодня же ночью, потому что я оказалась при аресте вооруженное сопротивление. Так вот, мне надо переговорить с ним об очень для меня важном и личном. Вы понимаете: личном, что никому, кроме меня, не нужно. Мне нельзя, чтобы слышали...

Ближайшие поднялись молча и отошли, отгребая вещи, у кого были. Кругом, на целое человеческое тело, а может быть, и больше, стало пусто. Мара взяла Шурика за руки и опустилась на пол, не выпуская рук. Шурик сел. Колени тесно прижались друг к другу. Глаза у Марины были спокойные и ясные.

— Ты... в самом деле стреляла?

Она кивнула.

— Да и хорошо, знаешь... Тому, кто отворил дверь... он был толстощекий и красный, как младенец... я выстрелила прямо в лоб, в упор: он даже не крикнул. А потом... еще... но никто больше не падал... Все равно, это хорошо, что я стреляла: видишь, они меня не тронули. Смерть отгоняет насилие. Мне так одна террористка сказала: мне запомнилось.

Шурик крепче сжал руки. Сейчас он стал опять прежним, совсем настоящим Шуриком, как в Триполье, как всегда, когда он бывал с отцом или товарищами. И, смотря в глаза Маре, он думал напряженно и быстро, что надо делать. Время — до утра. Что сделать? Прежнее — сонное, слякотное — прошло, исчезло без следа. Он сейчас настоящий: значит, действовать. Марина говорила дальше, все так же спокойно и ровно.

— Когда меня взяли наконец и повезли в автомобиле... Смешно, знаешь: оказывается, я никогда еще не ездила в автомобиле, это было в первый раз. Когда меня повезли, я нисколько не волновалась. Мне было только, как это сказать, немножко торжественно. И я говорила солдатам, стыдила их, что они с господами против своих — рабочих и крестьян. И, знаешь, они слушали... я даже думала...

Она остановилась и с силой вырвала свои руки из рук Шурика.

Замок прогрохотал, дверь раскрылась, голос крикнул с порога:

— Янкелевич!

Марина провела дрожащими пальцами по волосам.

— Слава богу... не меня... Господи, как я испугалась!

— Мара! Что ты?..

— Подожди, вот! За этим я тебя и позвала. Тебя ведь тоже расстреляют, ты знаешь?

Шурик кивнул.

Марина засмеялась довольным и тихим смехом.

— Вот, вот... Я тогда еще, как только ты вошел, по лицу догадалась. Сегодня же, да? Только у мертвых бывают такие спокойные лица. Когда человек ходит еще, но уже умер: ты понимаешь? И только мертвых — они, там, не бьют по лицу. Или — и мертвых тоже?

— Янкелевич! — повторил голос — Крюком тебя тащить?

— Я же иду.

Марина проследила глазами за качающейся, сгорбленной фигурой. Когда дверь закрылась, она встряхнулась всем телом и снова взяла руки Шурика.

— Они убьют меня и убьют тебя. Меня — раньше, потому что ты вернулся с допроса: значит, тебе отсрочили. Это бывает редко — за весь день сюда никто уже не вернулся из вызванных. И я не вернусь. У меня записка на волю — товарищам... Вот! Возьми!

— Они сказали, что расстреляют меня на рассвете, — сказал Шурик, — и я не придумал еще, как нам до рассвета выбраться.

Зрачки Мары расширились и стали испуганными.

— Выбраться? Нет, нет, Шурик, ты не выберешься. Об этом не надо думать. Если бы ты мог выйти, я бы не позвала тебя.

— Что ты, Мара!.. Но зачем же тогда записку?

Она скривила усмешкой рот.

— Записка не так важно. Когда тебя вызовут, ты передашь другому, он опять другому... в конце концов, не всех же перестреляют, кого-нибудь выпустят. Записка дойдет, когда наши вернутся, конечно: она без адреса. Надо просто словами сказать: в комитет. Каждый возьмет, обязательно. Ведь комитет будет тогда власть. Записка дойдет. Я — не о записке. Мне с тобой — о другом.

Шурик наклонился ближе.

— О чем, Мара?

Сказалось хорошо. Мара улыбнулась и по-родному прижалась к Шурику.

— Вот так я могу сказать. Шурик, я... я не могу, чтобы меня мучили. Смерть — да, но только не мучить.

— Они не будут мучить.

Шурик сам почувствовал, что в голосе у него нет уверенности. Она затрясла головой раздраженно.

— Не лги. Ты знаешь сам: пытаются. Все говорят. Иначе они не умеют узнавать, что им нужно: чтобы вызнать у арестованного, у врага — надо тонкий ум, надо уметь говорить, надо — психологию. Откуда им взять такое? А пытка... она заставляет говорить любого, без всякого искусства. Пыткой может всякий. Самый паскудный офицеришко... Они пытаются, пока не дознаются, что им нужно... Не пробуй меня обманывать, Шурик!..

Шурик отвел глаза. Она усмехнулась, злорадно.

— Ага, вот видишь! Мне страшно, Шурик! Я это тебе хотела сказать.

— Страшно потому, что ты думаешь об этом, — тихо повторил свою мысль Шурик. — Когда начнут делать, — не будет страшно. Настоящее никогда не страшно. Это наверное так, Мара, я знаю наверное!

Она отодвинулась и поглядела на него со стороны, точно еще раз расценивая. И вся она стала сейчас чужая и неприятная. Отчего? И так сразу...

— Я не выдержу.

— Выдержишь, Мара! — твердо сказал Шурик. Он мысленно четко-четко представил себе, что его подвесили: до того четко, что на секунду почувствовал острую, невыносимую, сверлящую боль. И тотчас вздохнул полной грудью, успокоенно; нет, он выдержал бы, он ничего бы не сказал, ни единого слова. — Не волнуй себя понапрасну, Мара, родная, не думай. Ты выдержишь.

Смех прошел по губам. Глаза раскрылись еще шире, стали совсем лучистые и совсем глубокие.

— Я не выдержу. Я уже готовлюсь.

— Я же сказал тебе: не надо думать... — Шурик погладил Мару по руке. — Готовиться — только хуже делать.

— Погладь еще! — Мара прикрыла глаза. — Ты меня не понял. Я — не к пытке. Я повторяю адреса. Да, да... чего ты на меня так смотришь? Я же сказала, я не могу. Я не дам

себя мучить. Я повторяю адреса, — все все, какие только знаю. Повторяю, чтобы не сбиться... Ведь если собьешься — пытаться будут наверное. А если сразу... И вот ужас! Сначала, как только решила, я ничего не могла вспомнить. Ни одного, понимаешь... Все, все забыла... даже свою улицу, на которой меня взяли, и ту. И имена... все... вдруг побежали из памяти... самые родные... опрометью, во все стороны... Это меня спасло: когда они побежали, я стала хватать. Ага! Хотели бросить, на смерть, на пытку, одну, — так вот же вам! И такое счастье, когда я их захватила!

— Мара!

— Молчи! Сразу тогда туман с головы сплыл, и ясно так, печатными буквами, первый: Фундуклеевская, тридцать семь, квартира шесть, Михалевич, по паспорту — Андронников.

— Мара!

Она оглянулась озлобленно.

— Не сбивай, не смей! Я все вспомнила: я всех держу крепко. Рейтарская, шестнадцать.

— Замолчи, Мара! Сейчас же!

Она усмехнулась.

— Я и твой адрес скажу. Номера не знаю, но я расскажу, где. И как в квартиру войти. И что там — две барышни. Когда подробно — они верят сразу, правда? Я даже это прежде всего скажу, раньше всех. Тебе ведь совсем все равно, тебя все равно расстреляют.

— Ты не скажешь...

— Когда тебя... захотят... ты тоже скажешь, Шурик! Ведь адреса те же. Ты ведь боротьбистов тоже знаешь. Я тебя затем и позвала, чтобы ты знал: все сказано.

Шурик и сам не заметил, как положил руку Маре на плечо. Повторил: «не скажешь», и передвинул руку дальше — ближе к шее. Мысли у него не было никакой, была только огромная и крепкая внутренняя уверенность: этого не должно случиться. И Мара почувствовала то же... Она чуть-чуть подобрала подбородок, потянула голову вверх, шея стала длиннее, длиннее... белая... совсем уже под руку Шурика.

— Эта?

Голос был над самым ухом. Шурик вскинул глаза. Как они не слышали, когда вошли, те? Три солдата. Следом за ними, громко переступая, подходил офицер.

— Эта самая.

— Вы что же не изволите откликаться? Раз выкликаем, и два, и три, герцогиня Герольштейнская! Пожалуйте!

— Я не пойду! — быстро сказала Мара и сбросила руку Шурика с плеча. — Я не пойду!

Офицер кивнул

— Проводим. Бери ее!

— Опричники! — выкрикнула Мара. Зубы открылись, как на укус, как у волчицы. Но солдаты, вобрав головы в плечи, разом схватили ее за руки и плечи. Офицер щелкнул наганом у самого лица Шурика.

— Стрелься — выведу, в расход.

Но Шурик не стронулся. Опять, как тогда, на Крещатике, когда подходил к ощерившейся, готовой броситься толпе отец, — подлая свинцовая слабость, все тело безвольное, дряблкое. Что ни случись, он не двинется.

.

Мару несли тюком, с запрокинутой головой. В дверях она рванулась в темных солдатских руках и крикнула полным голосом:

— Да здравствует революция!

Камера-зал молчала. Когда Мару брали, никто — ни один — не поднял с полу головы.

51

Мара до утра не вернулась. Солдаты приходили еще — всю ночь выкликали от дверей то одно, то другое имя. Выходили — и не возвращались. По временам приводили новых. Шурик дремал у стены. Пытали Мару, нет? Выдала, нет? Об этом Шурик не думал. Но вырваться, действовать, найти способ, — опять на волю! не из таких тюрем бегали революционеры! — не хотелось больше. И вообще мыслей не было: когда смерть — никаких мыслей нет: если кто-нибудь будет говорить другое, — это значит только, что он не умирал. Спать, конечно, тоже нельзя. Рассказы о сне перед казнью — вздор тоже. А вот так: дремать у стены. Без времени. Это настоящее, это — правда.

Людей было ужасно много в зале, гораздо больше, чем показалось первоначально Шурику. Тогда он не рассмотрел, потому что его сразу взял тот, огнебородый, а сейчас сквозь дремоту он видел, потому что после разговора с Марой рыжий стал

таким же, как и все другие вокруг. Все. И Шурик. Шурик даже лежал теперь совершенно так же, как все, распылив по полу локти и положив голову на ладони, ничком. Кроме пола, кроме земли, ему уже ничего другого не видать. Ну, а остальным? Их было ужасно много, и все ровные и тесные, как зубы на фальшивой челюсти. И почему-то от увода становилось каждый раз как будто не меньше, а больше. Сквозь щель щитов на окнах уже брезжил белесый и мутный рассвет. Все чаще приподнимались, садились, вставали люди. Кто-то близко от Шурика заговорил о кипятке, и Шурик сквозь дремоту, не сразу вспомнил: кипяток? Что такое? Зачем такое слово, и что оно значит: кипяток?

Стало еще светлее. Шуршал по углам, все настойчивее, шопот, и самые смелые, гусем, в затылок друг к другу, стали у двери. Передний постучал, сначала слабо, потом сильнее, потом совсем сильно, кулаком, в частую дробь. Вереница ждала, переминаясь, потом заговорила в голос, засудачила по-базарному и разошлась. Двое остались и закричали через дверь очень негромко и просительно:

— Откройте, пожалуйста, выйти!

Шурик сквозь дрему подумал: надо бы засмеяться. Потому что это — смешно. Но не засмеялся: он дремал. У двери еще долго возились и стучали.

Наконец отперли. Брезгливым движением отстранив ожидавших у двери, вошел тот, высокий. Сзади шли солдаты. Он повел глазами по залу и окликнул негромко:

— Господин Непенин.

Шурик встал. Офицер кивнул и помахал рукой.

— У вас есть с собой какие-либо вещи? Вы свободны.

Свободен? Издевательство. И еще кто-то понял так: засмеялся визгливо и злобно. Но офицер приветливо козырнул, когда подошел Шурик.

— Недоразумение выяснилось, как я и предполагал. Вернее, был уверен. Вы не очень гневаетесь на нас за ночь... в этом обществе?.. Впрочем, вы сами виноваты отчасти: надо было не дразнить Бравича и сказать сейчас же. Ну! *à la fin des fins*, бывает хуже: мы живем в эпоху ошибок.

Мара не выдала: она обещала его — первого. Если бы сказала — не выпустили бы никогда. Родная! Конечно же... Разве можно было поверить!

От радости — за Мару! — он крепко пожал протянутую ему руку.

— Пожалуйте в канцелярию. Вам вернут ваши документы. Что? — Он обернулся к сгрудившейся у выхода толпе, глядевшей на Шурика завистливо и хмуро. — По местам... вы!

В канцелярии, той самой комнате, где допрашивали Шурика, лысого капитана не было. Молоденький офицерик, прищелкивая шпорой, передал ему, сорвав торопливо бечевочную повязку, документы и бумажник. И спросил тоже, предупредительно улыбаясь:

— Вы не очень на нас в претензии?

У дивана, большого кожаного, в углу (разве он стоял вчера вечером в комнате? Она же была пустая) Шурик увидел белую гребеночку на полу. Такая гребеночка была в волосах у Мары. Когда ее выносили, головой вперед, он даже подумал: выпадет. Это гребенка Мары. Но сказать нельзя. И молчать тоже. И идти тоже нельзя.

Он положил документы обратно на стол. Офицерик испуганно оглянул его и поспешно добавил:

— Уверяю вас, мы ни при чем. Это Оболенский напутал, по неосведомленности. А из канцелярии генерал-губернатора дали знать всего полчаса назад.

Генерал-губернатор... Ворота. Узорчатая калитка. Алина с охранником. Алина и Мара.

— Я не понимаю, — сказал Шурик. — О какой канцелярии и о какой неосведомленности вы говорите? Я действительно большевик, комсомолец.

Офицер засмеялся и закивал, оглянувшись на остальных, бывших в комнате: их было несколько — офицеров и солдат.

— Ну, конечно же, большевики: иначе вы бы к нам и не попали. Честь имею кланяться! Но, если разрешите, маленький совет. Здесь вы, конечно, свободно можете делать заявления такого рода. Но вне этих стен рекомендовал бы быть осмотрительнее: это может ввести в заблуждение и повести к осложнениям, которые одинаково нежелательны, я так полагаю, и вам, и нам. Еще раз: честь имею!

Дальше что? Шурик молча взял бумаги и вышел.

Часовой, глазом безграмотного оглядев пропуск, вздел его на штык винтовки равнодушным движением: ему все равно, почему вышел и кто? Документ, бумага, штык... Но улице, на которую вышел Шурик, по-утреннему, деловой и людной, — ей было не все равно. Улица смотрела десятками глаз; и Шурику казалось, что смотрит она — по-особенному; Шурику казалось: каждый, кто, проходя, поглядел на него, обязательно подумал о нем нехорошо и стыдно. И подумал верно, потому что ему и самому не хорошо за себя и стыдно. Мары нет. Мара ничего не сказала, иначе он не стоял бы сейчас, так вот, на панели, около контр-разведки. Этот подъезд все обходят, а он стоит, он не боится нисколько, потому что генерал-губернатор написал что-то такое, от чего его выпустили, хотя он и сказал, громко, при всех, что он — большевик. Он сказал: значит, он не виноват; он сделал, как Мара, и если бы у него было оружие при аресте, он, может быть, тоже бы стрелял. И разве его вина, что Алина, — ведь это, наверное, она, больше некому, — сказала что-нибудь гадкое, чего не надо было говорить. Налгала чего-нибудь. Ведь ей ничего не стоит, наверное, налгать. Так вот: смотреть прямо в глаза — и лгать. Сейчас он придет домой и будет говорить с ней, спрашивать. Но ведь она и ему солжет; ведь не скажет же она ему прямо: «Да, я агент, и потому меня послушались: выпустили». Или еще что-нибудь, страшнее. Нет, так нельзя! Надо, как следователь, осторожно: придумать, как выпросить, закинуть петлю—незаметно, незаметно, может быть, даже улыбаясь, чтобы и в голову не пришло, что петля, что следователь. И сразу дернуть, неожиданно совсем, затянуть: поймать на слове, заставить сказать правду, сознаться.

Надо совсем незаметно: может быть, даже целовать и ласкать, как она хочет. Ведь она хочет, чтобы он ласкал. Что было в купеческом, после бала...

Надо обдумать раньше, чем идти. Дома — Лика.

Лика. Алина. При Лике — нельзя. Надо так, чтобы Лики не было, чтобы можно было о Лике не помнить. Сейчас нельзя домой.

На небе — тучи: быстрые-быстрые: там, наверху, высоко, ветер сильный-сильный, наверное. Оттого тучи — быстрые: куда, откуда? Так и с ним, с Шуриком: ветер, сильный. Куда, откуда? Не мысли — тучи, быстрые-быстрые... Прошли? Нет. Надо все хорошенько обдумать. Только тогда — домой.

Шурик стоял у витрины кафэ, рядом с контр-разведкой. Наверное, сюда ходят контр-разведчики и шпики и отсюда носят, по заказу, еду в контр-разведку, в канцелярию: булку с ветчиной, например: лысому. Шурик вспомнил, что он очень хотел есть, и что вообще с того часа, как он вышел из дома, он ничего не ел. Только стакан вина, за Днепром, у Елены Ивановны. Он зашел в кафэ. Буфетчица, пудренная, с помятым, недоспавшим лицом и завитушками у висков, улыбнулась ему, как знакомому. Он спросил кофе и булку с ветчиной: целую булку взрезать вдоль и вложить два больших цельных ломтя ветчины.

— С маслом?

Как было у лысого? Шурик сморщил лоб, вспоминая. Очень отчетливо увидел пальцы, ногти лопаточкой, крепкие и желтые. Перстень на втором пальце, и грязные обшлага рубашки под новеньким френчем... Но было ли масло? Он не смог вспомнить и сказал наобум: — Нет, одну ветчину. — И сейчас же стукнуло в висок: зачем это?

Газетчик, юркий, хохол из-под козырька, хлопнул расторопно дверью. Уже вышли «Киевская Жизнь», «Киевлянин». Клише на талере: **КНЕВЛЯНИН** повернулось у Шурика на глазах и стало: „Киевлянин“.

Должно быть то самое клише метранпаж припрятал: нового не успели бы отлить. Или успели? От черных, жирных столбцов — тем самым, знакомым шрифтом, — на Шурика пахнуло подпольными буднями, шульгинским голубым котом: кто это ему рассказывал, что у Шульгина — сибирский кот, голубой, огромный? Голубой кот. Ветчина. Мысли все такие же глупые, разрозненные. Надо сейчас же к Зайделю. Стать на работу, какой есть. Голова пройдет. В зеркале видно: глаза и лицо — нехорошие; Лика совсем не узнает. Но следов побоев, контр-разведочных следов — нет. А ведь он так сильно ударил в глаз! И на виске, под волосами, не видно, откуда шла кровь; та, запекаясь, вся уже ссыпалась, чешуйками.

Шурик расплатился. Буфетчица больше не улыбалась. У подъезда контр-разведки все тот же часовой со штыком, на штыке — Шурикин пропуск. По улице, у домов торопливо вывешивали трехцветные, недавние, но уже полинялые, флаги. Ничего не подлаешь: осень, дождь, а флаг — ему раз довольно повисеть в слякоть — и кончено: цвет уже не такой.

Люди на панелях — опять ошеренные, как в тот, первый день, когда пришли добровольцы. Опять оглядываются. Вот-вот

кто-нибудь крикнет: «Коммунист... большевик!» И у подъезда редакции «Киевской Жизни» стоит опять, подвернув завороты полосатеньких брюк, с проросшими, неподбрityми еще после Дарницкого бегства щеками, в мятom воротничке, поэт и публицист, гражданин Эйнерлей. Только вернулся, а вот в газете уже пропечатано, черным по белому, — Шурик только что за кофе читал, — «Киевская Жизнь», номер тридцать первый, — за этою черною подписью: И в а н Э й н е р л е й.

«Да, большевики — не политические враги, но насильники и завоеватели. Первое октября не «смена режима», но разбойничий набег... Снова смерть, разрушения, дикая забава, первые с трудом заложенные кирпичи сметены налетчиками... Все равно, от большевизма мы ушли, мы из него вышли, и никакая сила не заставит нас снова жить от декрета к декрету... Кто вышел в путь — назад не вернется, и больше под большевиками нам не быть!.. Пусть жажда и страда, пески пустыни, для всех муки, для многих смерть, но все-таки время идет, но все-таки египетское иго позади, а впереди земля обетованная!»

Исход.

53

Зайдель отпер на условленный звонок сразу. И даже улыбнулся, когда увидел Шурика. Это совершенная редкость. Зайдель никогда не смеется. Он — из местечковых: значит, громили, значит, как с Марой. Но Зайдель видел страшнее, чем видела Мара, и он был старше, он уже ходил в хедер и даже слышал, тогда уже, что есть социал-демократия. Он не смеется больше. Никогда. А сейчас — улыбнулся. И у Шурика дрогнуло в груди, и он потянулся к Зайделю губами. Зайдель совсем улыбнулся, светло-светло, и поцеловал Шурика. Крепко. Владек дожидался очереди. Он удивительный, Владек: он всегда, всюду приходит тогда, когда надо.

Вернулись. К своему каждый!

Владек знал больше всех: он был в штабе, поспел, когда штаб был еще в Политехническом. Взяли Киев с налета, действительно. Но было не только два полка, это неверно; войск было довольно много, почти все «одесские» части — и пятьсот восемнадцатый и пятьсот девятнадцатый и пятьсот двадцатый, Советские и Новгород-Северские, и первый, и второй Московские полки. Если бы мост на Тетереве был уже закончен починкой, наши успели бы подвезти подкрепления, и Киев остался бы за

нами. Но мост не пропустил ни бронепоезда, ни эшелона с тяжелой артиллерией. А без подкреплений никак нельзя было удержаться. Белые обошли фланг — через Жуляны, Борщатовку, Пост-Волинский, — наши едва успели отойти: и то потому только, что заслоны бились так, что небу жарко стало, а то бы отрезали: с разведкой вышло не совсем ладно.

— С разведкою?

Владек вдруг спохватился, покраснел и пожал руку Шурику.

— Ты не подумай, пожалуйста!.. Ты же не один был: даже от нас, от подпольных, а у войск была ведь еще и своя разведка. С Подолом, действительно получилась, временно, проволочка. Мы передали: Подол — и первые части, которые вступили, так и двинулись прежде всего на Подол, и шли с осторожностью, медленно. А на Подоле оказалось — одни хулиганы: добровольцы — не на Подоле, а на Печерске. В штабе мне потом так и сказали: обязательно должны были на Печерске, потому что Печерск — ключ... Но когда мы доносили, штаба еще не было, были только передовые; они не знали, где ключ; так и размахнулись всем кулаком по пустому месту. Это действительно вышло нехорошо.

— Но я ведь слышал не как-нибудь, от штабных, и они говорили между собой. Я подслушал, — сказал Шурик и заломил пальцы. На сердце стало опять холодно и пасмурно. — Это же наверно было так!

Зайдель заулыбался опять.

— Да, ну да же, Шурик! Никто же тебя не винит. Мы же все тебя знаем. Ну, офицеры ошиблись, или сказали нарочно.

— Нарочно? Нет! — твердо сказал Шурик. — Если бы нарочно, я бы понял. Они отменили потом, наверно. Как и с Якутцами: когда я посылал Васю, Якутцев еще не вызвали с фронта. И обход... тоже... позже... Вася дошел?

Владек кивнул.

— Да, да. Но тогда уже был штаб, и в штабе уже знали, что Якутцы прибыли, и Волинцы, и что на Жуляны — обход. И нас нисколько никто не винил в штабе.

— Ты не видел... отца?

— Видел. — Владек отвел глаза. — Его, знаешь, в голову ранили. Но ты не беспокойся, Шурик! Доктора говорят: будет жив. И его сейчас же, ну, совсем сейчас же, как только перевязали, отправили в тыл — состав уходил на Бородянку. Там будет уход и все будет совсем хорошо, Шурик!

Шурик помолчал. Потом спросил:

— А наши?

Зайдель потер руки, радостно.

— Нашего полку прибыло. Лукьяновскую тюрьму вскрыли, как только добровольцы бежали... около двух тысяч ушло, политических. Кроме Карпинского, но Карпинский... давно, ты же знаешь, все целы...

— А Семушка? — чуть не вскрикнул Шурик. Владек, смеясь, хлопнул его по плечу.

— Вывезли Семушку из тюремной больницы. Они его совсем истеранили, но он живой и смеется, Шурик! Его поместили на такую квартиру, что теперь никакой опасности: его никто не возьмет, никто не разыщет. Совершенно удивительная квартира.

— Квартиры все целы? — спросил Шурик.

Зайдель взглянул недоуменно. Почему, собственно, так дрогнул голос у Шурика?

— Я был недавно на явке, видел ребят, все благополучно... повидимому. Ты разве что-нибудь знаешь? Ты разве сейчас не прямо из Дарницы?

— Я из контр-разведки, — торопливо сказал Шурик. — Меня арестовал вчера здесь в городе военный обход. На утро выпустили, сказали, что было недоразумение. Но там, в тюрьме, я видел... Мару.

— Мару? — У Зайделя медленно поползла вверх губа, обнажая желтые, стертые, не по возрасту хилые зубы. — Мара взята?

— Она прислала со мною записку. Вот! — Он вынул маленькую, аккуратным треугольничком сложенную бумажку. Зайдель протянул руку и взял. Владек читал через плечо: Зайдель близорукий, он держал бумажку высоко — у самых глаз.

«Передайте товарищам: я честно умерла за революцию. Мара».

— Она крикнула: «Да здравствует революция!», когда ее выносили солдаты, — тихо, вспоминая, подтвердил Шурик. — Она не вернулась... до тех пор, по крайней мере, когда меня выпустили.

— Я знал, что она не спокойна за квартиру, — пробормотал Зайдель и погладил ладонями бедра, сверху вниз, быстро. — Я ходил к ее дому, сейчас, когда шел с явки, но в окне не было сигнала, и я остерегся входить. Я подумал: наверное, слежка. Она сняла сигнал, когда арестовывали, это же теперь ясно. Но еще утром вчера, на явке, я виделся с нею... — Он помолчал и

спросил, не подымая глаз: — А с тобой как же все-таки случилось?

— Со мной... — начал Шурик и замолчал. Ему стало вдруг непереносно стыдно рассказывать товарищам, после Мары, об Алине, протекции и генерал-губернаторе... И как объяснить, почему он воспользовался постыдным и вышел, а Мара стреляла и умерла. Ну да, конечно же: революция есть прежде всего правда, революции нужно дело, а не жест, не красивость, не романтика... Это все верно... но вот: как объяснить Зайделю, так, чтобы было понятно, почему он, Шурик, жив, а Мара убита?

— Ну, что же? — нетерпеливо сказал Зайдель и обвел рукой вокруг горла, под вспученным, белым крахмальным воротником. Руки никак не могли успокоиться. Зайдель думает о Маре: это так понятно.

— Меня забрал обход на улице, как подозрительного, — Шурик отвел зачем-то глаза. — Это было у самого дома, у окон, хозяйки видели, как меня брали. Меня посадили на Фундуклеевскую. Немного били, потом взяли на допрос и хотели подвесить, потому что я отказался отвечать. Но пришел какой-то высокий офицер и сказал, что я, наверное, дворянин, как значится в паспорте, потому что у меня такое лицо и такая фигура.

Зайдель хмыкнул, особым хмыком, которого ужасно не любил Шурик: отчего зверь не может издеваться, а человек, вот, может? И так легко и просто: одними губами, без всякого слова: хмыком.

— Ну, и что?

— Он сказал, что дворян нельзя бить и подвешивать, что бы они ни сделали, и так как я не хочу ничего говорить, — меня надо запереть обратно, пока дело разберется.

Владек захохотал.

— Вот дурак!

— Офицер был, наверное, важный — из штаба или даже от командующего, потому что с ним были очень почтительны, и когда он приказал — меня сейчас же отвели. Да, он еще сказал, чтобы меня не били. В камере я увидел Мару. Она мне отдала свою записку и сказала, что при аресте стреляла.

— Стреляла? Вот!.. Я знал всегда: если случится, — так будет.

Нет, Зайделю нельзя сказать все, подробно: Зайдель никогда не поймет. И надо не о себе говорить, а о Маре.

— Мара уверена была, что ее убьют. Она мне отдала записку. Утром в камеру пришел офицер и сказал, что все выяснилось, и я могу идти. Я думаю, что хлопотали мои хозяйки: они же видели, как меня брали. И они поручились, наверное.

— Стреляла... — у Зайделя были закрыты глаза. — Тогда все понятно. И все-таки она не забыла снять сигнал. Это стальная девушка. Если бы я верил в бога, и если бы у революции был бог, — я бы сказал: святая.

Он поднял веки и сказал, очень устало:

— Мне хочется, — как это говорится? — побыть одному, дорогие товарищи! Может быть, вы пойдете? Завтра явка будет на три часа. Как?

Вышли вместе. Не конспиративно? Ничего. Один раз — можно. И расходиться не хочется.

На подъезде Владек спросил Шурика:

— Ты домой?

Домой? Нет. Шурику нельзя еще домой. Шурик еще не решил, не додумал.

— Пойдем куда-нибудь — и подальше, знаешь. Чтобы можно было поговорить совсем свободно. Я знаю на Шулявке один ресторан: очень большое помещение, и там всегда пусто — я несколько раз сквозь окно видел, когда проходил. Там хорошо говорить, я уверен. Ты мне подробно расскажешь, что у вас было, а я — об аресте и о Дарнице.

Он прислушался.

— А все-таки — стреляют. Наши не могут вернуться? Наверное?

Владек качнул головой.

— Нет. Это — заслоны. Стреляют далеко, ты же слышишь. Это где-нибудь на Святошинском шоссе, или на Ирпене. Придется нам еще пожить на подполье, Шурик! Что ж, идем на Шулявку. Обход опять, смотри... Тебя такой вот и забрал, да? Гайда, на случай в подъезд! Не каждый раз с рук сходит: везет-везет, а в конце концов можно и вхрюпаться.

В ресторане сидели долго. Шурик нарочно задерживал: рассказывали друг другу обо всем — и о парке, что было там после Шурика, и о китайцах и штабе, и о Дарнице, кадете, и о рыже-

бородом еврее, и о том, как увозили Семушку из тюремной больницы. Но о самом главном — о том, что надо было, обязательно надо было решить Шурику раньше, чем он вернется домой, на Пушкинскую, — об этом Шурик так и не заговорил. Владек был ужасно хороший, ласковый и радостный, и Шурик уверен был, что он поймет его с первого слова, все поймет — и об Алине, и контр-разведке — и что Владеку можно рассказать даже о том, как было с Ликой, и что у него есть жена, и какая это огромная радость... была бы, если бы не это вот... постороннее, вьедливое, чего не отбросишь, чего он, Шурик, не умеет отбросить. Почему не умеет? Может быть, Владек знает и скажет. Но именно потому, что Владек был такой ласковый, ясный и хороший, — Шурику каждый раз, когда он вот-вот уже готов был сказать, становилось вдруг страшно и стыдно за себя, что он не смог сам решить, сам распутать, и дал себя замешать в какую-то грязную — теперь уже можно прямо, уверенно сказать — грязную путаницу. Революционер — и контр-разведка. Нет. Надо обязательно самому, одному, распутать и кончить. Самому — тогда никто не узнает. Владек поймет, но ведь и Владеку будет стыдно за него, — вот так точно, как стыдно самому Шурику. И это останется: память, что было стыдно. Нет, не надо. Шурик ничего не сказал.

Они попрощались. Владек крепко и тепло пожал Шурику руку и ушел (он первый ушел) всегдашней своей бодрой и легкой походкой. И когда он ушел, у Шурика опять сейчас же стало на сердце тоскливо, точно умер кто-то очень близкий и родной, и есть сознание, безысходно-ясное, что он никогда, никогда уже не вернется.

Вечерело. Шурик шел по притихшим, к ночи, улицам. К ночи — опять позапрыгался в жилищные логова Киев. Добровольцы вернулись. Да. Но еще ворчат дальними раскатами пушечные выстрелы за краинами, и выбитые дневною стрельбою окна чернеют зловещим напоминанием: снаряды летят далеко, и, может быть, безопаснее и на эту ночь уйти в подвалы, под своды.

Параска в сенях ставила самовар: ахнула, как полагается добросовестной и честной кухарке, увидев освобожденного Шурика, и стала даже что-то причитать — очень жалостливо. Но Шурик прошел, не задерживаясь, через кухню в коридор. Дверь

в ванную была приоткрыта, и в ванной был свет. Шурик остановился и приоткрыл шире дверь, не думая, что он делает. Алина, нагая, стояла у ванны. Оглянулась на шорох двери, и оба они вздрогнули, встретившись глазами. Она сделала чуть заметное движение к нему, но тотчас же опустила руки, спокойно, вдолъ тела, и сказала, слегка задыхаясь:

— Наконец!.. Идите. Я сейчас выйду.

Шурик прикрыл дверь. Во-время. Потому что могло случиться неверное и неприятное: из столовой распахнулись обе створки, быстро и настежь, и он увидел взволнованное и радостное лицо Лики.

Она протянула руку, легко и быстро припала к нему, очень по-детски, головой, и рассмеялась.

— Прямо к чаю, как на заказ! Сейчас самовар подадут. Где ты пропал? Мы беспокоиться стали, не случилось ли еще чего-нибудь. Мы — то-есть это не я. Я знала: ты сейчас же пойдешь по делам. Но все-таки было беспокойно: ведь и по делам тоже могло случиться.

Она кивнула и погладила ему на ходу руку.

В столовой — светло и тепло, чистая скатерть, салфеточки у приборов, Марья Степановна у буфета накладывает в вазочку варенье из огромной банки. Банку эту Шурик знал: вишневое с косточками. Марья Степановна задрожала наколкой, очень смешно и трогательно, по-стариковски, так что Шурик, — именно Шурик, да, нисколько не тот, не Непенин, не центросоюзный агент, коммивояжер зудермановский, — поцеловал ей руку. Она чуть всхлипнула и обняла за шею сморщенной старческой рукой.

— Ну, слава те, господи, вернулся! Вот натерпелися страху!.. Взяли, делать им, прости господи, нечего. Еще хорошо, Алина сразу же сорвалась и пошла... И то чамыгтарилась, пока все уладила. Да она сама расскажет. Она сейчас ванну берет.

— Алина идет уже! — звонко и радостно сказала Лика. — Алинко, Николай Авксентьевич вернулся.

Алина вошла в халатике, с приоткрытыми плечами — халатик наброшен, должно быть, прямо на тело: и грудь далеко видна из распахнутых отворотов — наверное, нарочно. А Лика смеется, обняла ее за голое, халатик отодвинувшее плечо.

— Вот, благодарите, Николай Авксентьевич! По-старому, по-хорошему, уставным поясным поклоном. Без нее могли бы они там, в контр-разведке, глупостей натворить сгоряча.

— Я вам обязан... — заговорил Шурик, стараясь не глядеть ни в глаза, ни на плечи. Но Алина оборвала на полуслове:

— Бросьте, не надо этого. Кончено — кончено. Как вы попали туда, в Дарницу? И к кому это вас там приревновал Оболенский?

— Да, да, — засмеялась Лика. — Придется вам поисповедаться. Идите скорей, мойтесь. Там, на Фундуклеевской вашей, едва ли было очень чисто. Ведь правда? И — чай пить.

Марья Степановна захолопотала.

— Вы ж не обедали, наверное... Не болит ничего?

Лика благодарно посмотрела на мать.

— Да ты не задерживай его. Ему сейчас скорее чаю напиться — и спать.

За чаем засиделись, впрочем: Шурика расспрашивали. То-есть расспрашивала Мария Степановна. Лика улыбалась глазами, как заговорщица. Алина сидела спокойно и равнодушно, распустив по плечам халатик, как будто это был самый обыкновенный, всегдашний вечер: чай, масло, вишневое варенье с косточками.

Рассказывать о Дарнице и о контр-разведке здесь было легко. Потому что здесь — не как у Зайделя. Здесь все выходило очень понятно и ясно... В Дарницу — от Центросоюза: надо же продовольствовать; с Еленой Ивановной познакомился еще, когда были большевики.

Алина прищурилась.

— Разве она была в Козельце? Вы же из Козельца приехали?

Шурик сжал губы, потому что вопрос был агентский. Так ошибаться было нельзя. Он же в самом деле, приезжий. Но поправиться вовсе не трудно.

— Мне случилось, весной еще, быть здесь во временной командировке. Я тогда и познакомился с ней, на литературном вечере.

Алина кивнула.

— Все может быть. Мне говорили вчера, что она переехала сюда из Москвы, перед тем, как наши заняли Киев: у нее, кажется, муж был в добровольческой армии. Так вот, ему навстречу. Но это, очевидно, ошибка.

— Кто вам говорил? — спросил Шурик, и чувство у него стало, как в контр-разведке. На допросах никогда не надо отвечать. Как он сразу не понял, забыл, что Алина — агент? Она же допрашивает. Не надо было отвечать на допросе.

— Оболенский, — равнодушно сказала Алина и помешала ложечкой чай.

— Вы его видели?

— Ну, да же! Когда вас взяли, — ведь это же было явно нелепо! — я решила сказать Драгомирову... у меня случайно есть возможность получить к нему доступ.

«Случайность! — зло подумал Шурик. — Серая сумочка, постоянный пропуск, каждый день. Случайность!»

— Я пошла во дворец, но Драгомирова, как всегда бывает с генералами, не оказалось на месте, когда это было нужно: он был где-то на фронте, то-есть, в тылу, конечно; генералы только на картинах выезжают на фронт.

Провоцирует. Но Шурик — нет, не поддастся.

— Можно еще стакан, Марья Степановна?

— Но во дворце было уже достаточно всякого народу. И дежурный попался очень интересный и готовый к услугам. Он звонил по телефону — в разные места. Однако без начальства ничего нельзя было сделать решительного. От контр-разведки добились только, что арестовал вас Оболенский. А тут, как нарочно, подошел и он сам: с каким-то рапортом. Ну, мы все, — я сказала уже: там было много народу, — сейчас же его допросили с пристрастием... Вы знаете, что по старо-русскому значит «пристрастие»? Нет? Пристрастие — пытка. Так вот: мы пытали его.

— Пытали?

— Ну да! Его поставили на колени, в углу, и удерживали крепко за плечи и за голову, а я держала у него перед губами, очень близко, но так, что он не мог достать, руку. Вот здесь!

Она откинула рукав и показала ямку у локтя.

— Алина! — укоризненно сказала Марья Степановна и вздохнула.

Алина засмеялась и откинула выше рукав.

— Сознаюсь, я даже дальше, вот так, открывала руку: пытать — так пытать. Но он никак не мог достать губами, хотя он рвался, и глаза у него стали совсем сумасшедшие: правда, над ним все смеялись. Но рассказать толково он ничего не мог,

только ссылался на эту Елену Ивановну... и так глупо, что было совершенно очевидно, что он вас приревновал.

— А дальше? — спросил Шурик, глядя на обнаженную руку: Алина так и оставила заброшенный кверху рукав.

— Дальше? Мы ждали, я же сказал вам. Мы музицировали: в зале у Драгомирова — чудесный Бехштейн. Немного даже потанцовали. Да, я забыла сказать: Оболенскому мы приказали позвонить в контр-разведку, чтобы вас до приезда генерала-губернатора не трогали, так что я... мы (я позвонила домой) были спокойны. Ну, а потом приехал генерал Драгомиров: это было утром уже. Но время прошло очень быстро. Для вас, наверное, тоже? Ведь вы же были уверены, что все разъяснится, как только вас возьмут на допрос? Вы спали?

Алина улыбалась спокойно. Но Шурик не верил. Ему казалось, что Алина волнуется, и даже, когда она приостановилась на секунду в рассказе, ему почудилась в самом уголке глаза затаившаяся между ресницами слеза.

А Лица не видит: ни слезы, ни что Алина волнуется. Она смотрит на них двоих с радостной и тихой улыбкой. Было — прошло: вернулся.

Параска вошла, присела у буфета, у нижнего ящика, выдвинула, пошарила.

— Ты что ищешь?

— Мелу. Двери закрестить.

Марья Степановна торопливо отодвинула кресло. Встала:

— Разве...

Параска кивнула.

— Жидів бьют.

На этот раз встали и Лица, и Шурик. Алина осталась сидеть.

— Откуда ты знаешь?

— Со двора слышно. Ежели до нас, на случай надо ворота и двери закрестить.

Со двора слышно. Шурик с Ликой торопливо прошли через кухню. Быстрым шагом догнала их, уже у порога, Алина. Открыли черную дверь, вышли во двор, в палисадник. И в самом деле: над городом плыл тягучим туманом, — ровным, без взметов, без всплесков, как тяжелая, безгрозовая туча, — многоголосый, но слитный, в один голос, стон.

— Жиді воють, — пояснила, почесывая поясницу, Параска. — Они завсегда так: бабы и пащата — в голос; думают: за душу возьмут — наши и отступятся.

Она засмеялась, сплюнула и, вытянувшись на цыпочки, поставила над входом кривой белый крест.

— Далеко это? — спросил Шурик, прислушиваясь к странному, тихому, безысходной, смертной тоской обволакивавшему город и землю... плачу... нет, слово не то, не подобрать на человеческом языке подходящего слова. У зверя — вой, у человека — плач. А как сказать, когда... сама жизнь... Если бы Шурик слышал уже это — хоть раз один, он, наверное, не смеялся бы больше, никогда, как Зайдель. — Где погром?

— На Житомирской, — равнодушно сказала Параска. Шурик вздрогнул.

На Житомирской — Зайдель. Дом номер шестнадцатый. Зайдель живет у Хабулевича. Два еврея. И лица у них еврейские, этого никак не скрыть. И даже прописан Зайдель там тоже по еврейскому паспорту. Канторович. Перед подпольем даже говорили в группе о том, что евреям работать будет опасно и трудно: добровольцы — погромщики. Но Зайдель тогда настаивал, чтобы ему разрешили остаться на работе. Теперь, если их захватит погромом... Надо сейчас же вывести их в безопасное место, если они еще не ушли. Житомирская — еврейская улица: сплошь. Погромщики там ни одного дома, наверное, не пропустят...

— Я пойду, — торопливо сказал Шурик. — Мне нужно.

— На погром? — спросила, из-за плеча, растягивая слоги, Алина. — Вы еще никогда не видали погрома? Или — спасать? Донкихотство. Вы никого не спасете. Только опять попадете в какую-нибудь историю. Это очень гадкое дело — погром — конечно. Но это стихийно. И с этим вы ничего не поделаете.

Шурик не ответил. Он слушал. Стон — на месте, тучей. И в городе — совершенная, как в гробу, как в склепе, тишина. Только стон этот.

— Тем более, — все так же равнодушно продолжала Алина, — что погром, если можно так сказать, разрешен. Это в отместку евреям за то, что они стреляли по отступавшим добровольцам и даже лили сверху на проходивших серную кислоту и кипяток.

— Это рассказы, — сказал Шурик. — Если даже это и было, — при чем тут евреи?

— Они! — убежденно выкрикнула шедшая от закрещенных уже мелом ворот Параска. — На Бессарабке, я сама видела, своима очима, на крыше — жидовка, и при ней телеграф. При-
сягу приму.

— Когда я была во дворце, кто-то отдал при мне распоряжение, чтобы на нынешнюю ночь милицейские посты на улицах были сняты: полиция во время погромов всегда в двусмысленном положении: потому что, в сущности, она обязана прекращать.

— Я пойду, — повторил Шурик и пожал руку молчавшей Лике. — У меня на Житомирской есть знакомые, комиссионеры, очень честные и хорошие люди. Было бы ужасно, если бы с ними...

— Приведите сюда, — сказала Лика, очень тихо, следя глазами за Параской. — Но с парадного хода. Ключ вы не потеряли, во всех этих... переделках? Так, чтоб не видели... Параска, ты закрестила парадный подъезд?

— Идете все-таки, значит? — спросила с порога Алина. — Ну, что ж... *Воппе chance!* Возьмите руку... на счастье.

Она засмеялась. Насмешливо или нет? Шурик не разобрался. Он быстро пошел к воротам.

55

Стон не стихал: он стался попрежнему над землей, ровными и тягучими волнами, как туман над болотом, как зараза газовой батареи. Дома по Пушкинской — двери, окна, ворота, калитки — были закрещены белыми, меловыми, торопливыми крестиками. На бульваре, вдоль Караваевской, под застылыми, кущую в ночь, раскидистыми деревьями стояли, прижавшись к стволам, какие-то люди. Женщина, в платке на плечах, запрокинув голову, слушала. То же, что Шурик, Лика, весь город. Над городом — стон: бьют жидов.

Шурик прошел к Васильковской. С нее — ход на Житомирскую.

Васильковская — тоже еврейская. Но подъезды и здесь закрещенные. Сюда не дошли. Или уже миновали, не тронув? С Житомирской — близко совсем — гулко и издевательски ухали удары, тяжелым чем-то, в железо, и звенели жалкой осыпью стекла. Шурик прибавил ходу.

У перекрестка — костер. Не из дров, наверное, потому что дым едкий, словно отравленный, стелется по низу. И дальше.

по улице, тоже костры. Фонари не горят. У костров и по панелям — солдаты. В ротондах и шубах поверх подвернутых полами, замызганных грязью шинелей, в накидках из горностая, шалах, бархатных широких портьерах, перекинутых через плечи, как тоги. У костра — на самом виду — мальчишка, в папахе, винтовка в руке, и на цевье, охваченном крепко, точно взрезалась в дерево золотая фальшивая челюсть. Шурик остановился невольно. Челюсть? Нет: пальцы! На каждом пальце — три-четыре золотых обручальных кольца, от сгиба до сгиба: мальчишечьи пальцы тонкие, кольца взошли даже с женской руки, — у них толстые пальцы, у еврейских женщин Житомирской. На согнутых, цевью в обхват, пальцах кожи не видно: кольца одни, золото. И в отсвете они кажутся вгрызшейся в дерево золотой фальшивой челюстью.

Мальчишка окликнул:

— Вольный! Куда?

Присмотрелся, сквозь ночь и дым. Нет, не жид. Волосы белые, русские. — Куда тебя черти несут? Не видишь: обыск!

— Обыск? — У Шурика голос звонкий и строгий. — Погром!

Мальчишка осклабился:

— Тихий. Приказ таковой, чтобы тихим погромом. Бить с выбором... ежели уж очень пархатый. В городе на три дня — наша воля: солдатская.

— То-есть как «ваша воля»? — спросил Шурик. Солдаты кругом подтвердили.

— Наша воля. В Дарнице, пред наступлением, генерал обещал: ежели возьмем, три дня на прогул: бери, что понравится. А потом опять будет — как его? — полицейский закон.

— Брать, конечно, не со своих, а с жидов...

— С тех домов, в первую очередь, откуда евреи стреляли: те дома — в лоск: чтобы ни щепы! У командиров списки такие есть.

— Разве вы с командирами?

— С командирами, как же. По форме, по всей... — Солдат засмеялся. — Офицер, он тоже, я те скажу, своего не упустит. Первая доля.

Шурик тронулся с места, но солдаты окликнули.

— Вы куда это? Смотрите, не вышло б греха... Ребята гуляют. Попадете под нелегкую руку.

— Я живу по Житомирской, — сказал Шурик. — Мне надо домой.

— Эк тебя угораздило середь жидов угнездиться!.. В здешнем квартале, сказывают, как есть сплошь жидовня. Переждал бы...

— Нет, — возразил другой. — Они это правильно: а то, по незнанию, может статься, и ихнюю квартирку разнесут. Пропустите-ка, братцы! Тут — свой.

Выше, по улице, солдаты обернулись на голос. Из подъездов, к кострам, тащили какие-то вещи. Люди входили и выходили не торопясь, деловито. Из окон шел стон. Кое-где осыпались стекла, и опять упорно и издевательски били чем-то тяжелым в железо ворот. Шурик шел очень твердой, очень легкой походкой. Когда знаешь, что делать, всегда такой шаг: легкий и твердый.

Парадная дверь, дом номер шестнадцатый, оказалась неприпертой. Погром далеко: еще не дошел, он всего у девятого номера, солдаты идут не торопясь: надо же выбрать. Погром тихий, поспеют — ведь еще первый день только, из трех. Погром далеко еще, но здесь уже ждут: швейцар, как только Шурик вошел, выбросился из-под лестницы, из швейцарской каморки, в картузе с галуном, ворот расстегнут, на вороте — цепочка от креста. Лучше паспорта всякого вот такое наглядное: крест.

Поднявшись до четвертого этажа, Шурик осторожно перегнулся через перила, посмотрел вниз, в пролет. Швейцар стоял, задрав вверх бороденку; очевидно, он слушает, в какую квартиру прошел чужой. Шурик откинулся быстро назад. Хотя все равно: он же здесь не останется, он только уведет Зайделя и Хабулевича, пока погром не застал, по улице вниз и кругом, к парадному ходу на Пушкинской.

Он позвонил условным звонком, чтобы там были спокойны: свой. Дверь сейчас же открыли. Зайдель, должно быть, подошел к дверям, как только услышал шаги на ступеньках: лестничная клетка высокая и гулкая, даже если тихо итти — шаг слышен далеко. Зайдель открыл сразу. Лицо у него было чисто выбрито, и брился он сейчас, только что: еще не сошел со щек тот особенный лоск, который ложится на кожу от бритвы, и у виска на волосах присох, белый на черном, клочок мыльной пены.

— Я — за вами, — сказал Шурик, не здороваясь. — Погром совсем близко, и швейцар сторожит.

Зайдель глядел странно, но было еще страннее: из-за плеча Зайделя, сквозь прикрытую дверь, выглядывал Хабулевич, и глаза у Хабулевича были пристальные и злые, точно пред ним не Шурик, не товарищ Зайделя по партии и подполью, а какой-то чужой — и противный — человек. Шурик перевел глаза на Зайделя. Но он сощурился, — не понять, как он смотрит. Зайдель скривил губы и сказал:

— За нами? Куда?

— Ко мне, — торопливо закивал Шурик. Ему показалось почему-то, что Зайдель и Хабулевич откажутся идти, — из-за Мары, из-за того, что с нею случилось, — и это было очень страшно, — точно опять какое-то осуждение Шурику; так страшно, что голос у Шурика дрогнул и стал просительным, как не надо. — Ко мне. Непременно. Я близко, и у меня нет никакой опасности.

Хабулевич из-за спины Зайделя рассмеялся визгливо и скверно.

— Безопасно, ха? Но ведь вас только утром сегодня освободили...

— Ну, так что же?.. — начал Шурик. Но Зайдель перебил его:

— Василия взяли.

Шурик вздрогнул.

— Василия?

Зайдель через плечо посмотрел на Хабулевича, и оба рассмеялись тем же визгливым и неживым смехом. Он умеет все-таки смеяться, Зайдель!

— И Петра взяли... сегодня днем, — продолжал, оскалив стертые зубы, Зайдель и покачал подстриженной головой с белым мыльным пятнышком у виска. — И Катю, и обоих Вревских, и Васильченко... и боротьбистов.

— Нет! — крикнул Шурик и сжал пальцы до боли. — Не может быть... Я... я виноват! Надо было сейчас же, утром, предупредить... Она же говорила, я не поверил...

Смех оборвался.

— Она? Кто она?

— Мара! — Шурик смотрел в глаза Зайделю, прямо, беспощадно: какая может быть пощада, когда предательство, когда провал... всех, всех... Мара!

— Что... Мара? — голос Зайделя тоже поднялся и стал звонким, как струна, которая сейчас рванется вскриком и лопнет. И глаза загорелись, углями. — Ну, что такое о Маре?

— Мара сказала мне в контр-разведке... предупредила, если будут пытать, она...

— Выдаст? — спросил Хабулевич и опер локти на плечи Зайделя. — Я так себе и знал.

— Знал?

Шурик вскинул глаза и понял, сразу: они говорят о чем-то разном.

— Мара изнасилована и убита, — сказал Зайдель и уперся плечом в косяк. — Вы... грязью на святую могилу?.. Чтобы себя...

— Что? — Шурик рванулся, но Зайдель, крепче упершись плечом, опустил, как шлагбаум, костлявую и длинную руку. — Ты с ума сошел, Зайдель!

— Я так себе и знал! — хихикнул Хабулевич из-за Зайделевой спины. — Я ж тебе говорил, Зайдель: он будет клеветать на Мару, потому что она — мертвая, потому что она не может плюнуть ему в лицо...

— Молчи, Хабулевич, ты не смеешь говорить так... даже подумать так было подло!

Зайдель поднял руку.

— Организация выдана. Кого не взяли еще — возьмут: это же ясно. Предательство. И предали сегодня в ночь. Ночью в контр-разведке было вас двое. Мара убита: ее матери сказали сегодня... Вас отпустили... с почетом. Нет? Первый революционер, вышедший из контр-разведки целым. Кто выдал? Задача для маленьких детей.

Шурик рванул к себе дверь. Но Зайдель и Хабулевич держали крепко.

— Зайдель, нельзя так! Ты забыл, что я...

— Хо! — донеслось из-за двери. — Я ничего не забыл, я все помню. Но только теперь я понял, почему... Подол, а не Печерск, и почему о Собачьей Тропе мы узнали, только когда были уже пулеметы на Бессарабке.

— Зайдель! Там... отца...

— Ну, и что? А раньше. Об обходе... и в Нежине... и всегда... ты всегда был цел, хотя просился всегда, где опасно. И в Триполье ты вышел...

— С Владеком вместе, Зайдель...

— Нельзя же всех! Это же будет заметно. Из триста человек — одного... это всегда уступят, для конспирации. Это не я говорю, это сказал Владек.

— Владек!?

— Ну да! Владек, когда мы ему рассказали. Он бросил квартиру и скрылся, Владек, у него есть еще второй паспорт. Он предупредит, если кто цел... еще. Кого еще не возьмут. Или вам уступили только нас двух: для конспирации? Что?

— Владек... тоже поверил?

— Я же сказал: Триполье. Почему вы остались живы? Почему вы, не другой? А в Ворзеле что? Что говорил предчека? Разве он не нашел у вас на плече волос? Вы ей не помогли бежать, нет? Не ломайтесь, Ананьин! Идите к своим и скажите им: здесь...

Шурик не тянул больше двери. Он стоял, закрыв глаза, и слушал.

— Скажите им: здесь еще два честных революционера, которые стреляли им в спину, когда они бежали в Дарницу. Да, да, еще утром, еще когда не было парка, стреляли вот здесь из окна, на котором вы когда-то сидели и которое надо теперь мыть, мыть, чтобы не было грязно... Мы стреляли из окна, и стреляли не плохо, потому что они падали... Вы не знали этого, нет? Пойдите и скажите им... это стоит дополнительной платы. Ну? Хабулевич, он еще ждет, что мы пойдем с ним — в его «безопасность!»

Дверь внизу, из провала пролетов, ударила долгим и тяжелым гулом. За Зайделевой дверью щелкнул замок. Шурик различил голос швейцара и говор многих ответных. Он позвонил опять, настойчивым, условным, партийным звонком. Никто не отозвался. Он позвонил еще, зная наверное, что не откроют, и медленно стал спускаться навстречу топоту поднимавшихся, постукивая штыками о перила, солдат.

56

Две захлопнутых наглухо двери, вверху и внизу. Между солдатами и Зайделем. Выйти нельзя. Но Шурик не хотел выходить, Шурику некуда выйти.

«Передайте товарищам, что я честно умерла за революцию. Мара».

Он передал. Она умерла действительно. Дверь — вверху, дверь — внизу. Навет и погром. Выйти некуда.

Топот на лестнице смолк: солдаты, должно быть, в нижнем этаже, в квартирах. Только у самого входа кто-то высвистывал забубенную армейскую песню: наверно, часового оставили. Шурик остановился, площадкою ниже. Третий этаж. Дверь. Еще дверь... Третья?

Он усмехнулся и позвонил. Не там, так тут. Из этого дома нельзя выходить, не надо. Скоро возьмут наверху на штыки Зайделя и Хабулевича. Как он уйдет домой, если даже Владек поверил...

Дверь приоткрылась, очень осторожно... еще осторожней, чем там... на цепочке, и в прощель проглянул темный и умный глаз под седую и косматою бровью. Прощель прикрылась, звякнула цепочка, дверь распахнулась торопливо и широко, и с порога высокий еврей в шапочке на седых волосах, в серой и крутой бородой, в сюртуке, быстро сказал, наклоня глаза, с поклоном:

— Войдите, скорей!..

Шурик переступил порог и сзади сейчас же щелкнула тяжелая задвижка, таким же гробовым защелком, как вверху, у Зайделя, одним переходом выше. Старый еврей зорко оглядел Шурика.

— Вы в доме рабби бен Иегудиила. Его не найдут, но дому нужен хозяин... Когда они спросят о хозяине, вы так им ответите: Я! Вы так ответите?

— Я не понимаю ничего. Рабби? Что такое? Какой я хозяин? И если бы даже... Разве швейцар не знает?

— Швейцар не скажет. Швейцар имеет себе хорошие деньги, и каждый день, когда к рабби приходят, он получает от приходящего мзду. Он не скажет.

— А другие, кто в доме?

Еврей не успел ответить. В дверь застучали, и в углу, под потолком, высоко, дикими перебоями, заметался звон. Еврей поспешно открыл. Как только он откинул цепочку, голова мотнулась назад от удара. Шурик шагнул вперед и крикнул:

— Не смей бить!

57

Они ввалились гурьбой, человек восемь. Последним шел офицер; на руку у него была вздета соболья огромная муфта, и кулак с наганом торчал из нее, как голая грифья шея. Он поднял дуло, но сейчас же опустил его.

— Кто такой?

Шурик ответил холодно:

— Дворянин и служащий. — Он повел плечом, как (почему-то ему казалось) всегда поводят на сцене актеры, когда они играют дворян. — И если вам нужны, сверх документов, справки, — потрудитесь позвонить в полк генерала Корнилова и спросить обо мне князя Оболенского, или, еще лучше, на Фундуклеевскую, в контр-разведку: капитану Бравичу. Вы получите полное удовлетворение.

Солдаты опустили винтовки, прикладами в пол. Офицер втянул руку в муфту и выпустил ее опять, уже без нагана.

— Я извиняюсь... но на дверях не было креста.

— Мне не нужно для защиты пачкать двери мелом, — безразлично сказал Шурик. — Честь имею!

— Виноват! — офицер чуть-чуть усмехнулся. — Это — ваша квартира?

— Моя, конечно!

— А этот? — он кивнул на еврея.

— Прислуга. В Киеве без евреев нельзя. Если бы вы жили здесь, вы бы знали: каждый еврей — фактор. Он мне полезен.

— Вы разрешите все же ваши документы. Мы производим повальный обыск. Из этого дома стреляли.

— Ничего подобного! — быстро, слишком быстро сказал Шурик. Офицер взглянул настороженно.

— Вы эти дни... не отлучались из дому?

— Я на время уходил в Дарницю. Но я ушел, когда войск уже не было в городе, и не в кого было стрелять. Поэтому я и могу утверждать, что стрельбы быть не могло.

— У нас есть, как бы сказать, документальные данные, — отводя глаза, медленно проговорил офицер. И повторил: — Ваши бумаги.

Шурик достал: первой — ту, Бредовскую, командировочную бумажку. И паспорт, где твердым писарским почерком выведено, завитком, почтительное: потомственный дворянин.

Офицер улыбнулся и пошевелил стриженным усом.

— В Центросоюзе? Простите, но разве это... дворянское дело?

— Надо было жить, — сухо ответил Шурик. — Но я перехожу в совещание при главноначальствующем. Мы уже условились об этом с Истленевым.

— С правителем дел?

Шурик кивнул. Офицер вернул бумаги.

— Все в порядке. Для формы, однако, вы разрешите пройти... мы обязаны осмотреть квартиру... поскольку из дому стреляли. В ваше отсутствие, предположим... разве можно ручаться, что кто-нибудь... по каким-нибудь отставшим?

— Стрелили не отсюда, — тихо, но очень слышно сказал еврей и поморгал разбитой губой. — Стрелили из верхней квартиры.

Офицер перевел на старика сразу ставшие злобными, как у овчарки, глаза. — Из верхней? Фамилия?

— Канторович, комиссионер. Если это его настоящее имя... потому что разве человек с настоящим именем будет стрелять в людей, которые спасают отечество?

— Ты говоришь вздор! — резко оборвал Шурик. — С какой стати какие-то комиссионеры будут стрелять? Зачем ты лжешь? Ты думаешь, что тебе за это будет награда? Я знаю, что тебя чем-то обидели верхние жильцы... Я забыл, в чем дело, на что ты жаловался мне. Но в отместку нельзя подводить людей под петлю. Никто не стрелял. Господин офицер, слово дворянина — против слова еврея: выбор не труден.

Офицер посвистал тихонько, не глядя на Шурика, и повел плечом — «по-дворянски».

— Мы проверим. Будьте добры, проводите нас по квартире.

Старый еврей, согнувшись, скользнул вперед, распахивая дверь. Шурик прошел вместе с офицером. Офицер приостановился на пороге и крикнул:

— Охранение оставили?

— На площадке, ваше благородие, Ковальчук стоит, — отозвался голос. — Ежели что — словит на штык.

Офицер засмеялся и шепнул на ухо Шурику.

— Стервы, я вам скажу, серая святая скотинка. Народ боевой, но если до добычи дорвется... Часовых только снаружи и можно ставить: поставь в прихожую, — обязательно сбежит с поста: шарить. Мы — в эту сторону, а он — в ту. У вас, будьте спокойны, мы ничего не тронем. Только для формы. Мы сзади солдат пойдем: тогда наверняка ничего не сбондят. Вперед ступай, ребята!

Первая комната — зала — была пустая и длинная. Только по стенам скучно стояли кресла и стулья под чехлами и боль-

шой, на высоких почему-то ножках, диван. Солдаты на ходу потыкали штыками под мебель.

— Кошек у вас нет? — заботливо спросил офицер. — А то насадят еще — таким манером: на булавочку.

— Нет, — машинально ответил Шурик. Они проходили уже третью комнату. Солдаты задерживались у шкафов: скупым щелчком хлопали незапертые дверцы.

— Будуар? — офицер прищелкнул языком, посмотрев на себя в огромное, тройной створой, зеркало. Перед зеркалом — хрусталь туалетного набора. Кровать под шелковым шитым одеялом, кружево белых накидок на пухлых, высоких подушках. — Да, эт-то я понимаю — устройство! Был бы счастлив представиться.

— Жены сейчас нет, — уже через силу сказал Шурик. — Я отправил ее к родственникам — на время эвакуации.

— Та-ак, — разочарованно протянул офицер. — Не задерживаться. Тут ничего не нашаришь, ребята!

Еще две комнаты и — передняя. Все комнаты были пустые, наверное. Рабби в самом деле невидим?

Еврей, уже у входной двери, шептал что-то, поджимая коленки. Офицер козырнул и протянул руку.

— Извините за беспокойство. Шикарно живете. Целый палаццо, и жена... красавица, наверное: по убранству видно.

— Жена красивая, правда, — тихо сказал Шурик и постарался вспомнить Лику. Но Лика не вспоминалась. Нет Лики. Ушла. Вместе с Зайдемом, вместе с Владеком.

— Счастливчик вы! — вздохнул офицер. — А мы вот мотаемся, мотаемся... Ну, честь имею!

— Вы... куда сейчас? — спросил Шурик и задержал руку офицера в своей. Офицер засмеялся.

— Наверх: оных жидков искоренять... подзащитных ваших. Да вы не беспокойтесь. Я знаю: еврей народ чрезвычайно мстительный: как говорится, до третьего колена. Не желательно было навлечь: скажут, выдал и — больше не будет спокойствия. Родственнички какие-нибудь найдутся, подожгут или, еще того хуже, подколют: на это у них изобретательность... Будьте спокойны, вида не подадим, что по вашему показанию; только перед тем, как кончать, объявим — без лишних свидетелей.

— По моему показанию? Но я же совершенно определенно заявил...

— Устами слуги-с. Я же докладываю: я все превосходно понял. Не вы — слуга ваш. И вы в безопасности, так сказать, чисты, и мы довольны, и долг патриотизма исполнен. Предусмотрительности вашей отдаю должное восхищение. Еще раз: не извольте: беспокоиться: ни одна живая душа не узнает. Честь имею!

Дверь простучала, солдаты прошли; звякнула цепочка, еврей повернул ключ.

— «Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся».

Шурик схватил старика за плечи:

— Ты предал!

Старик пошатнулся, цепляясь ладонями за стену. Он сказал тихо, шипом:

— Большевики.

Шурик отпустил руки и выпрямился.

— Я большевик тоже. И я расстреляю тебя, своими же руками, слышишь ты, Иуда? Я расстреляю тебя, как только вернутся наши.

Старик ударил себя по бедрам, подгибая колени, и рассмеялся.

— Ты мастер шутить, молодой господин! Разве большевик может так говорить с офицером: о князьях и о главном начальнике, и даже о контр-разведке? О? Какой большевик скажет: спросите обо мне в контр-разведке капитана? И какой большевик будет спасать рабби, когда для большевиков бог есть пфу! И служители его — последние люди.

Он смеялся, и за спиной Шурика так же, откликом, прошуршал тихий смех. Шурик обернулся. В раскрытых дверях, из которых он только что вышел с солдатами, стояла кучка евреев, молодых и старых, а за ними, посреди комнаты, на больших и богатых носилках сидел желтолицый, с белыми волосами, неподвижный, как мертвый, как восковая кукла в паноптикуме, наверно, тот самый: бен Йегудинл, рабби.

— Откуда они взялись?

Еврей у двери смеялся тихим насмешливым смехом.

— Я же сказал: рабби не найдут. У людей нет глаз сзади. И разве они знали, что комнаты идут — комната, в комнату, в круг. Вы ведь тоже не заметили? Но когда люди идут вокруг и затворяют за собой двери, как я затворял за вами, когда вы

шли, — вы этого тоже не заметили, зачем я каждый раз ждал сзади? А сзади другие люди идут тоже вкруг и отворяют двери без шума. Разве они встретятся?

Шурик подошел к двери. Но еврей заступил ему дорогу.

— Простите мне шутку, молодой человек! Но не уходите еще. Солдаты в доме. Они могут вернуться.

— Пусть возвращаются, — жестко сказал Шурик и откинул цепку. — И если они не вернутся, — я вернусь, как сказал.

От тех дверей, за спиной у Шурика, зашелестели шаги: подходили. Но Шурик оттолкнул старика, поднял задвижку и вышел.

На верхней площадке, на Зайделевской, шла перебранка. Голос офицера кричал в пролет, по лестнице вниз, надрываясь:

— Швейцар... мерзавец!.. Упустил? Канторович где? Куда задевались, гады?.. Ни лысого пса в квартире. Под расстрел упеку!..

Шурик быстро спустился. Навстречу бежал по ступеням швейцар, очень растрепанный и очень бледный, сняв картуз с галуном, выпростав крест из-за ворота. Постовой у дверей брякнул было винтовкой. Но Шурик поднял голову вверх и крикнул:

— До скорого свиданья, поручик!

Солдат принял винтовку. И опять улица, ночь, костры.

58

Отойдя от дома десятков, не больше, шагов, Шурик пригнулся и побежал. Он знал, что бежать нельзя, хотя погром и продвинулся дальше, а здесь, до шестнадцатого, у догоравших равнодушных костров, не было уже никого, солдатские тени маячили дальше, — и дальше, стелясь по крышам, исходили однозвучным стоном усталые нечеловеческие голоса. Но Шурик бежал, — потому что скрылись Зайдель с Хабулевичем, бежал, как бегают революционеры, из-под самого удара охранного, и на сердце от этого стало сразу бодро и даже весело и хотелось, чтобы сзади в угон просвистала незадачливо непопавшая пуля, и там, в погромных потемках, стали бы стрелять и кричать: «Держи!» Зайдель ушел, и Хабулевич ушел. Все разъяснится. Простить нельзя, конечно, что они могли так подумать, хотя Зайдель любил Мару, и Мара любила Зайделя, а Хабулевич — не в счет, потому что у него нет своего, потому

что весь он — заемный. Но партия — это не Зайдель, а остальным, всем, настоящим и хорошим, он докажет, как Владеку. С Владеком только увидится, — и сразу все разъяснится. Только вот как найти теперь Владека? Если только случай...

На Пушкинской, в столовой, горела лампа. Над прибранным, скатертью накрытым столом Лика ждала за книгой. Она подняла на Шурика глаза.

— Ты — один?

— Один, — ответил Шурик. — Они ушли сами, без моей помощи, товарищи.

— Очень там... страшно?

— *Было* очень.

Она не спросила, что было страшно. И Шурику стало еще легче. Чуткая она и ясная, Лика.

— Ты очень устал, — сказала она, всматриваясь. — Ложись. Или... поговорим?

Говорить — значит сказать. Но сказать нельзя, нет. После, когда будет кончено. Тогда уже не будет жалко его, Шурика. О прошлом тяжелом не жалеют: радуются: прошло! А теперь она будет жалеть, и это, может быть, наверное даже, страшнее того, чтобы у Зайделя. Жалеть... пряча жалость... Она будет улыбаться, вот как сейчас, а сердце будет в ней плакать навзрыд, и ласки будут отравлены этим навсегда, потому что никогда, во всю жизнь, не сотрется память о таких, о жалеющих, ласках. О клевете, о навете память сойдет, не может не сойти, потому что не может ложь отравить жизнь, а в ласках она станет правдой и пойдет через всю, всю жизнь несмываемым клеймом. Нет. Нельзя говорить. Ни за что.

Он покачал головой и положил руку на раскрытые страницы книги.

— Нет. Лучше — завтра. Я, правда, очень устал. И думать не хочу, до завтра. Пусть сегодня так, будто я еще не пришел. Я ведь и в самом деле еще не пришел, Лика, ты же видишь. Сегодня дня не было. Сегодня... Ну, вот, не хотел, а уже начинаю... До завтра, да? И завтра будет солнечный день, не такой, как был сегодня: пасмурный. Верно же, Лика?

— Верно, конечно же, милый...

Улыбнулась опять, но в глазах... Шурик заторопился. Если сейчас не уйти, скажется само, и тогда ничем не поправить,

Несчастья всегда именно так бывают с людьми: опоздать на секунду движеньем. Если почувствовать сейчас же и сейчас же, сейчас сделать, тогда все на пользу, даже самое страшное. А если опоздать волей, хоть на секунду, — случай вырастает в непоправимое, в смерть. И каждый человек кончает самоубийством, оттого, что он, вот так, опоздал волей или опоздал чувством; дал себя взять случаю.

Лида смотрела теперь с беспокойством:

— Может быть, все-таки, лучше сейчас? О чем ты думаешь, Шурик?

Если не он скажет, — скажет она. Это же ясно. Шурик наклонился к Ликиным рукам.

— До завтра, до утра, родная!

Шурик лег, не раздеваясь. Лег сразу, как только вошел, не зажигая огня. Ставни опущены: темь. Пусть именно так: темь. Кончить день, как начался. Надо всегда до конца, до самого последнего: если темно, то пусть уже без просвета, как сейчас. Тогда — на завтра солнце. Это — детская мысль, совсем не серьезная. Нет: в жизни — такой закон, наверное. Он жил недолго еще, Шурик, но этот закон знает. Твердо.

Уже лежа, подумал о том, что не запер двери. Случайно? Забыл? Нет, нарочно: это только кажется так, что случайно, на самом деле — нарочно: «на судьбу». Смешное слово, так нянька говорила в детстве ему: «На судьбу»; это очень смешно и неверно, когда комсомолец — и вдруг: «на судьбу», как старая нянька, которая молилась Параскеве Пятнице. Ну, и пусть: пусть неверно, пусть смешно. Все равно он уже теперь знает, что он в чем-то ненастоящий и никогда не будет настоящим, потому что никак не может понять, в чем это «что-то», и что надо сделать с собой, чтобы стать настоящим, как отец. Шурик вспомнил: голову над бортом автомобиля и кровь, и стало опять тоскливо и беспокойно — до безумия. Зачем он не позвал Лику, просто? Она была бы сейчас рядом, и было бы спокойно и мягко на сердце, и не думалось бы ни о чем. А он — «на судьбу». Что ж, что дверь открыта? А вдруг она не придет...

А если придет та... Алина?

Он прислушался. Почудилось: кто-то идет — осторожным, крадущимся, чуть-чуть слышным на половицах шагом. Нет. Тихо. Там — тихо, за дверью. А здесь, в черной комнате, где

зги не видать, за опущенными железными створками, здесь гулко и шумно... В ушах, наверное, от усталости просто. И сна — нет.

В ночь дверь не открылась. Никто не пришел, не прошеле-стел белыми, нежными ногами по холодному полу. Но к утру Шурик знал: надо добиться, чтобы Алина точно все установила о Маре: это — прежде всего. Алина — в контр-разведке. Или с контр-разведкой — не все ли равно? Она может. Достать протокол. Подлинный. Именно так: документ. Конечно, можно и просто привести в организацию Алину, и объяснить, почему и как она получила от Драгомирова приказ: освободить... Непенина из контр-разведки. Если бы он сразу, тогда же сказал об Алине, — все было бы просто. Может быть, впрочем, и теперь будет довольно такого свидетельства. Даже наверное будет довольно: ведь его же знают, ведь для каждого ясно, что это же совершенно невозможное дело, чтобы он, Шурик, стал предателем. Это только Зайдель мог — с горя по Маре. Остальные — нет. Но все-таки лучше всего протокол допроса. Тогда никаких, ни малейших сомнений ни для кого: даже для Зайделя. Алина может. Надо любой ценою, какую она ни назначит, добиться, чтобы она достала такой протокол. Любой ценой. Лика? Лика поймет. Лике даже не будет больно, потому что это же необходимо — ему, Шурику. Завтра он будет очень нежен, очень ласков с Алиной, до последнего: пусть даже подумает, что он ее любит. Ему же нужно: любой ценой...

Первая, кого он увидел утром, в угловой, у столовой — Алина. В голубом, легком, как всегда открытом, платье. Она стояла перед зеркалом, боком, согнув в локте обнаженную руку и прищулив один глаз, как на прицеле: в руке была черепаховая, большая, черная с желтым, гребенка.

Увидев Шурика, она рассмеялась и провела гребенкой по распущенным волосам.

— Вам судьба заставить меня... не одетой. Я легла вчера, не дождавшись. Ну, что ж? Наслушались этого... *marche funebre*? Недаром говорят, что евреи — музыкальный народ. Этот хор плачущих удивителен... Воображаю, что делалось на реках Вавилонских: в псалмах, помните: «Тамо сидехом и плакахом». Я антисемитка, правда?

Она ласково обняла его глазами, кругом головы, кругом плеч... и стала закручивать волосы узлом к затылку.

— Погода сегодня — на редкость! Не скажешь, что осень.

— Вот и хорошо, — поспешно сказал Шурик, смотря на быстрые, хрупкие пальцы, крутящие пряди золотистых и пушистых волос. Он помнил план. Надо быть нежным. Надо быть где-нибудь вдвоем, на безлюдье, чтобы никто не мешал. Ведь не так легко, чтобы она согласилась.

— Ну, что же вы замолчали? И почему вы так смотрите на мои руки?

Она повернулась совсем боком к нему и подняла руки еще выше, так что рукава отпали за плечи. Шурик смотрел на золотистые волоски на впадине под белой и напряженной рукой и думал: надо быть ласковым надо быть очень ласковым. Иначе она не сделает: ни за что.

— Я вас очень, очень хочу попросить...

— О чем?

Брови сдвинулись; нарочно: сделать вид, что она озабочена. Руки опустились, роняя с плеч рукава.

— Мне хотелось бы побыть с вами одной, — почти шопотом сказал Шурик. — Я давно... вы, наверное, чувствовали... Пойдемте за город... то-есть за город, вероятно, еще нельзя: за городом еще войска есть, вероятно... а на Лукьяновку, хотя бы... Там очень пустынно и там чудесные есть места, особенно, когда, как сегодня, солнце.

— Вы — романтик! Вы — неисправимый романтик, Ника! — рассмеялась Алина и почесала, дразнящим жестом, губу отточенным ногтем. — Чтобы остаться вдвоем, и очень надежно остаться, вовсе незачем ходить далеко: достаточно запереть в вашей комнате дверь.

Там, где Лика?.. Нет, ни за что! Шурик даже вздрогнул. Алина следила глазами. Она заметила.

— Вот как... Можно подумать, что в комнате у вас... привиденья... — Голос стал медленный. — А по-моему, в комнате было бы уютнее. И уж наверное, никто не придет.

В той самой комнате, где была Лика. Нет, он никогда не сможет, он будет помнить... Ночь. Солнце. Добровольцы уходят. Нет. Надо уйти далеко-далеко. От ночи, от солнца, от добровольцев. От Лики.

— Нет. Лучше пойдем на Лукьяновку. На вольный воздух. Алина усмехнулась.

— Что ж, идемте. Погода, правда, чудесная. Небо синее, листья красные.

Она сморщила брезгливо ноздри.

— Красные! Когда-то я любила этот цвет: сумасшествие! До чего мы ни-че-го не знаем!.. А есть еще люди, которые не верят в бога... Фу, какая я сегодня трещотка! Это отдача нервов, как мама говорит. Бывает так, правда, Лика?

Лика — в дверях. Лика — слушает. Очень спокойная и очень ласковая. — Чай, чай пить! — Лика не прикидывается, не насилует себя, нисколько. Шурик это чувствует, и ему от этого сразу становится легче. Конечно же, ему надо переговорить с Алиной, без свидетелей: Лике не надо объяснять этого. Она же сама уже поняла все, все до последнего: до того, как он будет целовать Алину, — ведь придется целовать, и очень крепко, наверное: она же иначе не достанет ему протокол. Лика уже поняла, и что это все будет делать не он, не Шурик, а Непенин. Лика поняла и кивает, улыбаясь, спокойно и ласково через стол, когда Алина говорит, шурясь, с ужимкою:

— А мы с Николаем Авксентьевичем на Лукьяновку сейчас пойдем, tête à tête. До обеда, да? Смотреть пещеру Юшинского: он хочет меня обратить от антисемитизма. Он не верит в ритуальные убийства, когда кровь вытячивают по капельке. Не верит! Вот странный!

59

По Бибиковскому бульвару — вверх.

Воздух — синий, холодную синью; и от солнца, яркого — уже по-осеннему — коротким ужалом колют сквозь разределую листву бульварных деревьев лучи. Баррикада на углу, поперек аллеи, еще не растащена: топорщатся ножками вверх, трусливо, скамейки — беспризорные: нет Милокова в крылатке, нет гимназистов, полковника с сизым отставным, по царскому штату, носом. Людей с ружьями вообще не видно. Кухарки с корзинками (кухня опять правит городом), дети и просто прохожие бездельно глазеют на свежие оспины шрапнельных разрывов по штукатурке домов — осколки недавнего боя. Сейчас бой ушел уже за город, далеко, за Ирпень, а может быть, еще дальше — за Бучу, за Ворзель, в «леса восточнее Бороднянки», как любят писать в штабных сводках белые.

Против собора Алина остановилась, резко.

— Смотрите: кто-то лежит.

В самом деле: поперек боковой дорожки, головою под тополь, ничком, но отвернув лицо — совсем неестественно — в профиль, смотрел из-под сухого, косо натянутого века неподвижным и бездумным черным глазом китаец. В солдатской шинели: в обмотках. Из тех, маринских, интернациональных, конечно. Шинель была понадорвана и, на спине, в бурых пятнах; ни ружья, ни подсумков; вещевой мешок, распатроненный, был брошен рядом, на сметенную кучу желтых и красных палых листьев; какие-то тряпки и... книга. Шурик нагнулся. Алина вскрикнула тихо: «Не трогай!» Но он все-таки поднял. «Рассказы» Мамина-Сибиряка. Ничего не понять: гражданская война — Интернациональный — китаец — Мамин. Зачем? На цыгарки? Да нет же: страницы книги были замуслены старательными и грязными пальцами, и листы были целы: от первой до последней страницы. И по самой середине — закладка: обрывочком ремешка.

— Брось сейчас же!

Шурик бросил. Труп смотрел попрежнему черным глазом из-под натянутой косо и туго кожицы века. Алина уходила одна, быстрым шагом, по главной аллее. Надо быть ласковым, надо догнать, взять опять под руку — еще до поворота.

Квартал за кварталом: путь до Лукьяновки долог. Всю дорогу Алина и Шурик молчали, но она, Шурик чувствовал, зорко следила за ним, кося глазом, и время от времени острожно и вкрадчиво прижимала к себе его руку. Наконец, пересекши трамвайные пути на крутом завороте, они поднялись на скаты.

На холмах по откосам чередовались желтый песок, красная глина, пожелтелая жухлая зелень; справа и слева открывались ходы и пещерки, за холмами серел, горбясь низкой рябью, Днепр, за Днепром — поля, насколько глаз хватит.

— Куда теперь?

Шурик осматривался. Он не очень помнил дорогу.

— Вы же сказали — в пещеру Ющинского.

Алина отдернула руку.

— В пещеру, где замучили мальчика? Вы с ума сошли!

— Но ведь вы же сами сказали?

Она посмотрела на Шурика пристально и вдруг рассмеялась.

— Что ж, пожалуй, это и в самом деле будет стильно. Для таких двух, как мы...

Таких, как мы? Шурик чуть было не сказал, как подумал: но сдержался: — надо быть нежным.

Бродили довольно долго, с холма на холм, со ската на скат. Алина на спусках глубоко врывала в песок высокие каблуки лакированных туфель. И сама указала пещеру, догадливо:

— Эта вот, да?

Пещера, где найден был труп, — ребячий, всколыхнувший Россию шесть лет назад кровавым наветом, — действительно открылась с откоса — пустой и унылой могилой. Шурик нагнулся внутрь: пахнуло сыростью и прелой вонью, противным и тягучим запахом заношенных, бродяжких, богомольных онуч. Есть тут кто?

Алина стояла рядом.

— Так вот они какие... «ясли навета». Фи! Одно стоит другого. Куда мы зашли с вами, Ника! Грязь, и пахнет... мерзотой.

Шурик чиркнул спичку. Но спичка погасла на ветру. Алина отвернулась и стала спускаться. Он достал вторую спичку, но раздумал и спустился следом за ней.

До дна оврага. Он круто засекал склон, и стенки его, косые, были взребрены глубокими промоинами. Песок был желтый и чистый. Они сели, не сговариваясь, и Шурик сейчас же, торопясь и припоминая, как было тогда, после бала, в собранном когда Алина так, по-особому, прижималась к нему, — протянул руки: сплести, как тогда, тесно-тесно, пальцы с пальцами.

Но Алина не дала руки. Он оглянул ее удивленно и потянулся опять, настойчивее. Она сдвинула брови.

— Погодите. Так у нас с вами ничего не выйдет. Мы разволнуемся, и будет опять противно. Поговорим — по-хорошему и до конца. Мне сейчас это надо. Когда вас арестовали, я за ту ночь очень хорошо думала о вас, — так, как никогда раньше не думала. Это — не от себя, это — от Лики, наверное: мы ведь с Ликой очень дружны — это ничего, что мы такие разные.

Лика? — подумал Шурик и отодвинулся. — Неужели Лика сказала? Нет. Быть не может! Лика не могла ей сказать.

— Я думала о вас, и мне вдруг почувствовалось, что вы — именно такой, какого мне сейчас надо.

— Вам надо? — Смысл слов неясен совсем, но сразу ясно стало одно: план его, Шурика, уже зашатался, он уже ни к чему, потому что у нее свой план, у Алины, какой-то: «ей

надо». И она не уступит, не сделает так, как он хочет, потому что ей нужно чего-то совсем-совсем другого. — Я вас не понимаю, Алина!

— Откуда же вам было понять, когда вы... все время были противный? Да, да, это ничего не значит, что я показывала вам плечи и дразнила вас собою, именно тогда, когда вы были особенно противный: это потому, что мы — мы. Я ведь тоже — «обыкновенно» — противная. И хорошая — только «иногда»: как сейчас.

— Почему же сейчас?

Она чуть-чуть помолчала.

— Вам Лика разве... ведь вы с Ликой — другой, вы с Ликой подружились, я знаю... Лика вам разве ничего обо мне не рассказывала? Вы никогда не говорили с ней обо мне?

— Нет, — сознался Шурик.

Алина усмехнулась. Усмешка была больная и острая.

— Большевики расстреляли моего отца.

Она подняла глаза на Шурика. Глаза были пристальные и как будто знающие. Это помогло: Шурик выдержал взгляд.

— Отца и брата. Это в Ворзеле было. Мы там жили — там штаб папин был, подпольный, деникинский. Их, конечно же, выдали. — Алина наклонилась и сорвала травинку, сухую уже; на травинке — божья коровка, красная с черными крапинками. Божья коровка медленно переползла на палец Алины. — Отца и брата расстреляли при мне, на глазах.

Она опять посмотрела на Шурика, и опять словно испытывая. Шурик молчал.

— Они бы и меня расстреляли... — Голос был тихий и равнодушный. — Красный террор: все отвечают за всех. Но я ушла. Зачем бы я осталась? Умереть за единую неделимую? Какое мне до нее дело, до единой неделимой! У меня была своя жизнь. Или, не так: я х о т е л а своей жизни. Я ушла. О них: от убитых и от убивших. Ушла, чтобы не возвращаться. Но меня заставили вернуться.

— Заставили? Нет. Кто вас заставил, Алина?

Надо было что-то другое сказать. Но Шурик не нашел слов. И нельзя найти, когда она говорит все время: Лика, Лика. Ну, и вот: Лика теперь уже здесь, третьей, между ними — он чувствует ее, как если бы она действительно сидела здесь, и с Алиной он ничего уже не сможет сделать, даже сказать,

как надо... И только стыдно за то, что он думал от Лики уйти — так вот, спрятаться в овраге... Он опять сделал что-то не по-настоящему, гадко. И сказал совсем не то, что нужно было сказать.

Но Алина не обратила внимания.

— Если бы меня кто-нибудь... подобрал... видите, я говорю очень жалкими словами, по-нищенски, как побирушка... и это верно, потому что я — слабая, у меня нет, как у сильных, как у настоящих, — своей дороги... себя!.. если бы меня кто-нибудь подобрал, я бы, может быть, и забыла, что была такая ночь, ворзельская. У людей память подлая: она рада забывать тяжелое, надо только помочь ей. Я бы стала жить, как другие, потому что... это, наверное, очень стыдно, нет?.. но расстрел я приняла: это закон заговора. Когда против нас заговор, мы же расстреливаем тоже: это закон, это правильно. Это тяжело, может быть, всем тяжело, но правильно. Я бы могла жить, как другие. Замуж. Дети... Но меня... никто... Должно быть, потому что время такое, прямое, и я — красивая. Все, как вы, вот... на плечи, на грудь. Тянет: взять. А потом? Бог мой, как я хотела отдаться! Но не было — ни разу — за что! И было пусто, пусто, как будто бы я уже умерла.

Шурик придвинулся опять, близко. Он смотрел, как и Алина, пристально на букана, красного с черными крапинками. Букан переползал с пальца на палец.

— Так я и вернулась. Опять к тому же, откуда ушла: ночь, собака воет, и на террасе — два трупа. Когда наши заняли город, я пошла к Драгомирову, — он знал отца и всю нашу семью, Грефельсов. Он стал говорить, что смерть отца будет отомщена сторицею; что это — долг... Долг? Я подумала: когда жизни нет — есть долг. И сказала: «Дайте мне паспорт и денег; я поеду в Москву и застрелю... как его там зовут?.. самого главного у большевиков».

Шурик поднял голову: опять мелькнула надежда.

— И он согласился, конечно?

Алина кивнула.

— Да. Они сейчас же начали меня учить.

— Учить?

— Ну, да, учить стрелять, чтобы я не промахнулась. Драгомиров сам, и другие (там еще начальник контр-разведки был, и еще офицеры) говорили: обязательно нужно, чтобы было удачно, чтобы насмерть, а не только покушение. И бомбой

нельзя, потому что бомбы ненадежны, может не взорваться, и потом, одной — с бомбой — нельзя, нужны еще люди, организация, заговор, а если будет заговор, — кто-нибудь обязательно выдаст. Но чтобы не промахнуться из браунинга, надо очень набить себе руку. Они мне назначили офицера Нарышкина, высокий такой, бритый — вы его в контр-разведке видели. Я его попросила съездить тогда, ночью: он при Драгомирове состоит. Стреляет он, действительно, изумительно. Он учил меня — каждый день.

— Во дворце. В четыре часа. Я знаю.

— Да. Вы следили, я видела. Да. В саду, за дворцом. Там сад — чудесный, тенистый, цветов много-много. И в сад никого не пускают: никого нет, только птицы на ветках, маленькие, серенькие с белым и желтеньким... вы не знаете, как они называются? Вот видите, вы — как я... Так вот — там. Каждый день. И каждый день — одинаково. Мы идем в сад, пока мы идем, Нарышкин мне говорит, что он меня любит, я ему отвечаю, что не люблю, потому что он не тот, кого мне надо. Потом мы приходим к стене, каменной, у задней дорожки, и стреляем. Так, пока я не стала бить на шесть шагов в карту без промаха, на вскидку. Тогда мы стали ездить...

Она приостановилась, словно раздумывая, стоит ли дальше говорить.

— Я вас видел, на автомобиле, — сказал Шурик и сбросил на песок букана. Букан мешал чем-то. — Вы были с офицерами. И еще один — штатский.

— Может быть, и видели, — Алина прикрыла глаза. Ресницы на осеннем солнце были золотистые и длинные. — Мы всегда ездили днем. А я вас не заметила. Странно! Впрочем, я всегда на него смотрела, всю дорогу.

— На Нарышкина?

— При чем тут Нарышкин! — Алина брезгливо сжала губы. — Нарышкин садился всегда слева от меня. А напротив сажали его. Цель.

Шурик сжал виски ладонями. Алина повторила жестко, не разжимая глаз:

— Цель. В карту — мало. Чтоб наверное, надо по живой цели. Брали из тех, приговоренных. Выезжали за город, иногда далеко-далеко, пока не приедем, где людей нет... вот как здесь, только на ровном месте, чтобы он мог итти мимо меня — три шага, или пять... близко. Он шел, я стреляла. А чтобы

было трудней, его сажали всегда напротив, чтобы я хорошо-хорошо его рассмотрела, чтобы я привыкла к нему... Первый раз я совсем промахнулась, только с четвертого выстрела — в плечо, и... бросила... Пришлось Нарышкину, самому... Правда, он был очень трудный, мой... первый... Он был тшедушный такой, грудь запала, в пенснэ... И пенснэ тряслось, когда он шел мимо меня... Это очень страшно, вы знаете... Но это прошло... Вы видите, Ника, я крепкая... иногда, когда хочу быть крепкой.

Она пошатнулась слегка и добавила почти шопотом:

— И когда я не так устала, как сейчас... Я ужасно устала, за эти дни, Ника... И вчера ночью мне так ясно представилось, что одна я не смогу поехать, что обязательно надо, чтобы рядом, тело к телу, да, да, — теперь можно, теперь я знаю, за что теперь я хочу, я отдам себя вам, Ника, — был кто-нибудь свой, совсем свой, такой же, как я...

— Как вы? Нет, Алина? Вы ошибаетесь: я совсем-совсем другой, чем вы...

— Такой же, — тихо и ласково засмеялась Алина. — Не старайтесь показать, будто вы — сильный. И зачем вам это? Вы — как я: без себя. Вы можете — так, и можете — по-другому: вы — двойной, как все слабые.

Двойной? Проклятое слово. Нет!

— Да! Сильные, цельные — те «всегда», а такие, как мы с вами, мы бываем на-двое: «иногда» и «обыкновенно». Но я же напрасно это говорю: вы же сами знаете. И почему вы так жмуритесь? В этом же нет ничего... нечестного. Разве это наша с вами вина, что мы такие: не как отец... У меня это от того, должно быть, что я одна росла, одиночкой... Вы — тоже? Для меня, сейчас, даже лучше, что вы — такой... Вы можете легче представиться даже... большевиком.

— Что? — Шурик вздрогнул весь и весь обернулся к Алине. — Что вы говорите такое?..

— Мне тогда же опять, в ту же ночь, пришло в голову: ведь гораздо удобнее ехать к ним, к большевикам, если тот, кто со мною поедет, будет большевик, то-есть, если его будут считать за большевика. Ведь тогда не будет подозрений, и лгать надо будет меньше. Это очень трудно и очень больно — лгать: мужчины это делают легче. А тут случилось так удачно, что вас арестовали. Я сказала, сейчас же, Драгомирову и контр-разведке, что вы мой помощник, что мы сговорились.

Шурик медленно встал. Ни волнения больше, ни дрожи: все прошло. Он наклонился к Алине и положил ей руки на плечи. Она улыбнулась, устало.

— Они обещали, что напечатают, что ты бежал из тюрьмы, и за твою поимку большая награда. Тогда там, в Москве... не будет сомнений... Постой, ты мне делаешь больно... А может быть, когда мы будем вместе, уедем, нам будет так хорошо, что не надо будет никакой Москвы, и просто уедем куда-нибудь — за границу... Я же забуду тогда ночь... для другой ночи. Ну, что ж, возьми меня, Ника!

60

Их было семеро, и они стояли совсем близко. Стояли, может быть, давно. Но Шурик только сейчас заметил их. Слышали они или нет? Их было семеро, они стояли, крепко врывшись в край ската, подковами солдатских, тяжелых, казенных сапог, в запоясанных ремнями ватных куртках, «вольных» — не военных, но с погонами, — с винтовками и шашками. Один, очень низенький и плечистый, пристально, кривя глаз, глядел на Шурика. И Шурик, когда заметил его, сразу очень ясно припомнил, что видел уж это лицо и видел незабываемо и близко, и если бы сейчас он мог отогнать камнем налегшую на мозг мысль об Алине и о том, что ему надо сейчас будет сделать, — обязательно надо, потому что иначе нельзя, — он бы назвал сразу же низенького по имени.

— Это — волчанцы, — сказала Алина, так равнодушно, как будто бы они были попрежнему одни. Рука продолжала отстегивать ворот блузки. Казалось, она повторит сейчас: — Возьми же, меня, Ника!

Волчанский партизанский отряд. Тот, который ходил в обход на Жуляны. Патруль. Надо документы.

Низенький сказал что-то быстро и негромко, и все семь, руша каблуками ложбинки промоин, скатились на дно оврага, к Алине и Шурику в упор. Шурик расстегнул пиджак и достал паспорт. Низенький осклабился и кивнул:

— Бувайте здоровеньки!

— Здравствуйте! — сказал Шурик и протянул руку. — Где мы с вами встречались?

Крепкая лапища зажала Шурикову руку, как в тиски.

— Запоматувал, паньч! — захлебнулся низенький. — А я вот сразу признал. В Ордожах...

— Панько! — Шурик рванул руку, но Панько, кривоглазый, растянув рот, поймал и вторую Шурикину руку и, неожиданно, ударил коленом, тяжелым и подлым ударом, в живот.

— Думал: насмерть забыл, большевик проклятый? Ни, Панько, он живучий. А ну, хлопцы!

Шурик напрягся, но ближайший волчанец хлеснул сноровисто винтовкой по напряженной ноге. Кость хрустнула. Шурик лег.

Алина, бледная, как мел, смотрела, как брали Шурика. Он был уже на земле, распластанный крепкими руками, когда до него дошел ее голос:

— Вы говорите: большевик?

— Не знала? — глумливо прогоготал Панько. — Люби-лась — не знала? Комиссара Ананьина сын.

— Ананьина... на броневике? .. — Алина рванулась. Но между нею и Шуриком уже стояли волчанцы.

— Легче!

— Дайте дорогу! Не смейте меня трогать! Именем генерал-губернатора! Я — дочь полковника барона Грефельса.

Овраг загудел хохотом.

— Баронья, а с большевиком спуталась? Ври глаже, бабчка!

— Пропустите, я вам говорю!

— Эн, шалая! Придержи-ка ее, Панас! Не серчай, краля! Мы много не спросим, хоша бы и коммунистка. С бабы что взять... кроме бабьего? Ну, да у нас — видишь? — ребята-то, а? Молодец к молодцу — любо самой будет... Держи, Панас!

Руки, державшие Шурика, разом ослабли. Он рванулся. Приподнявшись на локте, увидел: Алина у ската, на том на самом месте, где была, но во весь рост, прямая и яркая — глазам не стерпеть, и в руке — браунинг.

— Бери ее! — диким голосом крикнул Панько, пряча голову под согнутую руку и припадая к земле. — Бери!.. Покалечит еще, сучья дочь!

Дуло поднялось быстро и уверенно. В шести шагах, в карту, без промаха.

Шурик отпустил локоть. Встать он все равно не мог. В колене и в животе — резкая, рвущая, до слез, до крика, боль. Он лег на спину опять, сам, хотя его никто не держал. После выстрела: один всего выстрел и был, глухой. Выстрел всегда глухой, когда стреляют в упор, в висок. Раз. Кончено, труп в стору.

После выстрела в овраге стало тихо. Должно быть, долго было тихо, а может быть, это только так показалось Шурику, что долго. Потом Панько сказал хриплым шопотом:

— От-то... кусачая... скажи на милость! Добре, еще хлопчик остался. Скинь-ка с него одежду, ребята, побалуемся.

61

Протокол судебного вскрытия двух, найденных на Лукьяновке, близ пещеры Ющинского, трупов был опубликован в газетах и вызвал сильнейшее волнение в городе. Наконец то не вымысел, не слухи, а настоящее, факт: потому что до похорон каждый мог убедиться собственным глазом в анатомическом театре университета, что они есть, на теле убитого потомственного дворянина Николая Авксентьевича Непенина — восемьдесят четыре ножом подрезанных ранки, из которых, почти что по капле, долго-долго точили из него кровь; и колышки из щепочек, забитые под ногти, так и остались; и на веках и на губах — следы ожогов, тоже мелких; жгли спичками — кругом трупа их было найдено много, обожженных.

Алина лежала, завернутая белым непрозрачным покровом: о ней — на слово приходилось верить врачам и следователю, подписавшим протокол. Только на виске, бледном, под завитками волос, золотистых и тяжелых, — маленькое, синевой расходящееся по белой коже пулевое пятно. В протоколе оно значилось последним. Когда насытились истязаниями, убили выстрелом в упор, в висок. Раз! Кончено. Труп в сторону.

В заголовках газет, над протоколами, печатали, особо жирным шрифтом:

«ЖЕРТВЫ ПОДПОЛЬНОГО КРАСНОГО ТЕРРОРА»

Он и она: две чистых юношеских души, полных истинного патриотизма, бескорыстной любви к родине; две души, связанные взаимной, едва успевшей расцвести любовью и суровым долгом беззаветного служения трехцветному национальному флагу, тому самому, что прикрыл, ныне, их безвременный гроб. Злобный глаз врага, затаившегося в подполье, следил за ними, на трудном, на славном подвиге их служения — в рядах тех, кому выпала труднейшая, но и почетнейшая задача: бороться с крамолой и изменой. Контр-разведка! Слово, страшное врагам родины! И они отомстили за этот страх, выследив двух самых

молодых, но и самых беззаветно преданных делу героев долга, и погубив их варварскими пытками, каких не знала в худшие времена инквизиции святая Германдада...»

Так писали, захлебываясь от собственной умиленности и страха перед ним, перед красным подпольем, авторы передовиц; так говорил и генерал над двумя белыми, открытыми гробами, рядом стоявшими в соборе, на Бибиковском бульваре. Генерал говорил долго, и дамы, чужие, незнакомые дамы, — знакомых, своих, не было никого, — в элегантных туалетах, роняли слезы и цветы на окраины глазетовых гробов. Больше Шурику, чем Алине: женщины больше чтут мужское мертвое тело, чем мужчины — мертвое женское.

С деревьев, на плацу и бульваре, медленно осыпались красные и желтые листья; попеременно: красные и желтые. По Бибиковскому и по проулку вдоль собора стояли любопытные и, громко отсмаркивая зябнувшие носы, плакали церковные старухи. Сотня волчанцев, в конном строю, скучала в седлах, уступом, за двумя колесницами: хоронили с воинской почестью — сотня конных, рота пехоты, батарея.

А когда колесницы тронулись наконец, и заколыхались затрепанные, посеребрившие султаны балдахин, вслед за золоченой ватагой священников и дьяконов, под унылый и мерный перезвон колоколов, под марш Шопена на трубах деникинской гвардии, — кто-то в толпе, на бульваре, отжимаясь под дерево, то самое, кажется, под которым лежал неделю назад китаец с Маминым-Сибиряком, сказал соседу почти что на ухо:

— Если бы парочку бомб...

Кто сказал? Зайдель — Владеку, или Владек — Зайделю? Не все ли равно? Ведь теперь все одинаково знали, наверно.

Лика на похоронах не была. Она не была и в мертвецкой, в университете. Зачем? Там — Николай Авксентьевич Непенин. А тот был Шурик. Или — лучше: тот был бы Шурик. Ее никто ни о чем не спросил. С репортерами говорила Мария Степановна. Не говорить нельзя было: репортеры носились роями по Пушкинской: все подробности. Образ жизни? Привычки? Темперамент? Любимое блюдо? Непенин — потомственный дворянин, конспиративно — агент Центросоюза. Но в комнату Шурика не пустили смотреть никого: это Лика сказала матери, очень-очень решительно. И о комнате репортеры писали только со слов Марии Степановны. Стол, кровать,

полка с книгами и ничего, ничего больше. А о Лике никто, даже намеком, не спрашивал. Да и зачем было спрашивать, когда он был убит с Алиной: в овраге, вдвоем, в глухом, в совершенно безлюдном месте. Разве этим одним уже не сказано все?

А потом, прошел месяц... или два... поздним вечером в столовую (Лика была одна: Марья Степановна в гости ушла — к соседу, сенатору) Параска вошла торопливо и доложила испуганно:

— Женщина там... пришла... спрашивает о Николае Авксентьевиче.

На секунду у Лики сжалось сердце.

— Женщина?

Но ответила она сейчас же, и просто:

— Впусти же ее!.. Что ж ты ее так... на кухне?

Женщина вошла. И сразу, с первого взгляда, поняла Лика — по светлым-светлым, чуть сединою тронутым волосам и полукружью крутых бровей над темными, над хорошими глазами, по низкой, давно откормившей груди. И заплакалось тихо и легко, как ни разу еще не плакалось с той, первой ночи...

А еще, через час или два... кто считал время?.. в комнате Шурика, на диване, том самом, крепко-крепко обнявшись, не плача уже, сидели две женщины: мать и жена. Лика говорила, обрывая слова, как лепестки с цветов... одни стебли.

Смерть — страшна. Но еще страшнее — ложь: намогильник предателя. Над честным. Потому что он был честный, Шурик. Или — это действительно так? В революцию мало быть только честным?

Мать кивнула и погладила вздрогнувшей, мягкой рукой Ликины волосы.

— Я о другом сейчас. О тебе. Как ты будешь теперь с ребенком, когда он родится? Ведь того, что случилось, ничем, никогда, никакой ценой не поправишь. Что же, он так и будет: сын провокатора?

Лика улыбнулась — и встала. Прямая, как луч. Совсем-совсем спокойная и светлая:

— А разве ему нужен отец?

ЧИТАТЕЛЬ!

Сообщите Ваш отзыв
об этой книге,
указав Ваш возраст
и Вашу профессию,
по адресу:

Москва, центр, Никольская, 10.
БПК «ЭИФ».

АЛЬМАНАХ „ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА“

КНИГА № 7.

С о д е р ж а н и е.

1. Мих. Иренин. — *Поперек поля*. Повесть.
 2. С. Обрадович. — *Творчество*. Стихи.
 3. Осип Колычев. — *Октябрины*. Стихи.
 4. Александр Макаров. — *Коммуна им. Яковлева*. Повесть.
 5. Мих. Иренин. — *Женщина с ярмарки*. Стихи.
 6. Евсей Эркин. — *Новелла*. Стихи.
 7. С. Марков. — *Каракольский тир*.
 8. С. Алымов. — *Ночная вспышка*. Стихи.
 9. Сергей Вашенцев. — *Совесть*. Рассказ.
-

Р О В Е С Н И К И

АЛЬМАНАХ СОДРУЖЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ РЕВОЛЮЦИИ „ПЕРЕВАЛ“

СБОРНИК 7-й

С о д е р ж а н и е.

1. Лежнев. — *Вступление*.
2. Ив. Катаев. — *Молоко*. Повесть.
3. П. Слетов. — *Мастерство*.
4. М. Пришвин. — *Медведи*. Очерк.
5. Дм. Семеновский.
6. Павел Дружинин.
7. Евсей Эркин. — *Стихи*.
8. Амир Саргиджан.
9. Ник. Тарусский.
10. Глеб Глинка.
11. Александр Соловьев.
12. Борис Губер. — *Сыновья*. Рассказ.
13. Ник. Зарудин. — *Древность*. Рассказ.
14. П. Павленко. — *Шематоны*. Рассказ.
15. Ник. Зарудин. — *Уездный вечер*. Цикл стихов.
16. Николай Колоколов. — I. *Затейный старик*.
II. *Северные сады*, Этюды.
17. Вас. Кудашев. — *Вукол*. Рассказы.

ИС. ГОЛЬДБЕРГ

ПУТЬ НЕ ОТМЕЧЕННЫЙ НА КАРТЕ

РАССКАЗЫ

254 стр. 2 р.



П. НИЗОВОЙ

ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО

РАССКАЗЫ

230 стр. 1 р. 50 к.



ДМ. ПЕТРОВСКИЙ

П О В С Т А Н Ь Е

(Хроника украинских событий 1918 г.)

150 стр. 50 к.



П. ШИРЯЕВ

Г У Л Ь Б А

РОМАН

208 стр. 1 р. 50 к.

ЦЕНА 2 р. 20 к.



БЕЗ
СЕБЯ
X

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА (ПРАВЛЕНИЕ):

Москва, центр, Никольская, 10.

ЦЕНТР. КНИЖНЫЙ СКЛАД:

Москва, Лубянский пассаж, помещ. 25-30.

X

КАТАЛОГИ по требованию БЕСПЛАТНО.

ЗИФ